

ROMANOSLAVICA XXXVIII

REFERENȚI ȘTIINȚIFICI

Prof. dr. MIHAI MITU

Conf. dr. OCTAVIA NEDELCU

COMITETUL DE REDACȚIE

Prof. dr. DORIN GĂMULESCU (redactor responsabil), prof. dr. MIHAI MITU (redactor responsabil adjunct), prof. dr. GHEORGHE MIHAILA, membru corespondent al Academiei Române, conf. dr. MARIANA MANGIULEA (secretar), lect. dr. SORIN PALIGA (secretar), prof. dr. CORNELIU BARBORICĂ, prof. dr. DAN HORIA MAZILU, prof. dr. JIVA MILIN, prof. dr. VIRGIL ȘOPTEREANU, prof. dr. VICTOR VASCENCO, prof. dr. ION PETRICĂ, prof. dr. ONUFRIE VINTELER

Volumul de față apare sub îngrijirea

Conf. dr. Mariana Mangiulea

Lect. dr. Sorin Paliga

Tehnoredactare de Sorin Paliga, procesor de text Mellel 1.6
(www.redlers.com)

© Asociația Slaviștilor din România
Romanian Association of Slavic Studies
www.asocslav.ro
office@asocslav.ro

© Editura Universității din București
Sos. Panduri 90-92, București – 76235;
Tel./Fax: 410.23.84
E-mail:
Internet:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
Catedra de limbi slave Catedra de filologie rusă

ASOCIAȚIA SLAVIȘTILOR DIN ROMÂNIA

ROMANOSLAVICA

XXXVIII

**Editura Universității din București
2002**

ROMANOSLAVICA XXXVIII

**Referate și comunicări
prezentate la Cel de-al XIII-lea
Congres Internațional al Slaviștilor
(Ljubljana, 15 – 21 august 2003)**

**Papers and articles
for the XIIIth International Congress of Slavists
(Ljubljana, August 15–21, 2003)**

**Доклады и сообщения
представленные на XIII
Международном Съезде Славистов
(Любляна, 15 – 21 августа 2003)**

I. LINGVISTICĂ LINGUISTICS

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНО-РУМЫНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ОДОБЕСКУ
(ALEXANDRU ODOBESCU)

Г. Михаила (G. Mihăilă)

1. **Проекты молодого Одобеску.** В октябре 1855 г. возвращался из Парижа на румынскую родину молодой литератор, воодушевленный патриотическими замыслами, обогащенный археологическими, литературными и искусствоведческими знаниями. Это был Александр Одобеску (р. 23 июня 1834 г.), сын полковника Иоана Одобеску и Катинки, уроженной Каракаш, принадлежащей семье с богатыми научно-культурными традициями¹.

В атмосфере, созданной Революцией 1848 г., молодой 21-летний ученый филолог определил одно из направлений своих научных изысканий в страстном исследовании культурных и литературных творений румынского народа на протяжении прошлых веков и десятилетий². Вот как он характеризовал через четверть века атмосферу, в которой он сформировался в столице Франции вместе со своими друзьями Дж. Крецяну, П. Ятрополем, Дм. Флореску, Дм. Бериндеем, А. Сихляну и др.: «Мы, молодые заграничные студенты, рады были учиться в Париже, тем более, что там мы могли свободнее любить свою родину, усердно изучать ее историю и язык; ей задумывали мы посвятить все знания, которые наш румынский патриотизм побуждал усвоить в этом центре свободомыслия»³.

2. **В поисках старых памятников румынской культуры и искусства.** Из этого постулата вышла через два года первая *Историческая сцена из румынских хроник – Господарь Михня-Лютый* (1857 г.), за которой вскоре последовала *Государыня Кяжна* (1860) – обе, имевшие в качестве модели „прекрасную историческую новеллу” Александр Лапушняну Константина Негруци⁴. Но тот же постулат направил молодого писателя и в другое направление – строго научное, украшенное однако качествами художественных произведений. Назначенный 25 мая 1860 г. членом Документальной комиссии при Министерстве Вероисповедания и Народного Просвещения, А. Одобеску вскоре (18 июля) поехал вместе с Сашей, его женой⁵, и с швейцарским художником Хайнрихом Тренк (Heinrich Trenk, 1820–1892 гг.)⁶ в известное исследовательское путешествие в уезды Арджеш и Вылча. До 15 августа они посетили „свыше 70 монастырей и скитов, собрав в каждом исторические сведения, художественные и археологические рисунки” (Письмо от 24 марта 1870 г. к своему старшему приятелю А. Голеску-Негру, бывшему министру, ставшему впоследствии премьер-министром)⁷.

В этом путешествии, в большой мере описанном им самим, Одобеску скрупулезно исследовал монастыри и скиты около города Питешть, город Куртя де Арджеш и прилегающие места, а также монастыри по долине Ольта – особенно Козию –, монастыри Оланешть, Говора, Бистрица, Однодеревянный монастырь (Mănăstirea dintr-un Lemn), Арнота и Хорез⁸.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

В вышеуказанном письме мы находим короткую и точную самооценку исследований предметов искусства, славяно-румынских и румынских рукописей и старопечатных книг XIV–XVII вв., открытых и доставленных до сведения властей и читающей публики в первые годы после Объединения Румынских княжеств в единое государство (1859 г.). Публикации Александра Одобеску предшествуют богатой коллекции документов и исторических источников, напечатанных Богданом Петричейку Хашдеу в *Arhiva istorică a României* (*Исторический архив Румынии*, 1864–1867 гг.). Благодаря II тому Опера (*Сочинения*) Александра Одобеску, напечатанному Марфой Аниняну и Вирджилем Кындя в Издательстве Румынской Академии, в 1967 г., мы имеем перед собой следующие ценные тексты писателя-филолога и историка: *Însemnări despre monumentele istorice din județele Argeș și Vâlcea. Călătorie făcută în 1860 din însărcinarea Ministerului Cultelor și Instrucției Publice* (Заметки об исторических памятниках уездов Арджеш и Вылча. Путешествие, совершенное в 1860 г. по поручению Министерства Вероисповедания и Народного Просвещения⁹; пять официальных уведомлений писателя-ученого к министру вероисповедания и народного просвещения (май–сентябрь 1861 г.)¹⁰; часть детального доклада, представленного в последние месяцы 1860 г. (другие три доклада не были до сих пор открыты в архивах)¹¹; наконец, серию бесценных статей, напечатанных в „Revista română” (1861–1862 гг.).

Исследуя ряд религиозных учреждений, „среди которых восемь значительных монастырей”, писатель-филолог сгруппировал свои доклады – как он доложил министру 29 мая 1861 г. – в восемь разделов¹²; из них в настоящее время известен только четвертый доклад, посвященный Монастырю Бистрица и содержащий четыре главы: первая была опубликована Одобеску самим под названием *Antichități ecleziastice, Bistrița (județul Vâlcea, plaiul Cozii)* [Церковные древности, Бистрица (уезд Вылча, волость Козия)], в „Buletinul Instrucționei Publice” (Anul I, 1865, octombrie, стр. 137–143); третья была положена в основу серии статей в „Revista română”, включенных полностью в Опера, II (см. ниже), под названием *Schiturile și metoșele mănăstirii Bistrița din Vâlcea* (*Скиты и метохи монастыря Бистрица, у. Вылча*), в „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice” (1908, июнь–сентябрь, стр. 101–106); наконец, вторая еще не была опубликована¹³.

3. Первые исследования по старорумынской культуре и литературе в „Revista română” (1861–1863 гг.). Указанные доклады являются лишь предварительными редакциями, некоторые из них административного порядка. Но только в течение следующих лет А. Одобеску полностью использовал данные, относящиеся к славяно-румынским и румынским рукописям и старопечатным книям на страницах журнала „Revista română pentru științe, litere și arte”, основанного и руководимого им с апреля 1861 г. по ноябрь 1863 г.¹⁴

Его деятельность на страницах журнала внушительна: на протяжении трех лет он выступает как один из первых наших фольклористов-компаратистов; как первый компетентный исследователь старорумынской культуры и литературы на книжнославянском языке в их отношениях с

литературой и культурой южнославянских стран в XIV–XVII веках; как исследователь ряда литературных произведений XVII–XVIII вв. и первой половины XIX века. Но в настоящем сообщении мы остановимся специально на обширном этюде *Despre unele manuscris de cărți tipărite aflate la mănăstirea Bistrița (districtul Vâlcea din România)* [О некоторых рукописях и старопечатных книгах, найденных в монастыре Бистрица (уезд Вылча из Румынии)], напечатанном в трех выпусках журнала „Revista română” за 1861–1862 гг.¹⁵

В введении писатель выдвинул предложение собрать в библиотеку, которая впоследствии стала Библиотекой Румынской Академии, рукописи и старопечатные книги, находящиеся „в монастырях, городских и сельских церквях Румынии”, с тем, чтобы способствовать „изучению истории и развития нашего языка”. Он сам положил начало этому широкому предприятию, доставив в Бухарест, с одобрения Министерства Вероисповедания и Народного Просвещения, „коллекцию интереснейших книг, открытых в монастырях Козия и Бистрица. Из монастыря Козия было привезено 20, а из Бистрицы 19; мы не намереваемся умалять значение ряда книг (рукописных и печатных – прим. н.), найденных во многих других монастырях – подчеркивал далее ученый филолог –, но Бистрицкая библиотека дала нам до сих пор самые значительные результаты в отношении древности”¹⁶. Библиотека монастыря содержала также „свыше 300 старых сборников”, среди которых „около 80 славянских рукописей (евангелия, псалтыри, часословы, канонические правильники и др.), написанные уставными и минускульными буквами, различного формата (in-folio, in-80, in-40)”, старопечатные славянские, румынские и греческие книги XVII и XVIII вв. (стр. 112–114).

Этот богатый культурный фонд обязан в своем начале – когда монастырь был построен четырьмя братьями Крайовеску – Барбу, Пырву, Данчу и Раду (1494 г.), а потом (в 1514 и 1519 гг.) восстановлен господарем Нягоем Басарабом – культурной роли этих исторических личностей и их связям со семьей деспотов Бранкович, с религиозными центрами Сербии и с сербскими афонскими монастырями (Святого Павла, Хилендар, Святого Пантелеимона или Русикон)¹⁷.

Очевидным результатом этих связей является древнейшая рукопись, хранившаяся в Бистрицком монастыре и привезенная Александром Одобеску в Бухарест (в настоящее время в Библиотеке Румынской Академии, № 205)¹⁸; он подробно описал ее в первой главе своего этюда – *Psaltirea comentată de Branco Mladenovici* (*Толковая псалтырь Бранко Младеновича*, стр. 114–118), „чтобы привлечь внимание ученых из соседних славянских стран и особенно из Сербии” (стр. 126). Написанная Иоаном Богословом в 1346 г. по поручению Бранко Младеновича, прадеда последних сербских деспотов – Бранковичей, и привезенная в Валахию (*Tara Românească*) вероятно Максимом, будущим митрополитом, или Деспиной Милицей, его племянницей, ставшей супругой Нягоя Басараба, эта *Толковая псалтырь* нашла в Александре Одобеску первого компетентного исследователя как в отношении палеографического и филологического описания – с воспроизведением конечной записи, а также ряда отрывков текста –, так и в отношении культурно-исторического определения.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Мы позволим себе снова воспроизвести по рукописи эту запись, внося в строку, в скобках, надписанные буквы:

Въсвид'цоу и прѣблагомоу Бóу слава, дающеумоу
кон'цы всакомоу дѣлоу, иже ѿ некъ науинакомоу, амъ
нь, амъ, амъ.

Ic(s)ъ X(s)ъ
ни ка

Изволеникъ Бжикъ и въпльщенкъ Стъго Дхъ и
рожденекъ Сна, сии **Ψалтири** написа се помошию Б-
жикю и Прѣу(с)тыє кго Мтре, въ лѣ(т) хs. ѿ.пд.,
кндики'то Г.¹⁹, съ потъшаникъ прилежнымъ и
всеср(д)чнымъ, таже ѿ оставоу бж(с)твныхъ писаний.
Написа си **Ψалтири** Бран'ко Младѣновикъ, а роукою
многогрѣшиаго завитааго въ софктии житиистѣмъ
раба Бжига Іѡ(н), а зовомъ Бгослава²⁰, въ мѣсть,
рекомѣмъ Боръчъ, въ дни Благовѣр'нааго и Б-
гѹтивааго и самодръж'ца всѣхъ Срѣбъскыхъ земль и
Поморскыхъ кра(л)иа Стѣфа(н)²¹ и сна моу кра(л)иа
Оуроша, Въ тѡ врѣ(м) прѣк гнъ Стѣфа(н) градъ
Костоури, градъ Бѣл'градъ, градъ Канинѹ²².

Комментируя этот ценный исторический памятник, Одобеску заключал:
„Бранко Младенович, храбрый сербский барон, был сыном Младена (...). Соратник короля Душана и сподвижник вместе с ним культуре сербской нации, этот благородный муж (...) был отцом известного Волка или Вуха Бранковича, зятя короля Лазаря Хребеляновича (...). Его потомки сохранили славное имя его отца, Бранко, как фамильное имя, на троне Сербии до 1459 г., а потом в изгнании в соседних странах...” (стр. 118)²³.

Второй по древности была *Хилендарская рукопись 1408 г.* (Глава II, Manuscriptul de la Hilandar, стр. 128–131), сильно поврежденная, на последнем листе которой ученый смог еще прочесть две записи с датой и с именем деспота Стефана, сына легендарного Лазаря, погибшего в Косовской битве в 1389 г.; этот Стефан был зятем Вука Бранковича (Значит, и эта рукопись, впоследствии исчезнувшая, была привезена в Валахию Максимом Бранковичем или Деспиной Милицей).

Перейдя к славяно-румынским рукописям первых десятилетий XVI века, А. Одобеску описывает две *Книги бана Преды Крайовеску, 1518–1521 гг.* (Глава III, *Cărțile banului Preda Basarab [= Craiovescu] 1519 [точнее: 1518] – 1521*): 1) Известный сборник моральных рассказов и философско-моральных цитат из знатных авторов античности и средневековья (Пифагора, Платон, Аристотель, Иоан Златоуст, Василий Великий и др.), составленный византийским монахом Антонием (XI в.) и озаглавленный *Пчела* – рукопись дьяка Драгомира, который окончил ее 23 ноября 1518 г. (исчезнувшая впоследствии); 2) *Минея за январь*, написанная Диенишем и

Драгомиром, который окончил ее 17 марта 1521 г. (в настоящее время в БРА, слав. рук. № 262)²⁴.

„Этим не исчерываются (...) книги, подаренные братьями-основателями Бистрицкого монастыря и их потомками – заканчивает Одобеску главу о жалованиях Преды Крайовеску –, но мы отметили важнейшие из них; перейдем сейчас к другим рукописным книгам, находящимся в монастыре, не меньшего значения» (стр. 133), а именно *Три рукописных славянских четвероевангелия* (Глава IV, Trei tetraevanghelii slavone scrise de mâna, стр. 134–142): Четвероевангелие, подаренное великим постельником Марчей (Marcea) и его супругой Маргой (сестрой Нягоя Басараба), окованное позолоченным серебром в 1519 г., с красивыми виньетками, с цветными и золотыми заглавиями и инициалами (в настоящее время в Музее искусств Румынии, Отдел феодального искусства, № 7)²⁵; Четвероевангелие игумена Мисаила от Бистрицкого монастыря 1537 г. (БРА, № 744), а также другое Четвероевангелие (поврежденное) той же эпохи, с которой художник Тренк рисовал красивую миниатюру: „Христос призывает Петра и Андрея”²⁶.

Добавим к этому, что А. Одобеску открыл в Бистрицком монастыре не менее *семи экземпляров* первой славяно-румынской печатной книги – *Служебник Макария* (1508 г.), из которых два он привез в Бухарест (ныне в БРА); два экземпляра *Четвероевангелия* того же Макария (1512 г.), причем один из них – *роскошный*, на пергаменте, напечатанный для Нягоя Басараба (ныне также в БРА), а также другие книги, более поздние. В связи с этим ученый-филолог написал в премьере ценную главу о *Первой типографии в Валахии* (Глава V, *Prima tipografie din Țara Românească*, стр. 142–163), что пополняет картину его роли зачинателя в изучении древнейшего культурного наследства Румынии²⁷.

Наконец, VI глава была посвящена другой „типографской премьере” – на этот раз *на румынском языке*; речь идет о двуязычной славяно-румынской *Псалтыри Кореси, напечатанной в г. Брашов, в 1577 г.* (*Psaltirea lui Coresi, tipărită la Brașov, în 1577*, стр. 163–173), на основе экземпляра, открытого в Бистрице, который *впервые* был представлен читающей публике с подробным комментарием и с попыткой очертить биографию знаменитого тырговиштянского и брашовского типографа на фоне культурной и языковой истории румынского народа²⁸.

Цикл культурно-исторических этюдов, напечатанных Александром Одобреску в „Revista română”, заканчивается научно-художественным эссе Câteva ore la Snagov (*Несколько часов в Снагове*; II, 1862, июль, стр. 351–405)²⁹, которое предвещает капитальное сочинение писателя – *Псевдокинегетикос* (Pseudokinegetikos, 1874 г.)³⁰. Это эссе неоднократно перепечатывалось, начиная с трехтомным собранием *Литературных и исторических сочинений* 1887 г. (*Scrieri literare și istorice*), а потом и отдельно, для широкой публики – правда, в частично измененной и сокращенной форме³¹. Оно удачно было охарактеризовано Шербаном Чокулеску в 1944 г.: „Важнейшим литературным сочинением А. Одобреску периода <<Revista română>> является прелестная <<proménade archéologique>>, названная *Несколько часов в Снагове*. Единственный знаток археологии у нас (в то время – прим. н.), получивший задание инвентаризировать церковные драгоценности, писатель представляет

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

публике результаты своих компетентных разысканий в виде увлекательных путевых записок, с целью просвещать и одновременно развлекать”³². Вот, впрочем, собственные слова А. Одобеску после разговора со своим проводником на территории монастыря: „Этот льстивый эпитет («cărturar de primejdie» – «опасный ученый» - прим. н.) вызвал у меня улыбку; моя скромность давно стала на протяжении многочисленных поездок по монастырям страны побуждать феноменальное удивление монахов, которым я расшифровывал славянские, а часто и румынские надписи, хранящиеся в церквях, на которые они привыкли смотреть как на мертвую букву, как на тайный клад прошлого...” (Operе, II, стр. 204).

В 1863 г. писатель был назначен (правда, на короткое время) министром вероисповедания и народного просвещения (26 мая, когда он приближался к 29-летнему возрасту); в ноябре того же года „Revista română” перестала выходить. В следующие годы, различные официальные должности, длительное и углубленное исследование золотого Клада из Пьетроасы³³, избрание А. Одобесу членом Румынского Академического Общества (в 1870 г.) и назначение профессором Бухарестского Университета (в 1874 г.) – все это удаляло его в большой мере от занятий по истории старорумынской культуры и литературы, хотя он не покинул их полностью. Так, например, можно цитировать в этом отношении: короткий эскиз *Mișcarea literară din Tara Românească în secolul al XVIII-lea* (Литературное движение в Валахии в XVIII веке – письмо к А. Папиу-Илариану, напечатанное в „Analele Societății Române”, II, 1869, стр. 79–82, воспроизведенное во втором томе *Scrieri literare și istorice*, стр. 309–317)³⁴; проект издания романа *Варлаам и Иоасафат* (*Varlaam și Ioasaf*), переведенного в 1648–1649 гг. с книжнославянского на румынский язык Удриште Настурелом³⁵, о котором Одобеску отзывался следующими словами в письме к генералу Константину Настурел-Хереску 16/28 августа 1873 г., по случаю учреждения этим меценатом знаменитой академической премии: „ученый великий логофет Уриил или Удриште Настурел Хереску, знаменитый муж, который в длительном и достойном правлении своего зятя, господаря Матвея Басараба, усердно и умно трудился на поприще первых переводов и печатных церковных книг (в Валахии – *Tara Românească* – прим. н.), а также редактирования первого уложения на народном языке...” – *Правильник от Говоры* (*Pravila de la Govora*, 1640), научно переизданный впоследствии самим Одобеску³⁶; *Князь Дмитрий Кантемир. Жизнь и творчество* (*Principele Dimitrie Cantemir. Viața și scrierile lui*) – XVII-ую лекцию в книге *История археологии* (*Istoria arheologiei*, 1877 г.)³⁷, а также издание VI и VII томов из академического Собрания сочинений ученого господаря Молдавии³⁸.

4. **Псалтырь Бранко Младеновича (1346 г.) и ее место в научных румыно-сербско-хорватско-словенских научных отношениях.** Выше мы уже видели, что древнейшей славянской рукописью, открытой А. Одобеску в Бистрице и привезенной в Бухарест, была *Псалтырь Бранко Младеновича 1346 г.*, хранящаяся в настоящее время в Библиотеке Румынской Академии (слав. рук. № 205). Мы также отметили, что сам писатель старался своей публикацией привлечь внимание иностранных ученых к этой рукописи; поэтому мы считаем уместным подробнее остановиться на этом моменте из деятельности Одобеску и на его последствиях.

ROMANOSLAVICA 38

В 1965 г. мы напечатали с кратким комментарием официальное прошение Фр. Миклошича – будущего почетного члена Румынской Академии (1880 г.), адресованное румынскому министру вероисповедания и народного просвещения (датированное 10 августа 1870 г.) вместе с рекомендацией Одобеску (3 ноября 1870) послать словенскому ученому ценную рукопись в целях внимательного исследования³⁹. Позднее, Д. Пакурариу напечатал часть своей венской „жатвы” – пять писем А. Одобеску и столько же писем Б. П. Хашдеу, адресованных венскому слависту, дополняя таким образом интересную главу о научных связях этих двух знаменитых представителей румынской литературы и филологии с иностранными учеными⁴⁰.

Перейдем к изложению фактов на основе переписки А. Одобеску и Фр. Миклошича, а также статьи последнего, напечатанной в 1872 г.

4 марта 1870 г. Одобеску впервые написал словенскому ученому:

„Monsieur,

Il y a déjà quelques années (je crois que c'était en 1863), j'ai eu l'honneur de vous voir une fois à la bibliothèque impériale de Vienne⁴¹ et plus tard je me suis fait un plaisir de vous donner connaissance d'un manuscrit slave (un psautier avec commentaires, ayant appartenu à Branco Mladenowich en 1346), que j'avais trouvé en 1860 dans le monastère Bistritz (en Roumanie, district de Vâlcea) et que j'avais apporté à la bibliothèque nationale de Bucarest”.

Узнав, что Миклошич хотел бы исследовать эту рукопись, Одобеску предлагает свои услуги – ходатайствовать перед румынскими должностными лицами, чтобы временно послать ее в Вену: „Aussi, dans l'intérêt de la science, je me fais un devoir de vous écrire ces quelques lignes pour vous dire que ce manuscrit se trouve confié entre mes mains et qu'il me sera très facile de vous l'envoyer à votre adresse, si vous vouliez bien me faire parvenir une requête à l'adresse de S. Ex. le Ministre des Cultes et de l'Instruction Publique de Roumanie, par laquelle vous demanderez, pour un temps déterminé, le manuscrit slave en question (...).

Peut-être aussi, après examen, songerez-vous à sa publication et, dans ce cas, il serait fort possible que notre ministère se chargeât des frais. Quant à moi je suis presque convaincu que je n'aurai pas de peine à obtenir que notre gouvernement fasse les frais d'une édition de ce volume, dirigée par une main aussi habile et aussi expérimentée que la vôtre”.

В заключении, писатель-филолог, заинтересованный кардинальными вопросами истории румынского языка и его связей с другими языками, просит своего корреспондента послать ему фундаментальную для того времени монографию *Die slavischen Elemente im Rumänischen*, напечатанную в 1861 г., в „Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenschaften” (Phil.-hist. Classe, Bd. XII, и отдельно), которая – добавляет он – „est introuvable. Peut-être en auriez-vous quelques exemplaires de surplus, et vous plairait-il d'obliger, en le lui envoyant, celui qui profite de cette occasion, Monsieur, pour vous prier d'agrérer, avec ses remerciements anticipés, l'assurance de sa considération la plus distinguée⁴².

Odobescu”.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Следуя его предложению, Фр. Миклошич послал А. Одобеску, 10 августа 1870 г., прошение, адресованное министру вероисповедания и народного просвещения (вместе, вероятно, с письмом к самому Одобеску, которое однако не сохранилось⁴³); 3/15 ноября писатель направил прошение к министру П.П. Карпу (Carp), вместе со своим ходатайством, в котором он уточняет: „Узнав из моей статьи о ценной рукописи, знаменитый венский профессор Фр. Миклошич, член ряда академий и известнейший славист нашего времени, написал мне несколько месяцев назад, сообщая, что хочет внимательно исследовать этот древний славянский текст, до сих пор совершенно неизвестный научным кругам”.

Представив министру прошение венского ученого, Одобеску добавлял: „С моей стороны, Господин Министр, прошу Вас разрешить мне послать Господину Миклошичу, в Вену, рукопись, находящуюся в моем хранении, позволив ему установить термин ее возвращения, чтобы она была потом передана в Бухарестскую Национальную Библиотеку, котолрой и принадлежит этот ценный филологический памятник”.

Вот, впрочем, и прошение Фр. Миклошича , вежливо и со сдержанной скромностью написанное:

„Votre Excellence!

La Bibliothèque Nationale de Bucarest conserve un manuscrit du XIV siècle contenant une version slave des psaumes avec un commentaire. La description de ce manuscrit que Mr. A. Odobesco a fait insérer dans la Revista Romana de 1861 fait voir son importance pour la connaissance de la langue ecclésiastique des Slaves. Occupé depuis des années de l'étude de cette langue, je prends la liberté de prier Votre Excellence de vouloir permettre que le dit manuscrit me soit envoyé pour l'espace de six mois.

Agréez, Monsieur le Ministre, l'expression de mon plus profond respect.

Fr. Miklosich”.

В тот же день министр одобрил прошение и скоро рукопись была направлена в Вену, как явствует из письма А. Одобеску от 21 ноября (нового стиля) 1870 г. (Он объясняет опоздание тем, что отсутствовал из страны от апреля до октября). Возвращаясь к предложению о возможной публикации текста, писатель добавляет: „et, de plus, si vous le jugiez nécessaire, je vous fournirais, en plus de ce que j'ai déjà publié dans la Revista Română (1861, p. 703–708), quelques détails sur le Monastère de Bistritz, où en 1860, j'ai trouvé cet intéressant manuscrit.

Veuillez bien, Monsieur, en m'accusant réception du paquet qui contient le volume et que je remets aujourd'hui à la poste, sous votre adresse, me faire part de vos intentions au sujet de la publication du Psautier de Branco Mladenovitz; nous tenons tous à grand honneur de vous voir, une fois de plus, vous occuper, dans vos remarquables travaux, de la Roumanie et des faits intéressants que notre patrie apporte dans le cercle des études philologiques”.

В заключении, Одобеску сообщает Миклошичу информацию о книгах, посвященных арумынскому диалекту, одну из которых он посыпает в том же пакете с рукописью; наконец, в постскриптуме он благодарит

словенского слависта за „les intéressantes publications que vous aves bien voulu m'envoyer” и выражает „ma reconnaissance pour votre dissertation sur les Éléments slaves dans le Roumain que vous avez l'obligeance de m'annoncer dans votre lettre”.

Миклошич вернул рукопись одновременно с письмом от 22 декабря 1871 г. (которое не сохранилось в архиве Одобеску), как явствует из письма писателя от 16 января 1872 г., в котором он благодарит венского ученого за новые брошюры и добавляет: „Votre liberalité à cet égard m'encourage, Monsieur, à vous demander de vouloir bien me faire part aussi des publications où vous aurez pu utiliser notre manuscrit de Bistritza. Je suis fort impatient d'avoir sur cette pièce, qui m'a paru, à moi profane, de quelque importance, l'avis du Doyen des slavisants de notre époque”.

В том же году, в журнале „Starine” (IV knjiga, Zagreb) вышла статья Фр. Миклошича, отдельный оттиск которой хранится в Библиотеке Румынской Академии: *Psaltir s tumačenjem pisan 1346 za Branka Mladenovića, obznanio Dr. Fr. Miklošić (U Zagrebu, 1872, [II] + 34 str., шифр: II. 108299)*: „Gospodin A. I. Odobescu u «Revista Română pentru științe, litere și arte», I, str. 703–742 – лаконично начинает он свой этюд – opisa četiri slovenska rukopisa iz manastira Bistriće. Izmegju njih učini se osobito tumačenipsaltir Branka Mladenovića dostojan da se potanko ispita. Dobroti gospodina prosvjete u Bukareštu i prijateljskoj potpori gospodina A. I. Odobescu imam zahvaliti što mogoh u Beču po volju proučiti rukopis” (стр. 1).

Следуют краткое описание рукописи и его языка, охарактеризованного как „srpsko-slavenski”, и запись писца, на основе которой Миклошич заключает: „Odatle izlazi da je psaltir pisao godine od stvorenja svijeta 6854, t.j. 1346 po našem brojenju, za Branka Mladenovića Joan Bogoslav u Borču, za vremena kralja, još ne cara, Stefana [Dušana] i sina mu kralja Uroša, iste godine, kad kralj Stefan osvoji gradove Kostur, Biograd i Kaninu. Što se tiče Branka Mladenovića, on je sim onoga Mladena, koji se javlja godine 1326 pod kraljem Urošem kao vojvoda (Monumenta Serbica, 85) a otac Vuka Brankovića, despota srpskoga, kao što se vidi iz spomenika od godine 1392, u kojem se Branko nazivlje sebastokrator (Monumenta Serbica, 223) ...” (стр. 1–2).

Эта *Толковая псалтырь*⁴⁴ была переведена, по словам Миклошича, „и X vijek, kao što pokazuje starost rukopisa u kojima se nalazi” (стр. 2): одна – XI века, в славяно-русской редакции (*Псалтырь митрополита Евгения*, фрагмент, 20 лл.), и две – среднеболгарские, XII-го (*Погодинская*) и XIII-го века (*Болоньская*)⁴⁵. Зато *Бистрицкая (Бухарестская) псалтырь* представляет сербскую редакцию, что дало повод венскому слависту частично воспроизвести ее и выявить ряд характерных черт в области графики, фонетики и лексики – слова, дополняющие его Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum (Vindobonae, 1862 – 1865): **всакогожде јловћка** (ПС. 66, 7); **мѣста план**, оі тóтои Педіа (ПС. 131); **stl]püsthnax**, Пұргойбáреті (ПС. 121, 7) и многие другие (стр. 5–18).

„Pošto je A. I. Odobescu u raspravu prijeđ spomenutoj već naštampao osim uvoda 1. b- – 4.a. i psalm 136. s komentarom – продолжает знаменитый славист – , priopćujem ovdje za slaviste i za bogoslove nekokiko izvoda, i dodajem za ove druge nekoliko psalama s komentarom iz bečkoga rukopisa gr. theol. 311” (стр. 8–9) – именно псалмы 1, 2, 3, 8, 10, 17, 97, 103 (стр. 9–27).

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Таким образом, благодаря публикациям Одобеску и Миклошича *Псалтырь Бранко Младеновича* стала известной европейским славистам. Впоследствии она была широко использована учеником и „наследником” венского слависта – хорватским ученым Ватрославом Ягичем, ставшим также (в 1904 г.) почетным членом Румынской Академии⁴⁶. В результате долгого и скрупулезного труда, он напечатал в 1907 г. монументальное издание: **Словѣнскаѧ Псалтырь.** Psalterium Bononiense, interpretationem veterem slavicam cum aliis codicibus collatam, adnotationibus ornatam, apendicibus auctam. Adjutus Academiae Scientiarum Vindobonensis liberalitate edidit V. Jagić. Accedunt XIX specimina codicum, Vindobonae – Berolini – Petropoli, MDCCCCVII, XII + 968 стр. + XIX табл.⁴⁷

„Editionis fundamentum posui duo codices, quorum supra mentionem feci [Bononiensem et Pogodinianum] – пишет венский славист в *Предисловии* –, sed extant praeterea duo alii optimaе notae libri, scripti medio seculo quarto decimo, Sofiensis Bulgaricae originis, Bucurestinus Serbicae quibus nequaquam supersedere mihi licuit. Alter societatis litterarum Bulgaricae Sofiensis, cui nomen est Българското книжовно дружество, alter Bucurestini ministerii institutionis publicae permissu meum in usu rara benevolentia Vindobonam missus est, ubi plus quattor annos asservabantur” (стр. IX).

Печатая на двух колонках текст двух основных рукописей – Погодинской (слева) и Болоньской (справа), В. Ягич полностью сличил их с двумя остальными – Софийской и Бухарестской; в результате он регистрировал все лексические и грамматические варианты: „Copia lectionum variarum, quam Sofiensis et Bucurestinus suppeditaverunt, magno fuit usui in adnotationibus, ubi omnes differentias Sofiensis vel Bucurestini diligentissime adnotavi praeter orthographicas, quas supervacaneum duxi commemorare” (стр. IX–X). Ряд вариантов из *Бухарестского кодекса*, ускользнувших от внимания в течение работы, был добавлен, после культурно-исторических и палеографических замечаний, в Appendix VI. De psalterio serbico anno MCCCXLVI scripto, hodie Bucurestino (стр. 830–838). Две красивые цветные снимки (табл. XVIII, л. 239, и табл. XIX, последний лист, с красной записью писца) дополняют сведения о *Бухарестской псалтыри Бранко Младеновича*.

В скором времени после выхода в свет впечатльного издания, хорватский славист послал в знак признательности один экземпляр Румынской Академии: „От румынского посольства в Вене – отмечается в протоколе Академии от 26 марта 1907 г. – получена книга Psalterium Bononiense, подаренная г. В. Ягичем, почетным членом Академии; это – красивое издание Славянской псалтыри с комментариями, реализованное на основе трех рукописей⁴⁸, из которых одна, датированная 1346 г., хранится в настоящее время в Библиотеке Румынской Академии”⁴⁹.

Итак, в самом начале своего *нового периода* румынская славистика включилась в европейскую славистику благодаря исследованиям А. Одобеску⁵⁰. Он открыл, компетентно описал и великодушно способствовал дальнейшему изучению и частичному изданию рукописи, которая остается до сих пор одной из ценностей Библиотеки Румынской Академии, занимая важное место среди древнейших письменных памятников южных славян и являясь замечательным свидетельством их культурных и литературных связей с румынским народом на протяжении веков.

Примечания

1 Подробнее в нашем этюде: A. I. Odobescu – *cercetător al culturii și literaturii române vechi*, „Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Arte” (Academia Română), Seria IV, t. VI, 1984, București, 1985, p. 73–93; основные издания: A. I. Odobescu, *Scrieri literare și istorice*, vol. I–III, București, 1887; *Opere literare*, ediție critică ... de Scarlat Struțeanu, București, 1938; *Opere*, ed. îngrijită ... de Tudor Vianu, vol. I–II, București, 1955; *Opere, I. Scrituri din anii 1848–1860*. Text critic și variante de G. Pienescu, Note de acad. T. Vianu și V. Cândea, București, Editura Academiei Române, 1965; II. *Scrituri din anii 1861–1870*. Text critic și variante de Marta Anineanu, Note de Virgil Cândea, 1967; IV. *Tezaurul de la Pietroasa*. Ediție îngrijită, introducere, comentarii și note de Mircea Babeș. Studii arheologice de Radu Harhoiu și Gh. Diaconu, 1976; V. *Scrituri arheologice*. Partea I. Studiu introductiv ... de Alexandru Avram. Text stabilit ... de Marian Ciucă, 1989; VIII–XIII. *Corespondență*. Text stabilit ... de Nadia Lovinescu, Filofteia Mihai, Rodica Bichis, 1979–1996 (Цитаты воспроизводятся в основном по этому изданию, с указанием тома и страниц).

2 Основная библиография: G. Călinescu, *Istoria literaturii române de la origini până în prezent*, București, 1941, p. 303–309, 900–901 (ed. 2, rev. și adăug., îngrijită de Al. Piru, București, 1982, p. 343–358, 996–997); Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, *Istoria literaturii române moderne* (1944), București, 1971, p. 116–123; D. Păcurariu, A. I. Odobescu, București, 1966; Nicolae Manolescu, *Introducere în opera lui Alexandru Odobescu*, București, 1976; Idem, *Istoria critică a literaturii române*, I, ed. revizuită, București, 1997, p. 257–279; Alexandru Odobescu interpretat de... *Antologie* ... de Rodica Pandele, București, 1976; Paul Cornea, *Odobescu Alexandru (Dicționarul esențial al scriitorilor români)*. Coordonatori: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, București, Editura Albatros, 2000, p. 586–590); Florentin Popescu, *Romanul vieții și operelor lui Alexandru Odobescu*, Constanța, Ex Ponto, 2001.

3 Junimea română din Paris pe la 1852 (Opere, I, ed. T. Vianu, București, 1955, p. 337).

4 См. Александру Одобеску, *Избранное*. Перевод с румынского Ю. Кожевникова, Москва, „Художественная литература”, 1984, стр. 5–64.

5 Внебрачная дочь (вместе с пятью братьями и сестрами) генерала Павла Киселева и Александрины Багратион, усыновленная дядей последней, Яковахе Прежбяну, поскольку родители не смогли венчаться по объективным причинам; см.: *Alexandru Odobescu și corespondenții săi*, ediție de Filofteia Mihai și Rodica Bichis, București, Minerva, 1984, p. 13; Florentin Popescu, *Romanul...*, p. 100–117.

6 Бывший преподаватель рисования и художник в г. Сибиу, приехавший в Бухарест в 1851 г.; см.: Ion Frunzetti, *Arta românească în secolul XIX. Cuvânt înainte de Dan Grigorescu*, București, Editura Meridiane, 1991, p. 276–287.

7 Opere, VIII, p. 204.

8 См.: Opere, II, 1967, p. 644–648; Geo Șerban, *Cronologia vieții și activității lui Odobescu* (Al. Odobescu, *Pagini regăsite*, București, EPL, 1965, p. 299–407); Fl. Popescu, *Romanul ...*, p. 105–117.

9 Opere, II, p. 381–408, 641–666.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

10 *Там же*, стр. 423–434, 672–674.

11 *Там же*, стр. 411–422, 667–671.

12 *Там же*, стр. 423–425.

13 См. *там же*, стр. 667.

14 См.: Stancu Ilin, *Revista română (Reviste literare românești în secolul al XIX-lea, sub îngrijirea și cu un cuvânt înainte de Paul Cornea, București, Minerva, 1970, p. 105–159); Gabriela Drăgoi, Odobescu Alexandru; Revista română (Dicționarul literaturii române de la origini până la 1990, București, Editura Academiei, 1979, p. 637–643, 734–735; См. переиздание: Editura Academiei Române – Editura Gunivas, București – Chișinău, 2002, p. 653–658, 755).*

15 Opere, II, p. 110–184, 538–548. В конце введения, перепечатанного самим А. Одобеску в *Scriseri literare și istorice* [I, București, 1887, p. 334–348: *Despre odoarele, manuscrisele și cărțile aflate în mănăstirea Bistrița (Districtul Vâlcea în România)*], его сотрудник (вероятно, G. Ionescu-Gion) добавил специальное примечание, из которого мы позволим себе воспроизвести здесь в переводе небольшую часть:

„Среди археологических работ г-на Одобеску, относящихся к румынским монастырям, следует упомянуть статью о старых церковных пеленах из восточноевропейских стран, обращая внимание особенно на „Воздух” от русского Тихвинского монастыря, датированной 1601 г. Долгое время он хранился в монастыре Бистрица, откуда он был привезен в Бухарестский Национальный Музей, вместе с большинством старых предметов, зарегистрированных г. Одобеску в своих исследованиях 1860 и последующих годов. Эта статья была напечатана только в русском переводе [с французского] и с иллюстрациями в периодическом издании Московского археологического общества, озаглавленном *Древности* за 1874 г., стр. 1–36: *Воздух с вышиванным изображением положения Спасителя во гроб, похороненный 1601 г. в русский Тихвинский монастырь и найденный в Бистрицком монастыре в Валахии.* – В этой статье автор описывает, объясняет и сравнивает большое количество эпитафий и других старых церковных вышивок, которые хранятся в монастырях Валахии (Țara Românească), Молдавии и Буковины, а также в старых лаврах Афонской горы. Это – интересная статья о *живописи с иглой* или религиозных вышивках, широко распространенных во всем христианском Востоке. Данная живопись перешла от древних византийцев к грекам, попавшим под турок, к сербам, румынам из обоих Княжеств, к русским, грузинам и армянам. Каждый из этих народов придал особый колорит творениям этого искусства, практикованного специальными ремесленниками (*seidicari, ceaprazari*), а также женщинами, происходившими из высших имущих классов” (Текст примечания был перепечатан в: Opere, II, p. 540–542: Variante; оттиск исследования А. Одобеску из журнала „*Древности. Труды Московского археологического общества*”, 4, 1874, стр. 1–36 + III табл., хранится в Библиотеке Румынской Академии: III. 99749).

16 Opere, II, p. 112; см. стр. 411–422, 429–434, 667–674.

17 См. наш этюд: *Originalul slavon al „Învățăturilor” și formația culturală a lui Neagoe Basarab (Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, ediție de Florica Moisil, Dan Zamfirescu și G. Mihailă, București, Editura Minerva, 1970, p. 66–*

75).

18 См.: А. И. Яцимирский, *Славянские и русские рукописи румынских библиотек* (Сборник ОРЯС, т. LXXIX), СПб., 1905, стр. 345–350, Р. Р. Panaitescu, *Manuscisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.*, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1959, p. VII, 300–302.

19 В 6854 (1346) году индикт был 14.

20 Одобеску читал Bogoslov[, но уже Фр. Миклошич воспроизвел правильную форму (см. ниже).

21 Стефан Душан (1331–1355 гг.).

22 Л. 410 а–б (последний; при механическом нумерации был пропущен один лист после л. 249: он должен носить цифру 249 bis).

23 См. ниже, 4-ый параграф об исследованиях Фр. Миклошича и В. Ягича, посвященных этой знаменитой рукописи, при содействии самого А. Одобеску.

24 См.: Р. Р. Panaitescu, *Manuscisele ...*, p. 357–358.

25 См.: Elena Lină, Lucia Djamo-Diaconiă, Olga Stoicovici, *Catalogul manuscriselor slavo-române din Bucureşti*, Tipografia Universității din Bucureşti, 1981, p. 22 – 24 (L.D.- D.).

26 Миниатюра была воспроизведена в книге: V. Brătulescu, *Miniaturi și manuscrise din Muzeul de artă religioasă*, Bucureşti, 1939, p. 77, pl. XXXII.

27 См. например: Liturghierul lui Macarie. Cu un studiu de P. P. Panaitescu și un indice de Angela și Alexandru Duțu, Bucureşti, Editura Academiei, 1961.

28 См. издания Б. П. Хашдеу (*Psaltirea publicată românește la 1577 de diaconul Coresi*, Tomul I. Textul, Bucureşti, 1881) и Стели Тома (Stela Toma: Coresi, *Psaltirea slavo-română (1577)*, în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589, Bucureşti, Editura Academiei, 1976), а также: Coresi în cultura românească. Culegere de studii și cercetări („Cumidava”, XIII, Brașov, 1983; ion Ghetie – Al. Mareș, *Diaconul Coresi și izbânda scrisului în limba română*, Bucureşti, Editura Minerva, 1994; G. Mihăilă, *Între Orient și Occident. Studii de cultură și literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea*, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1999, p. 236–291).

29 Монастырь, находящийся недалеко от Бухареста, на острове в озере Снагов; см.: Opere, II, p. 191–236, 570–593; сокращенный русский перевод: *Несколько часов в Снагове*, в сб. А. Одобеску, *Избранное*, стр. 191–235.

30 См. русский перевод: *Псевдокинегетикос, или Лжетрактат об охоте* (там же, стр. 65–188). Интересны размышления известного русского литературоведа и переводчика Ю. Кожевникова об этом единственном в своем роде произведении в послесловии, озглавленном Александру Одобеску – писатель и учений (стр. 217–255), из которого мы позволим себе цитировать следующие синтезирующие характеристики: „Дело в том, что *Псевдокинегетикос* знаменует собой завершение бурного периода формирования румынского литературного языка. Окончательно оформленавшимся этот язык предстает в творчестве Эминеску (1850–1889), но Одобеску с его *Лжетрактатом* – непосредственный предшественник великого поэта” (стр. 253). И далее: „Но *Лжетрактат об охоте* не только теоретический трактат по эстетике и практический трактат о языке, это еще и своеобразная энциклопедия искусств, которая, несмотря на всю свою неполноту и

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

бессистемность, все же выполняет роль воспитателя вкуса и дает определенные сведения о самых разных видах искусств, бытовавших в различные времена у различных народов, что также являлось целью автора-просветителя, весьма ревностно пекущегося о народном образовании во всех его видах” (стр. 254).

31 „Эти два издания (1862 и 1887 гг. – прим. н.) очень близки друг к другу – писали издатели II тома *Сочинений* 1967 г. (Opere, II, 570 – 571) –; Одобеску представил с самого начала текст хорошо стилизованный и построенный, который не нуждался в значительной переработке к переизданию в 1887 г. Однако автор практически сокращает текст за счет надписей на славянском языке, также как он поступил и с другими текстами, переизданными в 1887 г.” В академическом издании они воспроизводятся в разделе *Варианты* (Variante, p. 572–580), так что специалисты вынуждены искать их здесь.

32 Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, p. 119–120.

33 Занятия А. Одобеску *Кладом из Пьетроасы* начались именно летом 1861 г.; первое его публичное выступление было в „Académie des inscriptions et belles-lettres”, в Париже, 1 и 8 декабря 1865 г., под названием: Notice sur le Trésor de Pétrossa découvert en Roumanie et conservé au Musée National de Bucarest (Opere, IV, p. 6–8).

34 Это „письмо” только по форме следовало бы включить во II том Opere, а не в VIII том (*Corespondență*, p. 200 – 203).

35 БРА: II. 108659 – три печатных листа (32 стр.) проектированного издания по рукописи 2470, написанной по всей вероятности писцом Фота, как и рук. 508 (см.: Dan Horia Mazilu, *Varlaam și Ioasaf. Istoria unei cărți*, București, 1981, p. 90–113, 145).

36 Opere, VIII, p. 278–281. О культурной деятельности ученого логотета см. монографию: D. H. Mazilu, *Udriște Năsturel*, București, 1974. Издание А. Одобеску носит название: *Pravila bisericească, numită cea mică, tipărită mai întâi la 1640 în mănăstirea Govora, publicată acum în transcripțiuine cu litere latine de Academia Română*, București, 1884.

37 См.: Opere, II, 1955, p. 308–312; Istoria arheologiei, I. Antichitatea. Renașterea, ediție îngrijită ... de D. Tudor, București, 1961, p. 323–325.

38 См. наш этюд: *Alexandru Odobescu – editor de literatură română veche, „Viața românească”*, LXXXI, 1986, nr. 1, p. 48–62; nr. 2, p. 1–13.

39 *Din legăturile lui Fr. Miklosich cu A. I. Odobescu, B. P. Hasdeu și Ioan Bogdan*, Rsl, XII, 1965, p. 235–239 + 2 факсимиле; см. также наше сообщение: *Место Фр. Миклошича в славяно-румынской филологии*, в сб. Miklošičev zbornik, Ljubljana (Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti v Ljubljani – Univerza v Ljubljani – Univerza v Mariboru), 1992, стр. 379–392 (воспроизведено в книге: Langue et culture roumaines dans l'espace sud-est européen. Румынский язык и литература в Юго-Восточной Европе, București, Editura Academiei Române, 2001, p. 553–563).

40 Dim. Păcurariu, *Corespondență inedită: Al. Odobescu, B. P. Hasdeu, „Revista de istorie și teorie literară”*, t. 17, 1968, nr. 3, p. 409 – 505 (Österreichische Nationalbibliothek, Autogr. 137/20); Idem, *Traditiile ale culturii românești la Viena (Comunicările „Hyperion”*. Filologie, 11, București, Editura Victor, 2002, p. 3–35:

ROMANOSLAVICA 38

письма А. Одобеску к Фр. Миклошичу, стр. 11–20).

41 Возможно все-же в октябре 1865 г., когда Одобеску отправлялся в Париж с официальным заданием (см.: Geo Ţerban, Cronologia..., р. 330–331; Fl. Popescu, Romanul ..., р. 134–137).

42 Фр. Миклошич послал А. Одобеску свою работу, о чем мы узнаем из письма последнего от 21 ноября того же года (см. ниже, а также: Langue et culture roumaines ..., р. 583–584).

43 Книга *Alexandru Odobescu și corespondenții săi* не содержит никаких писем от Фр. Миклошича.

44 Толкования (комментарии) к *Псалтыри* принадлежат Гесихию Ерусалимскому (V в.), как установил В. Ягич (см. ниже).

45 См.: Slovník jazyka staroslovenského. Lexicon linguae palaeoslovenicae, I, hlavní redaktor J. Kurz, Praha, Academia, 1958–1966, p. LXIV.

46 См.: „Analele Academiei Române”, Seria II, t. XXVI, 1903 – 1904, Partea adm. și dezbr., р. 190–192; Ioan Bogdan, Scrisori alese, cu o prefată de Emil Petrovici, ediție îngrijită ... de G. Mihailă, București, Editura Academiei, 1968, р. 590–591, 692): [Vatroslav Jagić]. Избрание состоялось по предложению его ученика и друга И. Богдана, подписанному также Б. П. Хашдеу, Гр. Г. Точилеску, И. Биану и др. Коротко представив разностороннюю деятельность известного хорватского филолога в Загребе, Одессе, Берлине, С.-Петербурге и Вене – где И. Богдан слушал его лекции в 1887–1888 гг. –, румынский славист подчеркивал в докладе, прочитанном в Румынской Академии 23 марта 1904 г.:

„В 1876 г. он основал [в Берлине] первый европейский журнал по славянской филологии: «Archiv für slavische Philologie» (...). Начиная с 1864 г., когда он напечатал первый свой научный труд, проф. Ягич развернул в течение 40 лет по сей день поразительную деятельность во всех отраслях славянской филологии (...). Академические издания Загреба, Белграда, Петербурга, Вены и основные славистические журналы почти всех славянских стран полны его исследованиями, всегда глубокими и оригинальными”.

Особое внимание обращал венский славист к румынской филологии и ее связям с славянской филологией: „Очень важным для нас является тот факт, что профессор Ягич, хотя и не занимался специально румынским языком, как покойный Миклошич, с интересом следил за достижениями румынской филологии и отмечал их в «Архиве» каждый раз, когда появлялся случай. В своих исследованиях и рецензиях, а также на лекциях он всегда обращался внимание славистов на тот интерес, который представляет для них изучение румынского языка, литературы и истории. Вслед за А. Веселовским, он является в настоящее время вторым славистом, который неоднократно подчеркивает значение румынской культуры прошлого для познания всей Восточной Европы”.

Переписку В. Ягича с И. Богданом, в частности в связи с рукописью *Псалтыри Бранко Младеновича*, подробно прокомментировал И. Лупаш в академическом сообщении: I. Lupaş, *Ioan Bogdan în lumina unor fragmente din corespondența sa*, отдельный оттиск из „Analele Academiei Române”, Memoriile Secției Istorice, Seria III, t. XXVII, 1944–1945, р. 171 – 183 (19–31); см. также: N. Iorga, Oameni care au

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

fost, vol. II, București, 1967, p. 203–204.

47 В переписывании текстов В. Ягичу помог, рядом с другими, Е. Козак, будущий профессор славистики в Черновицком университете.

48 На самом деле, четыре.

49 A.A.R., Seria II, t. XXIX, 1906–1907, Partea adm. și dezb., p. 145; шифр книги в Библиотеке Румынской Академии: III. 7634. В последнее время *Болонская псалтырь* была переиздана фотографским способом со вступительной статьей акад. Ив. Дуйчева: *Psalterium Bononiense. Болонски псалтир*, София, 1968; *Погодинская псалтырь* была подробно описана Климентиной Ивановой: *Български, сръбски и молдо-влахийски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин*, София, 1981, стр. 23–31 и табл. I, на стр. 497.

50 См.: *Langue et culture roumaines ...*, p. 501–532.

**Du “sacré” au “profane”
dans l’évolution sémantique
(sur les slavonismes roumains)**

Mihai Mitu

Parmi les plus significatifs évolutions sémantiques, c'est celle du "sacré" au "profane". Ces deux notions situées pratiquement en opposition, se confondent même à la dynamique de l'évolution de la mentalité et du comportement humain par rapport à l'environnement. La langue, le parler, comme réflexion de la réalité environnante, représente le plus important dépôt des résultats de ce type d'évolution. La riche littérature du sujet, accumulée le long des années, nous offre deux aspects complémentaires : *d'une part*, les historiens de la culture et de la civilisation, des religions, les ethnopsychologues, les anthropologues, les folkloristes qui ont analysé, chacun de son point de vue, l'évolution de la mentalité humaine, dans le contexte de la dichotomie "sacré"/"profane", ils sont tous fait appel aux multiples et variés exemples offerts par le vocabulaire (D. Drăghicescu, M. Eliade, P. P. Panaitescu, R. Vulcănescu, C. Noica); *d'autre part*, les philologues, les linguistes qui ont étudié ces deux notions, comme expression bipolaire de l'évolution sémantique, ont cherché et souvent ont aussi trouvé des explications extralinguistiques dans les résultats des recherches de leurs confrères nonlinguistes (L. Șăineanu, Anca Irina Ionescu).

L'opposition "sacré"/"profane", à laquelle M. Eliade a spécialement consacré son ouvrage *Le sacré et le profane* (1956, éd. roum., 1992), est un anneau d'une chaîne qui commence, en fait, par "le profane". L'essentiel mobile du passage du "profane" au "sacré" a été *le pouvoir*: "Le sacré est équivalent au pouvoir", dit Eliade (p. 14) qui donne l'exemple de la pierre, considérée sacré, lorsqu'elle prouve son pouvoir de guérir. Le profane a commencé à avoir des connotations sacrées lorsque l'objet qu'il représentait avait prouvé son pouvoir, son ascendant sur l'homme, quand l'action qui il exerçait dépassait sa capacité de la comprendre. *Homo sapiens* est devenu *homo religiosus* au moment où il mit au crédit d'une force surnaturelle les phénomènes de la nature qu'il ne pouvait pas les expliquer. Plus tard, le long du développement de la société humaine, dans le processus de diversification, toujours plus accentuée, des langues, dans les conditions spécifiques de diverses communautés humaines, certains mots, surtout les emprunts (mais pas seulement) ont été soumis à une "désacralisation", ils sont redevenus profanes, mais, souvent à *un autre sens profane que l'initial*. Une pareille direction peut être suivie, dans le contexte de la sémantique historique; par exemple, pour IE *svantás* (cf. védique *cvantas*), qui initialement signifiait "étincelant, florissant", avait plus tard modifié son sens, dans le latin et le slave commun: lat. *sanctus* "saint, sacré", sl. com. *svetъ* "sacré", mais aussi "inviolable, virtueux, propre (moral)" considérant que "le resplendissement, l'épanouissement" sont propres au pouvoir divin, possesseur de la lumière, comprise comme le symbole de la pureté, de la propreté. Dans le passage du slave

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

au roumain, v sl. *svētъ* > rom. *sfânt*, gardant encore son sens de “sacré”, le mot commencé à développer de nouveaux sens profanes, plus familiers: “parfait, effrayant, terrible” (comme dans l’expression *o sfântă de bătaie* - “un sacré coup”) tout en conservant le sens de “pur, innocent” dans la poésie (Eminescu, Goga), tandis que du lat. *sanctus*, en roumain on a les formes populaires *sân* (*sânt*) au sens unique “sacré” dans les formules: *Sângeorgiu*, *Sânziene*, *Sântana*.

A notre connaissance, à part le travail – devenu classique – de L. Șâineanu, dans lequel on trouve un chapitre spécialement consacré au *Christianisme et la langue* (ed. 1999, p. 43 – 109), suivi d’autres suggestives références à des exemples du lexique religieux roumain (trouvés partout dans le travail, p. 112-141; 157-159, 178-257) on ne trouve aucune autre préoccupation – au moins à intention déclarée – dans le domaine de l’évolution sémantique des termes religieux de la langue roumaine. Les ouvrages lexicographiques – par leur nature – ne font qu’enregistrer, chronologiquement, les sens de différents mots, sans essayer de donner des explications (DA y fait exception ; on y trouve souvent de vraies microétudes étymologiques élaborées par S. Pușcariu). Ils sont, sans doute, particulièrement utiles, grâce à la richesse des attestations.

Des listes de slavonismes (y compris religieux), accompagnées de l’explication de l’étymon et du sens, on en trouve, aussi dans des ouvrages d’histoire de la langue roumaine, contenant parfois des explications (O. Densusianu, S. Pușcariu, Al. Rosetti, G. Ivănescu), mais plus détaillées dans les ouvrages des slavistes (G. Mihăilă, E. Vrabie, V. Vascenco) qui ont repris ce problème, abordé depuis longtemps par F. Miklosich, par de nouveaux exemples et par des tentatives d’analyse plus profonde, aussi que d’autres ouvrages de référence (H. Mihăescu).

Les dernières années, la terminologie religieuse (d’origine latine ou slavonne) a fait l’objet de certaines études (G. Chivu ; F. Király, Maria Király et Valeria Nistor ; Liviu Onu; Viorica Goicu). Particulièrement utiles, pour le linguiste, chercheur de la terminologie religieuse roumaine, il y a certains dictionnaires mythologiques récemment parus (I. Evseev, I. Ghinoiu, I. Taloș , Antoaneta Olteanu etc.).

D’une grande importance théorique et méthodologique pour l’histoire du vocabulaire roumain d’origine slave, il y a la délimitation faite entre les termes d’origine ancienne sud-slave (entrés à voie orale) et ceux d’origine slavonne (entrés à voie livresque).

On peut ainsi fortement souligner, comme une réalisation fondamentale de la lexicographie roumaine, la mention spéciale dans le DLR (à partir de la fasc. 7 de la lettre M) du caractère vieux-slave ou slavon de l’étymon proposé pour un mot roumain de cette origine.

La distinction effectuée, chez nous, pour la première fois, il y a près de deux siècles, par I. Budai-Deleanu (1818), a été reprise par de nombreux linguistes (commençant par B.P. Hasdeu et I. Bogdan), pour trouver sa précise consolidation théorique dans les études de G. Mihăilă et sa reconnaissance comme une bonne acquisition de la science roumaine, dans des ouvrages tels que l’*Encyclopédie de la langue roumaine* (2001, p. 526-527, article signé par M. Sala). Dans ces conditions, le postulat lancé dès 1960 par G. Mihăilă et suivi à chaque occasion dans les ultérieures études, est devenu, on pourrait le dire, la

pierre de touche de n'importe quelle étude roumain de sémantique historique et d'étymologie roumaino-slave.

L'étude présente se proposant de s'arrêter sur l'évolution du "sacré" au "profane" sur les slavonismes de la langue roumaine, il faut absolument considérer plusieurs aspects:

1. Le domaine de prédilection de cette étude reste *la terminologie religieuse* de la langue roumaine, dans laquelle, la première couche chronologiquement parlé est cette *d'origine latine* ("le peuple roumain est né chrétien"). En grande partie, cette première couche n'a pas souffert de spectaculaires évolutions sémantiques: à peu d'exceptions, les mots d'origine latine, qui représentent des notions religieuses fondamentaux (*Dumnezeu* "Dieux", *biserică* "église", *cruce* "croix" etc.) sont restées les même à leur sens initial, noble, accompagnées du respect dû, des parleurs, ce sens étant même consolidé par des expressions phraséologiques d'une grande expressivité et popularité: *a nu avea nici un Dumnezeu* (n'avoir ni rime, ni raison; n'avoir ni queue, ni tête), *a nu fi ușă de biserică* (n'être pas plier d'église), *a-și face cruce* (faire le signe de la croix, s'étonner, s'émerveiller). Même les dérivés tels que: *bisericuță* "petite église", *părințel* "petit curé" ne vont pas altérer le sens du mot initial, tous les deux étant des diminutifs hypocoristiques, légèrement familiers. Le sens de "cotérie" du mot *bisericuță* est assez nouveau (XX-è siècle), probablement développé sous l'influence du fr. *clocher, paroisse* (selon DA).

2. Le caractère plus profond, plus spectaculaire de l'évolution sémantique des slavonismes, par rapport aux mots de base d'origine latine, comporte de diverses et multiples explications tenant des causes plus générales qui peuvent aussi être rencontrées dans la culture d'autres peuples, mais aussi de causes spécifiques roumaines:

- l'etroite relation du peuple roumain à la réalité matérielle immédiate, fait que la plupart des évolutions sémantiques soit rattachée au milieu naturel du village, de la terre;
- la réceptivité de l'orthodoxie roumaine aux éléments mythologiques préchrétiennes, païennes, due au respect de la tradition, des coutumes et à l'exemple des précurseurs;
- l'hospitalité proverbiale du paysan roumain; fait qui a accentué l'esprit de tolérance religieuse;
- le caractère profondément populaire, plus profane de l'orthodoxisme, en général, et roumain, en particulier, manifesté dans le plus divers domaines de la vie spirituelle: dans l'art populaire (figures de Saints "humanisés" sur les parois des églises), dans le folklore (des légendes et des contes bleus où Dieu et des Saints se mêlent parmi les hommes ayant des préoccupations humaines);
- l'inclination vers le ludique, l'ironie, vers la poésie et la métaphore qui ne manque pas, ni dans certains éléments de la vie religieuse (voir les anecdotes populaires dans lesquelle certains curés apparaissent dans une lumière assez humoresque);
- l'attitude plus ou moins formelle, dans une grande mesure sceptique, face à la religion, comme doctrine, fait qui justifie aussi l'absence du fanatisme, de dévouement aveugle à l'égard des choses saintes;
- la réception, le long des siècles, des mots employés de la pratique

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

écclesiastique prononcés dans une langue étrangère inconnue – le slavon – fait qui a accentué une attitude plus ou moins réservée vis-à-vis de la religion, sa réduction à un fait rituel, habituel, passible de “dégradation” tel que n’importe quelle activité humaine;

- l’expressivité plus accentuée du slavonisme, que le mot étranger emprunté (fait généralement reconnu dans l’histoire du vocabulaire) dans les conditions de sa répétabilité dans la pratique du culte.

Dans l’analyse de la direction de l’évolution sémantique des slavonismes roumains, il faut, dès le début, faire une délimitation, absolument nécessaire:

- *les slavonismes cultes, créations personnelles des écrivaines classiques*, issue du besoin d’enrichissement du lexique des traductions, ou de leurs œuvres originales (Varlaam, Dosoftei etc.). La plupart d’entre eux se retrouvent seulement dans les ouvrages religieux de l’époque (certains sont même des “happax”) sans avoir développer d’autres sens que celui original du slavon, et sans être plus tard employés (ex. chez Dosoftei: *cetverodvoită, inoplemenic, blagodelstvui, bogonoseț*, cf. des attestations uniques, dans les DA et DLR).

- *les slavonismes usuels, entrés depuis longtemps dans la langue roumaine* (certains dès l’époque du contact du roumain commun et du vieux slave, d’autres de la période immédiatement suivante de la pratique du culte orthodoxe chez les Roumains dans cette langue, jusqu’au XVII-ème siècle) : *duh, rai, iad, sfânt* etc. (d’origine vieux-slave ou slavonne) ou *aghiazmă, afurisit, canon, filosof, icoană, zâzanie* etc. (d’origine grecque, par l’intermédiaire du slavon).

Une autre délimitation, concernant les slavonismes, absolument nécessaire pour mieux définir la valeur et l’intensité de l’évolution sémantique du “sacré” au “profane”, c’est celle qui fait la distinction entre “*nomina sacra*” proprement dits (*y compris les noms propres bibliques, les noms de saints ou des toponymes*) et *les mots soi-disant “techniques”* (*certains même laïques, profanes*) employés *surtout dans l’église*, prononcés par le prêtre ou d’autres personnes qui participent au service divin, bien liées à la pratique religieuse courante, fait qui leur confère “une auréole sacrée”. Ces derniers mots, grâce à leur fréquent emploi, ont atténué leur “sacralité”, celle initiale ou acquise, devenant, d’habitude par l’extension du sens ou par la métaphorisation, des mots tout-à-fait profanes, communs. Le nouveau sens profane, dépourvu de sacralité, semble souvent très évident, à peine dans une expression phraséologique. Généralement, la synonymie au terme équivalent d’origine latine, surtout quand il garde ordinairement son sens initial, neutre, met fortement en évidence le nouveau sens profane du terme d’origine slavonne.

Parmi les nombreux mots religieux d’origine slavonne, employés aussi au sens profanes (rencontrés parfois jusqu’aujourd’hui), les suivants nous paraissent les plus suggestifs:

I. Notions fondamentales de la religion chrétienne

- **duh** “esprit”, “*être surnaturel*”, l’une des trois hypostases de la trinité divine du christianisme, (< slavon. **Духъ**) possède une polysémie et une phraséologie très riches: “âme, esprit (d’un être vivant)”; “capacité intellectuelle, raison, intelligence, humour, esprit”: *om de duh* (“l’homme d’esprit”), *plin de duh* (“plein

d'esprit, fin, intelligent”), *sārac cu duhul* (“bête, niaise”); “caractère, naturel, tempérament”: *cu duhul blândeții* (“avec douceur, par la persuasion”); “trait caractéristique, spécifique”.

- *rai* “paradis” (< slavon. **ραи**), par extension du sens, “lieu, pays enchanteur, bel endroit dans la nature”: *pe-o gură de rai* (“beau paysage”); *colț de rai* (“coin de paradis”); *raiul pe pământ* (“le paradis sur terre”); ”lieu où l'homme se sent très bien, dans lequel il ressent une grande satisfaction spirituelle”. L'idée d'utilité, d'efficacité d'une punition est suggérée par l'expression *bătaia e ruptă din rai* (“la correction est sainte comme le paradis”).

- *arhanghel* “l'archange” – ‘le chef des anges’ (< slavon. **αρχανγελъ** < gr.) a aussi le sens de “fouet, martinet” (euphémique), avec sa variante populaire *aranghel*, dans l'expression *Sfântu' aranghel* (“le Saint Archange”), expliquée par Ciorănescu 396 par le fait que la vierge qu'on utilisait à punir les écoliers indisciplinés était, d'habitude, gardée derrière l'icône des Saints Archanges Michel et Gabriel (équivalent en français au *martin-bâton*).

II. Esprits et lieux maléfiques

- *diavol* “diable” (< slavon. **дияволъ** < gr.), mais aussi “enfant (homme) insolent, tapageur, espiègle”; fam. *diavoliță* “diablerie”, “fille vive, pleine de charme”.

- *satană* “Satan” (< slavon. **сатана**), ‘diable, le chef des diables’; esprit impur et, à une nuance ironique, épithète employé pour ‘une personne insupportable, pérfide, méchante’.

- *antihrist*, pop. *antihărț* “antéchrist” (< slavon. **антіхристъ** < gr.), du sens “d'ennemi de Dieu, Satan, l'hérétique”, en roumain on a aussi développé des nuances dépréciatives, ironiques “personne hors la loi, escroc, homme de rien”.

- *Scaraotchi* “Satan” (< slavon. **(и)скариотски** ‘Judas Iscariote’), sens exclusivement populaire roumain qui vient de Judas Iscariote, comme personification du mal.

- *iad* “enfer” (< slavon. **иадъ** < gr.) ‘lieu de pénitence et de souffrance pour les pécheurs, après la mort’, mais aussi figuré pour n'importe quel lieu de souffrance dans cette vie; bruit assourdissant; ténèbres (attributs de l'enfer).

- *iudă* “Judas” (< slavon. **иуда** < gr.; DA II, 919 ajoute aussi le sens du bg. *juda* “personne méchante, chien; fée aquatique méchante”). Parmi les apôtres de Jésu, le seul ayant un rôle négatif, Judas, a été depuis longtemps retenu comme tel par le peuple. Chez nous il a aussi les sens de: “usurier, traître, personne méchante, infâme; esprit impur, porteur des vents; enfant insolent”; même argotique “agent de police” (cf. Ciorănescu 4541).

- *idol* “idole, statue (païenne), divinité païenne” < slavon. **идолъ**, dans le passé ayant, dans les écrits religieux, de nombreux dérivés, aujourd'hui, au sens figuré de “personne qui constitue l'objet d'un culte” et fam., “diable”, par extension, “personne mauvaise”.

- *lighioană* “bête sauvage” (< slavon. **лєгеноиъ**, cf. ESJS, 406), qui vient du sens de “légion des diables” (dans la *Bible*), conservé dans le vieux roum. *legheon*, il est devenu, sur le modèle du pl. *legheoane* au sing. *lighioană*, “animal repoussant, dégoutant”.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

III. Noms de saints

- *sfânt* “saint” (< vsl. **свѧтъ**). Mot à étymologie vieux-slave en roumain, mais qui, grâce à sa grande fréquence dans la période slavonne, il est resté en roum., non seulement à ses sens religieux, sacrés fondamentaux, “céleste, divin; icône représentant un saint”, mais, plus tard, il a aussi développé d’autres sens profanes: 1. “épithète donné aux jours de la semaine, comme une personnification, dans les croyances populaires (*Sainte Vendredi, Sainte Dimanche*)”; 2. “qui impose du respect, de la vénération, intangible, inviolable”; 3. “parfait, formidable, terrible” (l’idée de superlatif absolut); 4. “innocent, pur”, présent dans beaucoup d’expressions familières (*Ferit-a Sfântul* – “Dieu m’en garde, jamais de la vie” *a se jura pe toți sfinții* - “jurer ses grands dieux”, *a avea sfinții la Ierusalim* - “jouir d’une protection immérée”, aussi que dans les dérivés < slavon. **свѧтити**: *a sfinții* (sanctifier), *sfințire* (sanctification), *sfințenie* (sainteté), *sfințit* (sacré, béni) et *asfinții* (les astres – se coucher), *asfințit* (couche du soleil), mais aussi le sens figuré “a merge spre declin, decădere” (couche, declin), “a merge spre întuneric, a pieri lumina” (“après le coucher du soleil”), “Apus, Occident” (Ouest, Occident).

- *moaște* “reliques” (< slavon. **мѹчи**), seulement aux pluriel (DAR VI 759-760; Mihailă, *Studii*, 128), “les ossements mumifiés du corps d’une personne considérée sainte”, acquit un autre sens, moins sacré dans l’expression *a plimba pe cineva ca pe sfintele moaște* “faire de mouvements inutiles”) ou, plus rarement, *a avea rude printre moaște* (“être de noble extraction”).

IV. Les mots concernant l’hierarchie ecclésiastique, la plupart visant les supérieurs de l’église, comme *patriarh* (patriarche), *mitropolit* (métropolite), *episcop* (évêque), *arhiepiscop* (archevêque), *arhiereu* (prelat), *protopop* (archiprêtre), *arhidiaccon* (archidiacre), tous d’origine slavonne, n’ont pas connu une évolution sémantique.

Le plus familier des mots à grande diffusion, c’est *popă* “pope, prêtre, curé” (< slavon. srb. **попа**). A l’exception de son synonyme d’origine latine, *preot* “prêtre” (< lat. *praesbiter*, DLR VIII, 1320), qui a depuis toujours gardé son sens initial jusqu’à nos jours, plein de noblesse, de respect envers “le représentant du Dieu sur terre”, le slavonisme *popă* (pope, curé) est un mot familier, populaire, qui désigne le prêtre roumain de la campagne, peu instruit, généralement issu de ses concitoyens, obligatoirement marié (conformément aux canons orthodoxes) et, hors l’église, une personne comme les autres, travaillant sa terre comme ses voisins, soumis à tous les péchés humains. Par conséquence, *popă* (à l’exception du *preot*) ne manque jamais du riche folklore humoristique roumain (devinettes, blagues, anecdotes), de la phraséologie et de la sémantique roumaine. Par rapport à une colonne et demie consacrée au mot *preot*, DLR VIII consacre à *popă* presque quatre colonnes (p. 1034-1036); le premier sens étant déjà “populaire et familier” (chez Coresi, XVI^e siècle), à une très riche et plastique phraséologie et parémiologie: *a da ortu popii* “mourir” (textuellement, *donner d’argent au pope*); *a se duce buhul ca de popă tuns* “il est connu comme un loup blanc” (textuellement, *il e connu comme un pope avec les cheveux et la barbe coupés*, c’est-à-dire contrairement à l’orthodoxie, dans laquelle les prêtres

sont obligés de porter de la barbe et de la moustache); *a se uita la cineva ca dracul la popă* “regarder qqn. de travers, méchamment” (textuellement, *regarder qqn. comme le diable regarde un pope*); *a fi botezat de un popă beat* “être fou” (textuellement, *être baptisé par un curé ivre*). L'une des figures du jeu de cartes s'appelle “le roi” ou „le pope”, d'où l'expression: *uite popa, nu e popa* (*c'est tantôt Pierre, tantôt Paul*), employée pour une personne qui fait des supercheries. Toujours *popă* s'appelle la pièce la plus grande des quilles, la personne qui lance la balle au jeu “*oina*” (jeu de balle roumain). En Moldavie, les jours maigres s'appelle *de popă* (“du pope”); on appelle aussi *popă* une espèce de poisson, certains insectes et plantes. Dans la botanique populaire, des nombreuses plantes contiennent le mot *popă* dans leur nom, comme résultat d'une métaphore: *barba popii* (la barbe du pope) ‘*Aruncus vulgaris*’; *boașele popii*; *desagii popii* (les testicules du pope) ‘*Aristolochia clematitis*’; *ciucurul popii* (le pompon du pope) ‘*Tripholium pratense*’; *ouăle popii* (les œufs du pope) ‘*Helleborus purpurascens*’; *punga popii* (la bourse du pope) ‘*Capsela bursa-pastoris*’. Il y a plus de 20 termes pareilles (tandis que pour *preot* il n'y en a aucun !), cf. Borza, DEB. Il n'est pas difficile de déviner quel est le mobile et la dynamique de la métaphore populaire dans ce cas, si on remarque en même temps qu'à côté de *Maica Domnului* ou *Maica Precista* (*la Sainte-Vierge*), le terme religieux le plus respecté (après *Dieu*) on a ajouté des mots tels que: *mână* (main), *lacrimi* (larmes), *brâu* (ceinture), *cămașă* (chemise), *floare* (fleur), *lemn* (bois), *mătură* (balai), *palmă* (paume), *păr* (cheveux), *poală* (jupes).

De la même manière, pour les dérivés *a popi* (ordonner prêtre), *popesc* (ecclésiastique), *popime* (clergé), *popie* (prêtrise), *popește* (à la manière des prêtres), on trouve dans le DLR les mêmes nuances péjoratives, dépréciatives, tandis que pour les dérivés du *preot* (prêtre): *preoție* (sacerdoce), *preoteasă* (femme d'un prêtre), *preoțeste* (écclésiastique), *preoțime* (clergé), les sens sont les mêmes – religieux, noble et neutre du point de vue sémantique. D'ailleurs, le caractère cultivé du terme *preot* (prêtre) part rapport à celui populaire du slavonisme *popă* était déjà visible dès les XVI-XVII siècles, fait particulièrement suggestif dans la dédicace de Simion Ștefan pour le gouverneur de la Transylvanie, dans *Le Nouveau Testament*, publié à Alba Iulia (1684): “Votre Majesté, vous m'avez ordonné de trouver parmi les petits *popes*, des prêtres érudits, hommes sages...” (ed. 1988, p. 113).

V. Objets de culte

- *cădelniță* “encensoir” (< slavon. **КАДИЛЬНИЦА**) ‘recipient en argent ou en or pour l'encensement fait pendant la messe’; le dérivé verbal *a cădelniță* (encenser), outre son sens initial, “agiter l'encensoir”, il a aussi développé un sens figuré: “flatter quelqu'un” (cf. DEX² 148); voir *a tămâia* (encenser), de même sens.

- *icoană* “icône” (< slavon. **ИКОНА** < gr. byz.), ‘tableau, peinture représentant la figure d'un saint, devant laquelle les croyants font le signe de la croix’. Dans la langue littéraire, il a le sens élargi de “figure, visage, tableau, porte, esquisse, cadre” et, au figuré, “image, visage, représentation”. A retenir sa présence dans la

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

phraséologie, à nuances ironiques: *a purta pe cineva (pe) la icoane* ‘tromper qqn., menner qqn. par le bout du nez, le duper, le mettre en jugement’ (textuellement, *porter qqn. devant les icônes*); *casa plină de icoane și podul de ghioage* se dit d’une personne mauvaise mais qui fait mine de saint, de pieux (textuellement, *avoir la maison pleine d’icônes et le grenier plein des massues*). Il y a aussi de nouveaux dérivés : *iconiță* (petite icône), *iconar* (peintre d’icônes, marchand d’icônes), *iconografie* (icônographie).

VI . Termes de rituel et de pratique ecclésiastique

- *aghiazmă* “eau bénite” (< slavon. **ѧғіазмѧ** < gr.) a aussi développé un sens ironique “d’eau-de-vie, de boisson alcoolique très forte”, rencontré aussi dans le verbe *a (se) aghezmui* ‘s’enivrer’; fam. “gifler, donner une claque” (DA I, 68-69; Ciorănescu, 129).

- *citi* “lire” (< slavon. **чъсти, чътж, -еши**) est resté en roumain (à la place des synonyme d’origine latine) parce que cette action se rattachait à la personne du curé: le paysan roumain, non seulement *écoutait*, mais aussi *voyait* le pope lisant (*l’Evangile*, pendant la messe; une absoute à l’enterrement d’une personne). En même temps, le verbe *a scrie* “écrire” (< lat. *scribere*) aussi que le subst. *carte* “livre” (< lat. *charta*) se sont, entre autres, perpétués en roumain, n’étant pas remplacés par leurs correspondants slaves *pisati* et *kniga*, grâce au fait que *le Roumain ne voyait presque jamais son curé écrire des livres, mais seulement les lire*. Les slavismes *pisanie* (inscription votive) et *pisar* (secrétaire d’un monastère ou d’une chancellerie princière) (< slavon. **писаник, писаръ**) sont restés seulement dans le milieu strictement religieux ecclésiastique, gardant leur sens du slavon: “inscription votive sur les parois d’une église ou monastère” et “copiste, moine écrivain” (ultérieurement aussi “secrétaire de chancellerie, beaucoup d’entre eux étant récrutés parmi les moines); d’autant plus, on a pu gardé les dérivés *citanie* (lecture) et *citeț* (lecteur), du slavon. **читаник, читъцъ**.

- *mir* “huile sacrée” (< slavon. **миро**), parce que le curé mettait, à la fin de la messe, de l’huile sacrée sur le front de chaque croyant, le verbe *a mirui* (< slavon. **миривати**), a côté de son sens initial, a aussi le sens familier “d’asséner un coup au milieu du front”, sens conservé dans l’expressions *a-i da la mir, a lovi pe cineva la mir* (DA II, 587-588) et *a-i lua cuiva mirul* “tuer qqn.”.

- *pomelnic* “obtuaire” (< slavon. **поменъникъ**), DAR VIII, 1004); le sens religieux de “liste de personnes décédées ou vivantes, lue par le curé pendant la messe ou la prière”, est devenu, dans le language familial à sens dépréciatif “liste longue, interminable de noms, objets, un torrent de paroles, prolongé et ennuyeux”.

- *tâlc* “sens, signification” (< slavon. **тлъкъ**) et le verb *a tâlcui* “traduire, expliquer, interpréter” (< slavon. **тлъковати**), n’avait pas en slavon un sens sacré, mais parce que ces deux mots étaient employés, au commencement, seulement dans le milieu ecclésiastique (“évangile à mots couvertes”, “le commentaire des évangiles”), car l’action de “traduire, expliquer, interpréter” était réservée à un groupe restreints de connasseurs (prêtres, moines) et parce que les sentences, les maximes et les paraboles (la plupart de la *Bible*) n’étaient que

des allégories, des fables à sens couvert, il n'a pas été difficile, dans le milieu roumain, de passer du sens initial de "commentaire, explication, signification" à celui de "fable, blague, maxime, sentence" dans des expressions telles que: *cu tâlc* "qui comporte un sous-entendu" ou "sensément, judicieusement"; *a vorbi (a răspunde) în tâlcuri* "parler (répondre) en paraboles, à mots couverts".

De même que pour le verbe *a citi* "lire", pour lequel l'apport personnel du prêtre est édifiant, dans la même catégorie on pourrait aussi inscrire une série de mots à fort visible nuance dépréciative-péjorative, qui trouvent leurs origines dans la modalité de lire ou de prononcer de certaines formules usuelles dans la pratique religieuse, exercitée dans une langue inconnue par le peuple (le slavon). C'est le cas de certains verbes, à expressif aspect phonétique, auxquels on a donné une autre connotation sémantique: "grommeler, grogner, rouspéter, protester", contenue par les mots *bodogâni* (< slavon. **БОГъ+ДАТИ**); *bogonisi* (< slavon. **БОГОНОСИТИ**), *boscordi* (< slavon. **БОГъ+РОДИТИ, БОГОРОДИЦА**) tous, à modifications phonétiques propres au language populaire. Il est à retenir le mot (*a*) *blagoslovi* "bénir" (< slavon. **БЛАГОСЛОВИТИ**) qui, à l'exception du mot (*a*) *binecuvânta* "bénir" (synonyme formé sur le terrain roumain du lat. *bene+dicere*) qui est resté avec son sens positif, le premier a reçu dans la vie quotidienne une nuance légèrement ironique, amusante ou d'une certaine concession (ex. *l-am blagoslovit cu o notă de trecere la examen* – "Je l'ai bénî à une note de passage à l'examen", *Vânătorul l-a blagoslovit pe lup cu un glonte* "Le chasseur a bénî le loup par une balle".) Outre ces exemples, il y a encore d'autre formules, fréquemment employées par le prêtre dans l'église et en dehors d'elle, connaissant d'intéressantes évolutions sémantiques péjoratives, par exemple *bogdaproste* (< slavon. **БОГъ ДА ПРОСТИ**) est devenue la formule de remerciement généralement utilisée, mais aussi à sens péjoratif, dans l'expression *pui de bogdaproste* "l'enfant d'un mendiant, maigre, sale et déguenillé"; *daiboj* (< slavon. **ДАИ БОЖЕ**) a aussi le sens de "gratuitement, sans effort".

Conclusions. Dans la langue roumaine, la plupart des slavonismes appartenant essentiellement à la terminologie religieuse, dans le milieu laïque (particulierement rurale) ont aussi évolué vers un sens ludique, familier, ironique, mais, généralement, se rapportant à des éléments secondaires (bâtiments, institutions, personnes, etc.) évitant les termes sacrés fondamentaux, qui appartiennent à la doctrine religieuse. Grâce à leur expressivité et leur caractère archaïque, beaucoup d'entre eux ont été utilisés dans les œuvres de nos écrivains classiques (Eminescu, Alecsandri, Creangă) qui ont contribué, par leur talent et leur autorité, à la survie de ses mots dans la langue roumaine.

* * *

Les slavonismes appartenant à la terminologie religieuse constituent seulement une infime partie de la totalité des slavonismes qui ont connu en roumain d'intéressantes évolutions sémantiques. Tous ces phénomènes peuvent être expliqués par des causes extralinguistiques. À côté des causes généralement rencontrées dans d'autres langues et chez d'autres peuples, il faut avant tout souligner la grande inventivité et l'inépuisable imagination des gens du peuple.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Les exemples que nous y venons de présenter, auquels on pourrait ajouter beaucoup d'autres encore, loin de représenter la négation de la religion en tant que doctrine, doivent être compris comme une manifestation de ces manifestations psychologiques du peuple roumain. Le Roumain chrétien est resté un *homo religiosus* en dépit de toutes ces "dérapages" sémantiques.

Une plus large recherche comparative, ayant comme objectif des situations similaires d'autres langues (de certains peuples slaves orthodoxes ou des peuples appartenant à d'autres croyances chrétiennes), pourrait sans doute mettre en évidence des phénomènes similaires concernant "la profanisation" des mots initialement sacrés. Un seul exemple: les mots polonais conservés du latin de la religion catholique, tels que *kreatura* (< m. lat. *creatura*) ou *sakrament* (< m. lat. *sacramentum*) qui, dans le polonais parlé, ont aussi développé des connotations fort profannes, arrivant même aux invectives.

Bibliographie

I.

- Fr. Miklosich, *Die christliche Terminologie des slavischen Sprachen. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung*, Wien, 1876.
- Lazăr Șăineanu, *Încercare asupra semasiologiei limbii române* (Essai sur la sémasiologie du roumain), 1887, nouv. éd., Timișoara, 1999.
- Ovid Densusianu, *Histoire de la langue roumaine*, Paris, 1901; éd. roum. *Istoria limbii române*, I, București, 1961, p. 159-188.
- Sextil Pușcariu, *Limba română* (La langue roumaine), I, 1940, nouv. éd., București, 1976.
- Al. Rosetti, *Istoria limbii române* (Histoire de la langue roumaine), București, 1968.
- G. Mihăilă, *Împrumuturi vechi sud-slave în limba română* (Les emprunts vieux sud-slaves en roumain), București, 1960.
- G. Mihăilă, *Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești* (Études de lexicologie et d'histoire de la linguistique roumaine), București, 1973, p. 117-135.
- H. Mihăescu, *Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea* (L'influence grecque sur le roumain jusqu'au XVème siècle), București, 1966, p. 82-102.
- Emil Vrabie, *Экспрессивность элементов славянского происхождения в румынском языке*, "Romanoslavica", XVI, 1968, p. 43-57.
- G. Ivănescu, *Istoria limbii române* (Histoire de la langue roumaine), Iași, 1980.
- V. Vasenco, *Franz Miklosich și terminologia creștină românească de origine slavonă* (Franz Miklosich et la terminologie chrétienne roumaine d'origine slavonne), "Romanoslavica", XXIX, 1992, p. 73-82.
- Viorica Goicu, *Elemente creștine în lexicul și onomastica românească* (Les éléments chrétiens dans le lexique et l'onomastique roumaine), dans le vol. G. I. Tohăneanu 70, Timișoara, 1995, p. 223-232.
- I. Gheție (coordinateur), *Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532 – 1780)* (Histoire de la langue roumaine littéraire. Première époque, 1532 – 1780), București, 1997.
- Gheorghe Chivu, *Civilizație și cultură. Considerații asupra limbajului bisericesc*

ROMANOSLAVICA 38

actual (La civilisation et la culture. Considérations sur le language ecclésiastique actuel), Bucureşti, 1997.

F. Király, Maria Király, Valeria Nistor, *Слова книжнославянского происхождения в церковной терминологии румынского языка*, "Romanoslavica", XXXV, 1997, p. 207-218.

Liviu Onu, *Terminologia creştină a limbii române* (La terminologie chrétienne roumaine), Bucureşti, 2000.

II.

DA – Academia Română, *Dicționarul limbii române* (Dictionnaire de la langue roumaine), vol. I-II, A-L, Bucureşti, 1913-1948.

DLR – Academia Română, *Dicționarul limbii române* (Dictionnaire de la langue roumaine), vol. VI-XIV, M-Z, Bucureşti, 1965-2002.

DEX – *Dicționar explicativ al limbii române* (Dictionnaire explicatif de la langue roumaine), 2éd, Bucureşti, 1996.

Borza DEB – Al. Borza, *Dicționar etnobotanic* (Dictionnaire ethnobotanique), Bucureşti, 1968.

Cioranescu – Alejandro Cioranescu, *Dictionario etimológico rumano*, Tenerife, 1954-1966 (éd. roum., *Dicționarul etimologic al limbii române*, Bucureşti, 2001).

Vasmer-Trubaciov – *Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka*, I-III, Moskva (traduction russe de O. Trubačev; original: Max Vasmer, *Russisches Etymologisches Wörterbuch*, I-III, Heidelberg, 1950-1958).

ESJS – Československá Akademie Věd. Ústav slavistiky, *Etimologicky slovník jazyka staroslověnského*, Hl. red. Eva Havlová, Adolf Erhart, fasc. 1-11, Praha, 1989-2002.

III.

Dumitru Drăghicescu, *Din psihologia poporului român* (La psychologie du peuple roumain), 1907, nouv. éd., Bucureşti, 1995.

Lucian Blaga, *Trilogia culturii* (La trilogie de la culture), 1935-1937, dans *Oeuvres*, vol. IX, Bucureşti, 1985.

Lucian Blaga, *Religie și spirit*, (La religion et l'esprit), 1942, dans *Oeuvres*, vol. X, Bucureşti, 1987.

Mircea Eliade, *Traité d'histoire des religions*, 1949, (éd. roum. *Tratat de istorie a religiilor*, Bucureşti, 1992).

Mircea Eliade, *Das Heilige und das Profane*, 1956, (éd. roum. *Sacrul și profanul*, Bucureşti, 1992).

P. P. Panaitescu, *Introducere la istoria culturii românești* (Introduction à l'histoire de la culture roumaine), Bucureşti, 1969.

Anca Irina Ionescu, *Lingvistică și mitologie*, (Linguistique et mythologie), Bucureşti, 1978.

Traian Herseni, *Cultura psihologică românească* (La culture psychologique roumaine), Bucureşti, 1980.

Romulus Vulcănescu, *Mitologie română* (La mythologie roumaine), Bucureşti, 1985.

Constantin Noica, *Pagini despre sufletul românesc* (Pages sur l'âme roumaine), nouv. éd., Bucureşti, 1991.

Constantin Noica, *Creație și frumos în rostirea românească* (La créativité et le beau en roumain), Bucureşti, 1973.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Ivan Evseev, *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească* (Dictionnaire de magie, démonologie et mythologie roumaine), Timișoara, 1997.

Antoaneta Olteanu, *Metamorfozele sacrului. Dicționar de mitologie populară* (Les métamorphoses du sacré. Dictionnaire de mythologie populaire), București, 1998.

Ion Taloș, *Gândirea magico-religioasă la români. Dicționar* (La pensée magico-religieuse chez les Roumains. Dictionnaire), București, 2001.

О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ (РУССКОГО И ИНОГО АРЕАЛА)

Виктор Васченко

Диалектологии как науке почти двести лет. В начале XIX в., а именно в 1819 г., Якоб Гримм (1785 – 1836) даст в своем труде *Detsche Grammatik* первое известное нам научное описание диалектов на материале немецкого языка, а несколько позже Жюль Жильерон (1854 – 1926) становится в 1883 г первым преподавателем французской диалектологии и автором первого лингвистического атласа Франции (1902 – 1923).

“Время, когда французский диалектолог... на велосипеде объехал Францию и составил первые карты лингвистической географии, ушло в далёкое прошлое” [7, с. 506], но разработанная им методология успешно применяется и в наши дни, когда живучесть диалектов, несмотря на победоносное шествие литературного языка, подтверждается в ряде случаев неоспоримыми фактами.

Так, например, на юге Германии, а именно в Баварии, число лиц, пользующихся местным диалектом в семейных условиях, составляет 77 процентов (это подавляющее большинство баварцев!). Немецкие говоры Швейцарии, относящиеся к алеманской диалектной группе (т. н. *Schwyzerdüütsch*), постоянно изпользуются во всех ситуациях устного языкового общения. Более того, диалект может быть декретирован в качестве национального языка, как это случилось в 1984 г. с лётцебургским диалектом в Люксембурге [см. 3].

Поскольку в диалектологии со времён Гримма и Жильерона до наших дней накопился большой фактический материал как русский, так и нерусский, особенно романо-германский, касающийся структуры говоров и их взаимоотношения с другими вариантами общенародного языка, назрела необходимость, как нам кажется, описать картину этого взаимоотношения в виде типологической классификации. А классификация – это, как известно, один из признаков зрелости науки.

* * *

Говоры являются вне сомнения основными, далее понятально неделимыми, территориальными единицами диалектного членения языка. В их взаимоотношении с общенародным (в том числе литературным) языком они допускают теоретически, на наш взгляд, бинарную типологическую классификацию. Её можно проследить с пяти точек зрения, а именно с точки зрения: лингвистической однородности (1), лингвистического континуума (2), лингвистической филиации (3), территориальной принадлежности (4), лингвистической конвергенции (5).

1. **Лингвистическая однородность.** С этой точки зрения территориальные и гетерогенные говоры. Первые из них, гомогенные говоры, характеризуются однородностью, им чуждо понятие смешанности. Такими являются, например, говоры немецкоязычной Швейцарии, многие говоры северновеликорусского наречия, а также периферийные говоры Румынии, т.е. романоязычной территории, в которых хорошо представлены исконно-латинские лексемы (напр., в португальском *areia* ‘песок’, в

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

некоторых молдавских говорах румынского языка *arină* ‘то же самое’ восходящие к лат. *arena*).

Гетерогенным говорам, напротив, чужда однородность и лексическая “чистота”. Они являются как правило результатом смешения населения. Такими являются, например, донские говоры, в которых понятие ‘крестьянский дом’ выражается как русским словом *изба*, так и украинским по происхождению словом *хата*.

2. **Лингвистический континуум.** В этом срезе территориальные разновидности языка делятся, по-нашему, с одной стороны, на сплошные говоры, и, с другой стороны, островные говоры. Сплошные говоры расположены без больших перерывов на национальной территории данного языка. Такими являются, например, говоры северновеликорусского и южновеликорусского наречий в пределах Российской Федерации, а также почти все говоры, находящиеся на дакорумынской языковой территории.

В противоположность сплошным говорам, островные говоры находятся в иноязычной среде, т.е. вне исконной национальной территории, в результате разного рода переселений. Такими являются, например, албанские говоры в Греции и Италии, а также русские говоры старообрядцев, переселившихся в XVIII - XIXвв. в восточную и юго-восточную Европу, т.е. на территорию Эстонии, Латвии, Литвы, Польши (тогдашней Пруссии и Австрии), Румынии, Молдавии и Болгарии.

3. **Лингвистическая филиация.** В этом плане выделяются, с одной стороны, первичные, а с другой стороны, вторичные говоры. Первичные говоры (немецкие диалектологи называют их *primäre Sprachinseln*, *Mutterkolonien*), имеют исходный характер, являются начальным звеном, они порождают новые диалектные единицы. Первичными являются, например, русские говоры старообрядцев, проживающих в румынских населенных пунктах Тульча, Сарикёй и Камень. Они содействовали образованию говора в Казашко (Болгария) путем переселения части населения указанных выше сёл на болгарский берег Чёрного моря.

Противостоящие им вторичные говоры (по-немецки *sekundäre Sprachinseln*, *Tochterkolonien*) образуются на базе первичных территориальных единиц. Так, например, говор липован села Новинка (рум. *Ghindărești*) образовался в XIXв. переселенцами из населенного пункта Плоское одесской области.

4. **Территориальная принадлежность.** С этой точки выделяются, с одной стороны, эксклавы, а с другой стороны, анклавы. Эксклав (нем. *Exklave*) – это такой говор, который оторвался от исконной диалектной зоны, а анклав (фр. *enclave*, нем. *Enklave*) – это такой говор, который образовался путём включения его носителей в иноязычную территорию. В конечном счёте один и тот же говор может быть как эксклавом, так и анклавом, потому что его статус зависит от внешнего фактора нелингвистического характера, а именно от того лица, которое занимается классификацией или описанием говоров поселенческих колоний. Так, для русского диалектолога русские говоры старообрядцев Румынии являются эксклавами, в то время как для румынского диалектолога они являются анклавами.

И эксклавы, и анклавы ощущаются “чужеземными” единицами: в первом случае – это отчуждённые говоры, а во втором случае – это (ещё) “не свои”.

В силу указанных выше особенностей такого типа говоры как правило не фиксируются на картах национальных лингвистических атласов. Например, они не входят в сферу научных интересов авторов *Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы* (под редакцией Р. И. Аванесова, ч. 1-2, М., 1957), т.к. для них островные старообрядческие говоры Румынии – это эксклавы, но в то же время эти

говоры пренебрегаются авторами румынского лингвистического атласа(*Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea.*, I. București, 1996), т.к. для авторов этого атласа они являются чужеродными анклавами, образованными на протяжении XVIII - XIX вв. в результате русской старообрядческой иммиграции.

5. Лингвистическая конвергенция. С этой точки зрения территориальные разновидности языка (говоры и диалекты) подразделяются на конвергентные и дивергентные языковые единицы.

Конвергентные говоры сходятся в одной точке, т.к. они находятся под выравнивающим влиянием литературного языка. Типичным примером являются ретороманские говоры в Швейцарии. Они в настоящее время испытывают оживляющее воздействие со стороны стандартного (письменного) ретороманского языка и тем самым пытаются избежать процесса вымирания.

Дивергентные говоры и диалекты, напротив, удаляются от стандартного языка, избегают его влияния. В этом отношении можно упомянуть архаические говоры французского языка в Канаде, характеризующиеся самостоятельным развитием начиная с XVII в., а также русские старообрядческие говоры Румынии и Болгарии, которые на протяжении последних трех веков развиваются, в свою очередь, самостоятельно, т.е. в отрыве от русского общенародного, в том числе литературного языка.

Дивергентной эволюцией характеризуются в высшей степени южнодунайские ответвления румынского языка, т.е. арумынский (или македорумынский), исторумынский и мегленорумынский "диалекты" (известные также с архаической огласовкой *-румун-*: арумынский или македорумынский, исторумынский и мегленорумынский). Они отделились от общерумынского языка ещё в средневековые, а именно в период IX - XI вв., в результате миграции части карпато-дунайского пастушеского населения (влахов) на юг Балканского полуострова.

Эти скотоводческие иммигранты оказались здесь, на юге, в иноязычном огружении славян, греков и албанцев, которые оказали и оказывают сильнейшее влияние на все языковые уровни: на морфологию, на синтаксис, на фонологию и особенно на лексику говорящих по-арумынски, по-исторумынски и по-мегленорумынски. В результате эти ответвления древнего общерумынского языка со временем перестали быть диалектами: они постепенно развиваются в самостоятельные романские языки о которых растворяются в иноязычной массе, в основном славянской. Языком государственной администрации, школы и церкви являются сейчас у этих переселенцев национальный язык соответствующего государства: хорватский, македонский, греческий или албанский [см. работ 1, 2, 5, 6, 8].

Речь идет о процессе лингвистического вымирания или угасания. Один из исследователей арумынского, известный ученый Таке Папахаджи, так и называет этот процесс: "угасание", по-румынски *stingere lingvistică*, а по-французски *mort linguistique* ("c'est là une mort linguistique exigée par la nature des circonstances et imposée par les événements historiques" [6, с.5].

Таким образом, дивергентность ведёт не только к самостоятельному развитию диалектов, но и, в некоторых случаях, к исчезновению, к языковой "смерти". Иными словами, двуязычие (а арумыны, исторумыны и мегленорумыны говорят почти стопроцентно на двух языках: на родном, имеющем семейный характер, и на официальном языке соответствующей южнодунайской страны) неминуемо ведёт к одноязычию, к монолингвизму, к безраздельному господству государственного языка.

* * *

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Бинарная диалектная группировка, представленная выше и разработанная нами первоначально на материале говоров русских старообрядцев юго-восточной Европы [см. 10, с. 23-24], действительна, как мы попытались доказать, и по отношению к так сказать “классическим” народным говорам двух русских наречий, а также к многим славянским и неславянским говорам Европы.

Поэтому данное сообщение можно рассматривать, как нам кажется, не только в плане славистики, но и как посильный вклад в общую диалектологию.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Petar Atanasov, *Meglenoromâna astăzi*. Editura Academiei, București, 2002.
- [2] Matilda Caragiu Marioțeanu, *Fono-morfologie aromână. Studiu de dialectologie structurală*. Editura Academiei, București, 1968.
- [3] A. I. Domašnev (Rec.), *Dialektologie zwischen Tradition und Neuansätzen*. Hrsg. von D. Stellmacher. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2000, 437 S., in “Voprosy jazykoznanija”, 2001, 4.
- [4] *Introducere în lingvistică*. Elaborată de un colectiv condus de acad. prof. Al. Graur. Ediția a III-a, revizuită și adăugită. Editura Științifică, București, 1972.
- [5] August Kovačec, *Descrierea istrorumânei actuale*. Editura Academiei, București, 1971.
- [6] Tache Papahagi, *Dicționarul dialectului aromân, general și etimologic*. Ediția a doua, augmentată. Editura Academiei, București, 1974.
- [7] A. A. Reformatskij, *Vvedenie v jazykovedenie*. Izd. četvertoe. Izd-vo “Prosvěščenie”, Moskva, 1967.
- [8] Richard Sârbu, Vasile Frățilă, *Dialectul istrorumân. Texte și glosar*. Editura Amarcord, Timișoara, 1998.
- [9] Klaus Steinke, *Die russischen Sprachinseln in Bulgarien*. Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1990.
- [10] Victor Vascenco, Lipovenii. *Studii lingvistice*. Editura Academiei, București, 2003.

**О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПОРЕКЛУ АРХАИЧНИХ СРПСКИХ
ГОВОРА СА ПОДРУЧЈА РУМУНСКОГ БАНАТА
(“БАНАТСКО-ЦРНОГОРСКИ”, КАРАШЕВСКИ и
СВИНИЧКИ ГОВОРИ)**

Жива Милин, Михај Н. Радан

1. Истраживања српских говора са подручја румунског Баната започела су још крајем XIX и настављена су током XX века, нарочито у његовој другој половини. Међутим, нису сви српски говори у подједнакој мери били испитани¹. Највећа је пажња поклоњана архаичнијим говорима, у првом реду *говорима Каашевака*, потом *свиничком* и говору тзв. »Банатске Црне Горе«.

Стручњак који помно прати и познаје до сада објављене радове о овим говорима уочиће без тешкоћа да у њима постоје бројне заједничке црте, а те су црте већином архаичне, као и неке заједничке иновације. Полазећи од те констатације, аутори ове студије, који иначе потичу из двеју од тих трију језичких оаза (*каашевске* и «*банатско-црногорске*»), упоредном анализом заједничких изоглоса покушавају установити у којој су мери ове три архаичне језичке енклаве у генетском сродству, као и околности, време и начин њиховог образовања.

2.1. Језичку оазу познату под именом «*Банатска Црна Гора*» сачињавају говорници четири насеља: *Петрђово Село* /ПС/², *Краљевац* /Кр/, *Станчево* /Ст/ и *Лукаревац*, смештена североисточно од Темишвара, у бреговитом пределу између варошица Рекаша и Лугожа, у жупанији Тимиш. Према подацима пописа становништва од 07. 01. 1992., у БЦГ живело је 883. Срба (= 64,6 % од укупног становништва)³. Најстарији писани споменици о насељима БЦГ потичу из XIV-XVI века: *Петрово Село* – 1359, *Станчево* – 1456, *Лукаревац* – 1471, *Краљевац* – 1597 [Томић 1990: 488; Милин 1992: 238-239].

Испитивање говора БЦГ започело је тек у другој половини XX века⁴, које је крунисано објављивањем дијалектолошке монографије Виктора Вескуа о овом говору (у синтези) [Веску 1976], који закључује да су преци данашњих Срба у БЦГ «живели некада на територији која се налазила на јужном делу смедеревско-вршачког дијалекта и на северном делу косовско-ресавског дијалекта» [Веску 1976: 168].

2.2. *Каашевци* живе у седам насеља у југозападном делу румунског Баната (Карааш-Северинска жупанија), у подножју Семеника, недалеко од

¹ О досадашњим истраживањима српских говора у Румунији види: М. Н. Радан, *Stadiul actual al cercetării graiurilor sărbești și croate din România*, Analele Universității din Timișoara. Seria “Ştiințe filologice”, XXXII, 1994, стр. 159-196.

² У косим заградама дајемо скраћенице насеља које ћемо користити у раду.

³ Степанов Љ., *Савез Срба у Румунији*, Темишвар, 1997, стр. 186-189.

⁴ За стручну литературу говора БЦГ види: М. Н. Радан, *нав. дело*, стр. 172-174; Милин 1992: 237- 239.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Решице. Према подацима пописа становништва из 1992. године, ова специфична етно-лингвистичка енклава католичке вероисповести имала је 6.771 становник, од којих су 6.138 Каравашевака, и у овим насељима чини апсолутну већину (90, 65 %) . Њих, међутим, има и у другим насељима румунског и српског Баната, али су тамо у мањини [Радан 2000: 31, 17-22]. Први писани споменици о каравашевским насељима датирају из XIII-XIV века. 1230. и 1247. године први пут се спомиње каравашевска тврђава под именом *Castrum Crassou*, а од насеља *Karásevo /К/* (највеће насеље) 1333. године, следе потом: *Jábalch'е /J/* (1564.), *Lúpak /L/* (1598.), *Klokótic' /Kl/*, *Rávnik /P/* (1690.-1700.), *Hérmih' /H/*, *Bódnik /B/* (1723.) [Рад: 23, 27].

Од свих српских и хрватских говора у Румунији, каравашевски говори (даље КГ), а исто тако и Каравашевци као етничка оаза, највише су проучавани [Рад: 14-63]. Говори Каравашевака описани су у бројним студијама и у монографијама Емила Петровића, чувеног румунског слависте [Петровић 1935], и М. Н. Радана, једног од аутора ове студије [Рад 2000]. Данас велика већина лингвиста оправдано сматра да су Каравашевци, са етничког становишта, српског порекла и да су КГ архаични српски говори, спора има једино око тога да ли КГ припадају косовско-ресавском или тимочко-призренском дијалекту [Рад: 62].

2.3. *Свиница* се налази на левој обали Дунава, у жупанији Мехединц. Најисточније је српско насеље у Румунији, удаљено 46 км од Оршаве и 53 км од Старе Молдаве. Први пут се у документима спомиње 1443. [Томић 1984: 12]. 1992. године у Свиници је било 1.138 Срба, што значи да су представљали 70,1 % од целокупног становништва насеља⁵. *Свинички говор* (даље: СГ) описан је у монографији румунског слависте Мила Томића [Томић 1984]⁶ који, као и већина стручњака, сматра да СГ припада тимочко-лужничком дијалекту.

2.4. У вези са овим трима «језичким оазама», сматрамо за неопходно прецизирати следеће:

2.4.1. Све три говорне групе одликују се архаичним и, у много чему, само њима специфичним цртама;

2.4.2. Код припадника ових трију енклава присутно је колебање при етничком опредељивању, које се вероватно темељи на сазнању ових говорника да говоре неким посебним и различитим идиомом од осталих банатских Срба. Тако, на пример, банатски «Црногорци», иако се изјашњавају као Срби, ипак верују да су се њихови преци доселили у ове крајеве из Црне Горе, предање које није међутим поткрепљено икаквим историјским или лингвистичким чињеницама [Мил: 237].

Код Каравашевака, иако постоји предање да су им преци дошли из Старе Србије (Крушевца) или из Босне (Срби), данас ипак преовлађује уверење да су хрватског порекла једино због тога што су католичке

⁵ Степанов Љ., *цит. дело*, стр. 188.

⁶ Располажемо информацијом да је г-ђа Данијела Андреј, из Крајове (Румунија), недавно написала докторску дизертацију о СГ, у којој износи тезу да је овај говор бугарски. Нажалост, овај рад није нам био доступан.

вероисповести (што никако не мора да значи да су и у прошлости били католици) [Петрович 1935: 15, 21; Рад 2000: 28-43].

Свинчани, пак, иако се изјашњавају као Срби, нису сасвим убеђени у то, те се још увек питају: «*Што смо ми, Србље, Булгари, Македонци, Крашоваче? Нитко не врео кáко ми.*» [Том: 13].

2.4.3. Интересантна је и чињеница да Румуни и други мањинци из Баната припаднике ових трију српских енклава називају истим (мало погрдним) надимком: *cocoși, cotcoreți, corcoveți* „петлови” (<рум. *cocós*; *a cotcorozí, a cotcodáci* „петао; коткодакати”) [Петр: 1; Рад: 29; Симу 1939: 5]⁷.

2.4.4. Иако су Каравајевци данас католици, бројни њихови обичаји сведоче о томе да су они у прошлости били православне вере (као што неки најновије откривени документи из Ватикана то потврђују)[Рад: 35-42]. Један од индикативних обичаја у том смислу јесте празновање кућне славе, коју Каравајевци називају слáвење, односно светиљ или свётац (*свётъц*)⁸ /уп. *свётъц* – СГ [Том: 213], *свётац* - БЦГ [Мил]/. Овде треба још напоменути да се из различних извора зна да су Каравајевци у XVII веку држали стари православни календар, а по неког свеца још и данас празнују по том календару.

3. За упоредну анализу говора ових трију језичких оаза користићемо, претежно, дијалекатску грађу из следећих објављених радова: Петрович 1935, Радан 2000 (за КГ), Веску 1976 (за БЦГ), Томић 1984 (за СГ) и Ердељановић 1925 (за све говоре), али и грађу коју смо сами прикупили (у том случају, иза одговарајућег облика стојаће у загради име једног од двојице аутора ове студије: Рад 1; Мил).

Пошто у овом раду желимо, поред зацртаног задатка утврђивања заједничких изоглоса ових говора, одредити и елементе језичке структуре који карактеришу дијалекатски тип сваке анализиране језичке ”оазе”, извршили смо поређење тих података са подацима из других радова који се односе на косовско-ресавски, тимочко-призренски и шумадијско-војвођански дијалекат, са циљем да се утврде најсроднији говори за сваку од ових трију лингвистичких оаза.

3.1. АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ

3.1.1. Акценатски систем говора БЦГ састоји се из два силазна акцента (^, "), а код старијих говорника јавља се факултативно и дугоузлазни акценат ('). Углавном, место акцента је старије штокавско, или је пренесено на претходни слог. Вокални квантитет неакцентованих протонских или посттонских слогова данас не постоји [Вес: 124]. Примери: *дивбјка, пешкјр, бежјим, овâ, сикјра, дивљи* “дивљи”, *сам вѣдѣу/вѣдѣо, старѣу/старїји, жигерїца, дѣбра, сѣстра, пїсат, глѣва*. Под утицајем

⁷ Види и Tomici M., „*Unitatea*” *graiurilor carașovene*, Studii de limbă, literatură și folclor, II, Reșița, 1971, стр. 160; за БЦГ о овом њиховом надимку потврдили су нам сами мештани ових насеља.

⁸ Види Радан Н. М., *Значај славе и још неких прослава са култним обележјем за одређивање етничког бића Каравајевака*, Етно-културолошки ЗБОРНИК, књ. IV, Српљиг, 1998, стр. 105-110.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

других језика, превасходно румунског, квантитет у неакцентованим слоговима је нестао, али губљење квантитета није (још) довело до промене или чак губљења квалитета акцента, као што је то случај у КГ и СГ.

3.1.2. Говори Каравајка и Свиничана, такође под снажним и дуготрајним утицајем румунског језика, изгубили су не само интонације, већ и квантитативне опозиције. Акценат ових говора јесте данас *динамичан* и *експираторан*. У КГ место акцента јесте, углавном, старо штокавско, са доста великим бројем случајева преношења са крајњег слога. Иста је, од прилике, ситуација и у СГ, само што је овде мањи број случајева преношења акцента са старог места или постоје речи које су двојако акцентоване [Петр: 35; Том: 15-16]: *дéв^фка/дéв^фка, дивóјка, пешкíр, бижýм/бëжýм, овá, сикýра, дивíји, глáва, сéстра, сам вéдел, дóбра, старéји* (КГ); *дéвка/дéука/дéвка, пешкíр, бежáт, овá, сикýра, дивjú/дивъjí, главá, сестrá, вíдеть, дóбро* (СГ) [Том: 116–243 passim]).

Е. Петровић је исправно закључио да су све до недавно КГ имали двоакценатски систем [Петр: 30-35], а ми сматрамо да су се реминисценције тог система до данас одржале (^"; уп.: *вíла* "пољопривредна алатка" - *вíла* "вýла (митолошко биће)"; *фáла* "захвалност" – *фáла* "хвалисање"; [Рад 1]). Изгледа да и у СГ постоје реминисценције таквог акценатског система: *овá, чинýл, óвце, брéг*⁹), које, међутим, нису потврђене у Томићевој монографији.

3.1.3. Што се тиче места акцента, СГ је најконзервативнији, КГ су мање конзервативни, док су у говору БЦГ најчешћа померања акцента.

3.1.4. Вероватно би се двоакценатски систем говора БЦГ упростио да није задњих векова дошао у интензивнији контакт са говорима придошлих Срба у Банат приликом сеоба из XVII-XVIII века. Због великог степена изолованости, КГ и СГ упростили су акценатски систем, што представља иновацију у овим говорима.

3.2. ВОКАЛИЗАМ

3.2.1. *Рефлекс старог jата (ъ)*. КГ и говор БЦГ сачували су ъ као посебнуmonoфтоншку фонему са гласовном вредношћу између *е* и *и* (= *e*), а то *e* представља један од најзначајнијих архаизама конзервисаних у овим говорима. Међутим, између КГ и говора БЦГ постоји и једна разлика у изговарању ъ. Наиме, док се у говору БЦГ ъ изговара скоро увек као *e*, како у акцентованом (*грéj*¹⁰ "грех", *jém*, *црёшиња*, *дёца*, *орéj* "орах", *орёси*), тако и у неакцентованом слогу (*бëжйи*, *цёжáрка* "цедиља", *чёвëк*, *вëдёу*) (али и: *понíки*, *николíко*, *йсприid*, *свиќíйца*) [Вес: 145, 128; Мил], у КГ неакцентовано кратко ъ обично (али не увек) изједначено је са *и*¹¹; уп.: *грéj*, *jém, черёшиња, дёца, орёси* – *бижýм, бижáње, цидýло, члóвик* (али: *óре /Л/*,

⁹ Види Berici B., *Accentul în graiurile sârbești din Clisura*, Romanoslavica, VII, Dialectologie, București, 1963, стр. 204 – 206.

¹⁰ У Вескуовом и Петровичевом раду свуда налазимо ѿ за *j*. У овом раду користићемо само знак *j* (ради лакшег редактирања).

¹¹ У овом погледу КГ се слаже са галипольским говором, а говор БЦГ са говором Рекаша [Ивић 2001: 278].

*jедӯ, смјé се, свездом /И јд./, донéкла) [Петр: 64-79; Ивић 2001: 278; Рад: 71-80; Вес: 127-129]. Свему овоме треба додати да, за разлику од КГ, у говору БЦГ веома ретко се сусреће неакцентовано *e*, као и то да постоји тенденција изједначавања *e* са *e* (т.ј., има говорника у БЦГ који више не разликују *e* /<ъ/ од *e*) [Вес: 127-128].*

Имајући у виду велике сличности између КГ и СГ, изненађује одсуство ове изоглосе у СГ. Иако данас *e* не постоји у вокалском систему СГ, очувани су до данас поједини облици речи, иначе истоветни као у КГ и БЦГ, у којима је могуће претпоставити да је некада било *e* /<ъ/, али је, највероватније, у процесу мешања аутохтоног, старог становништва са досељеницима који овај глас нису имали у свом фонолошком систему, изједначено са *e*: *орé, опрёси; прόсेम, просети* “ватра” (уп.: *прósит, прósёт, прósвет* (јд.); *просёти, прósити* (мн.) – КГ), *нέс^м* “нисам” (*нёсам* - КГ) [Рад: 74, 68, 77; Том: 186, 204, 93]. Посебно су упадљиви облици у којима је неакцентовано *ъ*, као у КГ, замењено са *и*: *завíжат* “завезати”, *премíшћат* “премешћати”, *поникý* “понеки”, *николíко* “неколико”, *свíћка* (дем.< *свéћа, свећá*) [Том: 137, 142, 201, 197, 179]; уп.: *завíже/совíже, примишћје, прýмина, поникý, нёколíко/ николíко, свéћка* (КГ) [Рад: 67, 76; Рад 1]. Дакако, овде улази и категорија такозваних “икавизама”, присутни у сва три говора: *дивóјка, привáрила, гријóта, дíй* “где” (БЦГ); *дéв^фка/дивíчка, привáрим, гријóта, сикíра* (КГ); *сикíра, гривотá* “грехота”, *дíй, привíјат* “превијати” [Вес: 128-129; Петр: 66, 40 / Рад: 80, 75; Том: 215, 133, 137, 202].

3.2.2. *Вокал ə*. Уочљива је тенденција затварања овог вокала при изговору као и алтернација *ə* : *у* у сва три говора.

У говору БЦГ констатовано је да се *ə* изговара затвореније него у другим штокавским говорима, а понекад се изговара као *у*: *гусподин, никулíко* “неколико”, *кучíја, дубрà*. У КГ примећена је једва видна тенденција дифтогизације акцентованога *ə* (*^o, o^u: к^уоњ, п^уођ’ем*), а у неакцентованом слогу постоји тенденција (јача у Кл, Л, В, Н, Р) преласка *ə* у *у* (*кушúља, к^уопрíва/купрíва, копíна /к^уопíна/, купíна, го^урý/зурý, ужéдним, фрунт* “фронт; фасада /зграде/”). Алтернација *ə* : *у* честа је појава и у СГ: *фрунт/фрунт, калóн/калúн, копíна/купíна, погáч’а/пугáч’а* [Вес: 126; Рад: 68-70; Том: 29].

3.2.3. *Рефлекси полугласника*

У говору БЦГ рефлекс полугласника *ь /ə/* (< *ъ, ь*) јесте као у већини штокавских говора и у књижевном језику: *ь>a*. Овде би само споменули очувано *a<ъ* у Ном јд. и мн. им. “мртвац”: *мртáвац -мртáфци*, облик који *постоји* само у неким говорима југо-источне Србије и у КГ (*мртáвац/м^вртáвац - мртáвци* - КГ) [Вес: 130; Мил; Петр: 90; Рад: 84, 88-89, 109]. Полугласник смо ипак забележили у лексеми *дъмп* “узвишица, брежуљак” (уп. *дамп /К/, демп /Р/, дъмп /оКГ/* [Рад: 92], *дъмп* (СГ) [Том: 135]), али је то позајмљеница из рум. *dâmb* /< мађ. *domb*/, исто као и у речима *въруљ/ва^брûцкл, верûјка, въ”руль* “братић; сестрица” [Мил] (< ркм. *văr(ul), vărút(ul), verišóară, vărúică*); кп. к КГ: *вáрул, вéрул /върұң(ул), верұң(ул), верұңа/*; [Рад: 93]; *върул* (СГ) [Том: 126]).

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

К КГ имамо три ситкације: а) прасловенски $*\v{e}$, $*\v{e} > \v{e}$ у говорима Кл, Л, Н, В (*мéгла, дън, зéлва*); б) у говорима К и Ј $*\v{e}$, $*\v{e} > a$: *máglā, dan, zálva*; в) у говору Р $*\v{e}$, $*\v{e} > e$: *méglā, den, zélva*. Треба нагласити да у свим КГ има и облика са варијантама ($*\v{e}$, $*\v{e} > a^b$, a^a , a^e) [Рад: 81-94].

У СГ сачуван је полугласник \v{e} /ə/ (уз бројне варијанте: a^b , a^a , e^b , e^e): *mésha, myglá, dýn, zélva*; ређе $\v{e} > a$: *lákam, maglá*, чак и $\v{e} > e$ (ретко): *cet /i cym/ “саће”* [Том: 20-22, 155, 164, 168, 213].

Неке карашевске и свиничке облике са $\v{e} > i$ можемо сматрати лексикализованим: *опýнак – опýнци* (КГ, СГ), *бизóвина* (Р) “зова” [Рад: 84, 90; Том : 186].

У КГ и СГ, у лексеми *дно* није сачуван полугласник или *a* (< \v{e}), док у говору БЦГ имамо облик *đáno* (*a < \v{e}*) [Вес: 130].

Констатујемо, у закључку, да су неки КГ и СГ сачували полуводак (\v{e}) настао од јерова у јаком положају, тј. да се ова два говора налазе у прелазној фази замене \v{e} са *a* или *e* (као што је случај са неким призренско-тимочким и зетско-сјеничким говорима), док је тај процес већ извршен у говору БЦГ и у говорима Карашева и Јабалча.

3.2.4. Слоговно *ɿ*

Слоговно *l* дало је у говору БЦГ *u*, као у већини штокавских говора, док је у КГ и СГ *ɿ* сачувано, што представља још једну архаичну црту фонетизма ових двају говора.

Проблематика вокалнога *l* у КГ јесте сложена, а та се сложеност огледа у разним варијантама његовог изговора: *ɿ*, $^{\circ}\!ɿ$, $\v{e}\!ɿ$, као и његову девокализацију - *yl*. Тако, у говору К примећене су велике осцилације у изговору *ɿ*, те ту имамо варијанте, често једне те исте речи, са *ɿ*, односно *l* (веома ретко и *yl*), док у оКГ обично се *ɿ* изговара $^{\circ}\!ɿ$, $\v{e}\!ɿ$, *yl*, а ретко *ɿ*: *stm'ž̥naɿ* (КГ), *st̥j̥naɿ* (К, Р), *st̥l̥naɿ* (Л, Кл, Н, В, Ј) ”стуб”, *b̥l̥va* (К), *b̥ž̥va* (КГ), *ð̥l̥bok* (К), *ð̥l̥bok* (оКГ) ”дубок” (уп.: *diibok* - БЦГ) [Рад: 99-101; Петр: 84-89; Вес: 126].

У СГ је такође конзервисано слоговно *l*, али се оно често девокализује (*ɿ > al*, *yl*): *b̥l̥va*, *ð̥l̥g/ð̥l̥ga/ð̥l̥g/* “дуг”, *ð̥l̥jsan*, *ð̥l̥jsna* “дужан”, *ð̥l̥bok/ð̥l̥bók*, а понекад *ɿ > el*: *ž̥elna* “жуна” [Том: 120, 135, 137, 141].

Веома су занимљиве подударности у КГ и СГ у погледу неких специфичности у развоју *ɿ*: а) у неколико случајева, у коренима појединих речи, *ɿ > u*: *Búgar*, *Búgarska/Bulgrárija*, *ðújsan* (КГ) /*dújsan* (К) /*dýjsan* (оКГ), *ðújsník/ðl̥jsník* (К) /*ð̥l̥jsník* (КГ), *Dugaliya*, *Dýgalitši* (надимак - К); *Búgar/Bulgrár¹²*, *ðújsiná/ ðl̥jsiná* [Рад: 82, 101, 107; Том: 125,135]; б) тенденција замене *ɿ* са *yl* / *al* или *el* (ол), *le/* (девокализација *ɿ*) у неким речима: *jábalka/jábałka*, *jábъłka*, *jábъlka/*, *Jábalch'e*, *obléchem* “обучем” (уп.: *собльчувам* [Собольев 1995: 198]); *jábъlka* /*jábolka*, *jábulka/*, *obлеч'ít* [Рад: 269; Том : 149], а такав специфичан развој у речи *jabuka* и у облицима

¹² Највероватније су облици *Bulgrárija* (КГ) и *Bulgár* (СГ) настали под утицајем румунског језика, поготово што је место акцента у овим речима исто као у румунском (уп. рум. *Bulgária, bulgár*).

глагола *обући* (*ce*) налазимо и у другим архаичним српским говорима – *Ново Село* (Бугарска), *Вратарница* [Собольев 1995: 189]. Интересантан је, такође, облик *сънице* у КГ (са варијантама: *съднице*, *сълнце*, *слънце*; уп.: *санч'агл'ед*, *сънч'оглед...* у СГ и у говору *Новог Села*) [Том: 25; Собольев 1995: 189].

3.2.5. Слоговно *p*

У сва три говора *вокално p* се чува. У говорима БЦГ и КГ уочена је иста тенденција развијања претезе испред почетног *p* у ублику редуцираног вокала са нијансом полугласника (^); уп: *рђав*, *рђа* (БЦГ); *р'штаљка*¹³, *рђав(ф)*/ *рђаво*, *ркът'е*, *рска*, *ршиница* “млин” (< рум. *râșniță*) (КГ) [Вес: 130; Петр: 90, 130 / Рад: 145]. У СГ, међутим, испред почетног *p* најчешће се развија пун вокал *a* или *e*, тако да се *p* девокализује: *арђаво/рђаво*, *ырђ'я*, *ышиница*, *ыржет* “рзати” (СГ) [Том: 117-118].

Међутим, у говору БЦГ уочена је и јака тенденција претварања консонантског *p* у *p*: *срдина* “средина”/*срдёна* “средина (хлеба)”, *врт* ёно “вретено”, *грнїца* “граница”, а у КГ и СГ овај је процес нешто слабије заступљен: *брдáвица* (К) “брадавица”, *вртёно/в'ртёно* (Р), *остржéт/остружéт*, *крокóра/кокóр* (< рум. *cocóر* “ждрал”), *крлýг/ крльéг*¹⁴ (< *cárlich* “кука”) [Вес: 130; Рад: 112; Том: 187, 157, 161].

За разлику од говора БЦГ, у КГ испољава се доста јака тенденција комплетне консонантације *p*: *дрéво* “дрво”, *ч'ерéво* “црево”, *кремéль* “кремљ”, *раптина* “хрптина”, док се у СГ овај процес јавља само у групи *ч'р>ч'ръ*: *ч'рв/ч'rb* “црв”, *ч'ртало/ч'ртало* “цртало”, *ч'рн/ч'rn* “црн” (уп. и *ч'иревó/ч'ревó*) [Рад: 111, 161; Том: 236]. Девокализацију *p*, истина, веома ретко, сусрећемо и у говору БЦГ: *сарченíца* “дуже дрво које спаја трапове колске” (< *срце*) [Вес: 130].

3.2.6. Рефлекси прасловенских назала **q*, **ɛ*

3.2.6.1. У свим говорима, рефлекс прасловенског назала задњег реда **q* редовно јесте *ъ*, како у коренској морфеми, тако и у флексијама: *нът*, *гъска*, *трéседу*, *йдеду* (БЦГ); *пут*, *гъска*, *йду*, *пекý* (КГ, СГ) [Вес: 126; Рад: 67, 192; Том: 101, 134, 206]. Изузетак чини лексема *копíна* /*к'опíна*, *ко'пíна/* у КГ, односно *копёна* у БЦГ [Рад: 70, 124, 214; Вес: 131] (уп.: *копин'е* – Ново Село [Собольев 1995: 187]). Посебан развитак бележимо, такође, у **qгль > ўглен* /мн. углење/ (КГ) “угаљ”, *оглéн* /мн. оглење/ (СГ), *ঁгълен* /мн. углëве/ (БЦГ) “угарак” [Рад: 136, 192, 214; Том: 183; Мил 1]. Слични или идентични облици ове лексеме забележени су и у другим југоисточним и јужним српским говорима: *ўглен* [Белић 1905: 220; Ивић 1994: 116], *ঁгълен* [Г. Елезовић, *Речник косовско-метохиског дијалекта*, II, Београд, 1935: 379].

3.2.6.2. Прасловенски вокал предњег реда **ɛ*, по правилу, у свим говорима даје *e*: *десёт*, *мёсо* (БЦГ), *кнес* /мн. *кнезёве*/ (КГ), *кнез* (СГ), *жéй* (КГ), *жeђ* (СГ), *јéзик* (КГ), *језíк/изíк* (СГ) [Вес: 126; Рад: 67; Том: 141, 150, 156]. Само у неколико случајева *e>a /e, ь/* (= архаичан рефлекс **ɛ*, иначе

¹³ Након губљења почетног етимолошког *x*, испред *p* развија се протетични вокал ^b.

¹⁴ Група *âr* из румунских речи позајмљених у КГ и СГ често се претвара у *p* [Рад: 111].

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

очуван у неколико лексема и у другим српским и хрватским говорима, уп.: *жалац*, *жаока*, *књаз* [Рад: 67]): *зјаџ* (К, Ј), *зјајец* (Р, Н, К), *жјалце* (КГ), *зјаџ/зјајц*, *зјејц* (СГ) [Рад: 67, 119, 121; Том: 143] (уп.: *зјаџ*, *жјалка*, *жјало* у призренско-тимочким дијалектима и косовско-ресавском [Рад: 67]).

3.2.7. Сонант л на крају речи и на крају слова

Очувано крајње л (-л, -л-) јесте још један фонолошки архаизам који повезује ова три банатска говора. У КГ и СГ л на крају речи или слова конзервисано је у потпуности: *нётал* (КГ), *сол*, *дебёл*, *кадёлница*, *кал* “блато”, *си орал* (КГ, СГ), *нётъл*, *си орал* (СГ) [Рад: 84, 134; Том: 192, 218, 101, 136, 152].

Ситуација је нешто компликованија у говору БЦГ, где је процес промене л (-л-) у л у прелазној фази, тако да данас разликујемо три момента тога процеса: а) конзервисано л (-л-): *вôл* “во”, *цôл* “цео”, *је метôл*, *âнђел*, *сôл* (али: *нêто*, *кабâч* - Кр); међутим, л на крају слова чува се у свим облицима: *белчûг*, *сёлски*, *дёлњи*, *кадилница*; б) -л>-չ: *сам чûч*, *је пâչ*, *котâչ*; в) -л>-о: *је кâзо*, *је дао*, *нêпо*, *сô* итд. [Вес: 133-134]. Треба напоменути да су све три фазе процеса присутне само у Кр (-л / -л-; -չ; -о), док се у ПС и Ст очувано крајње -л само још случајно јавља. Осим тога, треба нагласити да се -л вокализује (-л>-о) само онда када крајњи слог није под акцентом, иначе је свуда то крајње -о резултат контракције вокала; у супротном, -л>-չ (o) или се задржава (-л) [Вес: 133].

3.3. КОНСОНАНТИЗАМ

3.3.1. Групе *чр-, *չր-

У говору БЦГ иницијалне групе *чр- и *չր- редовно прелазе у *чр-* (*чрёшиња*, *чрёво*) и *չր-* (*չրն*, *չրվ*) [Вес: 127, 130, 144]

КГ и СГ конзервисали су и овај фонолошки архаизам, убрајајући се тако међу ретке штокавске говоре које су очувале ове старе гласовне групе (као и црногорски зетско-сјенички говори) [Ивић 2001: 222]. Група *չր- углавном је очувана у ова два говора, али је приметљива доста јака тенденција девокализације *թ* уметањем једног вокала унутар групе (*ь*, *е*): *ч'рпëм* (К, Р), *ч'рпëм* (оКГ) “црпсти”, *ч'рн* (Л, Ј), *ч'рн* (оКГ), *ч'ервëн*, (КГ); *ч'рпëт* “штипати”, *ч'рн/ч'рн*, *ч'ртalo/ч'ртalo*, *ч'ервëн/չրվen* (СГ) [Рад: 160-161; Том: 236-238].

Група *чр- разбија се уметањем неког вокала у оба говора (*e* у КГ, *e*, *и* у СГ): *ч'ерёво*, *ч'ерёшиња* (КГ), *ч'еревó/ч'ревó*, *ч'ирёшиња/ հիրéшиња* (СГ) [Рад: 161; Том: 237].

3.3.2. Рефлекси прасловенских група *tj (*kt), *dj

У БЦГ ове су сугласничке групе дале *ହ* и *ଜ*: *сфêହା*, *ଚାହା*, *ନୋହ*, *ମୁହିନ*. Изузетак чине облици *мед* (*измèд*), *мед'* (*измèд'*) који су у паралелној употреби са облицима *међу*, *између* [Вес: 134].

И у КГ и СГ се доследно бележи прелаз ових прасл. група у *ହ*, *ଜ*, али је њихов изговор - *ଲ୍*, *ଳ୍* (уз могуће фонетске варијанте *ର୍*, *ଦ୍*, *କ୍*) мекши но у књижевном језику: *свéହା*, *ନୋହ*, *ମୋହି*, *ମେହା*, *ବରାହବା* [Рад: 156-158; Том: 35-37]. У оба говора уочена је тенденција замене тврдих африката *ч'* и *ш'* са њиховим меким паровима *ହ* и *ଜ*: *ନେହ୍ୟରକା/ ուହ୍ୟରକା*, *ଚାହା* “чађ”, *ଅପାହିକ*

(КГ), *ћелáр/ч'елáр, ү'en/ћen, сáђа, пећúрка, ћесм/ч'есм* (СГ), мада је и обрнут процес могућ (*ћ, ћ>ч', ү*): *коч'ин(к)а* “кост, кошница”, *ч'ули* “ћулити”, *сíрч'e* [Рад: 159]. За СГ Томић тврди да процес *ћ, ћ>ч', ү* није могућ, но, изгледа и овде га има (види: *коч'ина*) [Том: 35, 160].

У КГ примећује се код млађих генерација и најновија тенденција изговарања како меких, тако и тврдих карашевских африката као у књижевном језику, као резултат свестраног утицаја из задњих година српског/хрватског књижевног језика или пак директног контакта.

Овде треба напоменути још и то да је В. Веску приликом дијалектолошких анкета вршених у селима БЦГ приметио нешто мање тврди изговор *ћ, ч* и *ү*, те их је на почетку анкете и бележио *ћ, ч', ү'*; али је касније од тога одустао, јер је “тај мекши изговор једва приметљив”, а и да не би компликовао “систем фонетске транскрипције” [Вес: 135]. У тачност Вескуове констатације и сами смо се уверили приликом наших мини-анкета спроведених у БЦГ. И изговор ових африката приближава, дакле, говор БЦГ говорима Карашевака и Свиничана, у којима су и тврди и меки африкати мекши но у већини штокавских говора [Рад: 153-156; Том: 35].

3.3.3. Рефлекси старих консонантских група **stj* (**skj*) и **zdj* (**zgj*)

Рефлекс групе **stj* (**skj*) јесте у сва три говора претежно *шт:* *кљéште/кљéшће* – Кр/, *поштјéјем, крштен, огњьште, Равнýште* (БЦГ); *клéши, штýплем, огњьште, Мостýште, пиштáње* (КГ); *克莱штёве/клиштёве, штýпат, огњьште, пладнýште* (СГ) [Вес: 140, 143-145; Рад: 165-168; Том: 156, 242, 183, 194]. Међутим, у свим овим говорима имамо и лексеме са *шћ* (БЦГ), односно *шћ'* (КГ, СГ), али су такви облици (гл. им., неки гл. и трп. гл. прид.) настали дејством најновијег јотовања (подмлађеног) групе *шт:* **stj* (**skj*) > *шт+j> шћ / шћ'* [Рад: 167-168]: *намéшћен, кришћéње, кршићен, спýшћен мéшћање* (БЦГ); *намéшћам, намéшћен, пýшћам, пýшћен, кришћéн, кришћéње/ криштéње, проишћáвај, Прикршићe* (КГ); *намéстит/намéшћат, пýштит/пушћат, пушћýвам/, кришћан, кришћен, кришћáње* (СГ). Само у једној лексеми у КГ и СГ **stj>шћ:* *гýшћер /можда аналогијом према горе изнесеним примерима/* (уп.: *гýштер – БЦГ*) [Вес: 140; Рад: 166-168; Том: 176, 206, 134].

У сва три говора, у малом броју лексема које садрже сугл. гр. **zdj*, њен је рефлекс увек *жд:* *гóжће* “гвожђе” (БЦГ); *даждењák/ деждењák* “даждевњак”, *мужденик* (КГ); *мόждит* (СГ) [Вес: 134; Рад: 168-169; Том: 173]. Група *жћ* јавља се и у неким позајмљеницама из рум. језика: *дрóжћe/дрóжћe* (КГ), *дрóжћe* (Кр, Ст) [Рад: 158; Мил 1].

3.3.4. Епентетско *л*

Епентетско *л* доследно се чува у БЦГ (*зéмља/зéмња*), КГ (*зéмља*, са могућим даљем развојем > *зéмња, зéмњан, нá земњу*) и СГ (*земљá*) [Вес 162; Рад 184; Том 145].

3.3.5. Сугласник *х*

Као у већини штокавских говора, и у говору БЦГ, КГ и СГ глас *х* је, у бројним случајевима, или нестао, или је супституисан другим сугласником. Ипак, у доста је лексема *х* очуван, а у задње време почиње да консолидује

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

своју позицију под утицајем српског, хрватског и неких страних језика, нарочито румунског¹⁵ [Вес 136; Рад 142-143; Том 38]. У сва три говора, независно да ли је на почетку, у средини или на крају речи, χ се супституише другим консонантима или нестаје, мада постоје и дублети са очуваним χ. X је обично замењен са j, v (v/γ, εφ – у КГ) и ɸ (<xv): *фàла, снàја, врв, смèј, дувàн, зафаљùје* (БЦГ); *фáла, сnáја, врв/vрv^φ, смéј, дувán, зафаљýје, зафáлан* (КГ); *снáја/сна, дуван/дуан, зафаљýват фáла* (СГ) [Вес 136; Рад 142, 133, 109, 72, 198, 142; Том 218, 139, 144, 217, 231].

У КГ χ може бити замењен (ређе) и са ш, к, л: *праш, крићáнин, дркћe, оч'ул, паstúr*, а у СГ само са ш или к: *праш, дркћáт* (Рад 148-149; Том 200, 139).

У свим говорима χ може нестати у било којем положају у речи: *рâним, су тёле, стрôта, кожù/кожùв, од онù* (БЦГ); *рâна, кôжсу/ кожùј, је тел* “је хтео”, *страóта, от мој* (КГ); *рánит, кожокár* (<рум. *cojocár* “ћурчија”); *тет, од мóи* (СГ) [Вес 136; Рад 143-150; Том 207, 156, 224, 79].

Закључак који се намеће јесте да је глас χ најбоље очуван у КГ, највероватније због тога што је у односу на говор БЦГ и СГ био временски дуже изолован од других српских говора и подвргнут јачем и континураном румунском утицају, који је допринео бољем очувању ове фонеме у КГ.

3.3.6. Сонант *j* (ɥ)

J има у КГ и СГ за нујансу стабилнију позицију у односу на говор БЦГ.

У говору БЦГ *j* (ɥ) има релативно стабилну позицију само на почетку и на крају речи (*jâ, jédu, onâj, dâj*), док је унутар речи нестабилан, често се губи или је његов изговор факултативан (*најмлâд, дивôјка, старêја, твôи, дивîи*) [Вес 136].

У КГ и СГ *j* се скоро доследно чува у свим положајима у речи, с напоменом да је за нујансу боље заступљен у КГ. У оба се говора, ипак, најбоље чува на почетку и на крају речи: *râzboj* (КГ), *ja, jetrâva, loj* (КГ, СГ), *razbój* (али: *изíк/језíк*) (СГ) [Рад 131; Том 149-151, 166, 207]. На крају речи *j* се ипак губи у облицима 2 л јд. и мн. императива у оба говора [Рад 131; Том 102]. У медијалном положају, чешће у СГ но у КГ, понекад се *j* губи, нарочито ако се испред њега нађе неки палatalни консонант (*Бóжи – КГ, Бóжии - СГ*) или када се налази између два вокала (*калаýсан, нíч’и – КГ; ч’иि/ч’ија, доýт - СГ*), али се обично чува у позајмљеницама (*камијóн, авијóн – КГ, СГ*) [Рад 132-133; Том 122, 237, 138, 152, 116].

У сва три говора *j* се јавља место χ (види горе 3.3.5.) [Вес 136; Рад 133, 146; Том 38].

3.3.7. Африкат *s*

У фонолошком систему свих трију говора постоји *африкат s*, али је његово порекло и статус у говору БЦГ различито но у КГ и СГ.

Старословенски и старосрпски африкат s замењен је у говору БЦГ са з, као у већини српских говора, међутим, под појачаним утицајем рум. *бан*. говора у задња два-три века и позајмљивањем рум. речи, поново се јавља у

¹⁵ Види Milin J., *Studii de slavistică*, Editura MIRTON Timișoara, 1998, стр. 181-185.

овом говору, али само у тим позајмљеницама, не и у словенским речима: *býsa* “усна”, *sàpe/sýra* “сурутка”, *сковèрса* “лепиња”, *кукуруùs* [Вес 135; Мил].

У КГ и СГ *ȝ* је сачуван у словенским речима (у СГ, у већем броју), али га налазимо и у румунским позајмљеницама: *oséбem* “озепсти”, *svónaç*, *síri* “зиркати”, *svézda*, *býsa*, *sápa*, *Bysániħ'* /над./, *Séрово* /топ./ (КГ); *svóno*, *svézda/zvèzda*, *prosébat*, *cýlsa*, *sápa*, *sóľa*, *белч'ysý*, *кукуruýs* (СГ) [Рад 150-152; Том 33-34]. На фонолошком плану, овај африкат, као члан опозиције *ȝ* : *ɥ*, јесте самостални фонем у ова два говора. У СГ *ȝ* може бити замењен са *ȝ* (под утицајем српског књиж. јез.) или *ɥ* (без промена на семантичком плану), што није случај у КГ (изузев облика *кукуruȝ* у Н јд).

Очувашају фонеме *ȝ* у КГ и СГ у знатној мери допринео интензивни и вишевековни контакт Каравајевака и Свиничана са Румунима банаћанима, у чијим говорима постоји *ȝ*. Овоме треба додати слаб и спорадичан контакт Каравајевака са српским живљем у прошлости, услед свог периферног положаја, а код Свиничана непрекидни контакт са говорницима тимочке области, говори који су такође конзервисали *ȝ* у свом фонолошком систему. Што се тиче говора БЦГ, бројни су разлози претпоставити да је фонеме *ȝ* било у прошлости у фонолошком систему овога говора, али је негде почев од XVI-XVII века дошло до интензивнијег контакта са бројчано ојачалим банатским Србима и мешања са досељеницима у чијим говорима није више било африката *ȝ*, те је он тада ишчезао из говора БЦГ.

3.3.8. Палатални *љ* и *њ*

У говорима БЦГ и КГ добро се чува опозиција између етимолошких палаталних *љ* и *њ* и њихових тврдих парова *đ* и *ń*, с напоменом да су КГ очували неколико архаичних облика у којима се *đ* није палатализовано у *љ* (гли́ва, сли́ва, луѓе) и још неке особености [Вес 138-146; Рад 136-138].

У СГ постоји јака тенденција зближавања меких сонаната *љ* и *њ* са њиховим тврдим паровима *đ* и *ń*: *кошúљa* – *кошúl'a*, *књýga* – *кн'ýga*, као и замена *đ* са *љ* и *ń* са *њ*: *сол* – *сољ*, *кóшица* – *кóшињица* [Том 37].

3.3.9. Консонант *ɸ*

У фонолошком инвентару свих трију говора присутна је фонема *ɸ*, али није нарочито стабилна. Сугласник *ɸ* се најчешће јавља у лексемама позајмљеним из других језика, нарочито из румунског и немачког, затим у речима ономатопејског порекла, као и у онима у којима *ɸ<x>*: *nò фта* “апетит” (<рум. *róftă*), *cðfrra* (<тур. *sofra*), *флўра* (метатезом од *фрула* или <рум. *flíier*), *фиранѓа* “завеса” (< нем. дијал. *Fürhang*, књиж. *Vorhang*), *фришко* “брзо”, *уфѓатим* “ухватити” (али: *вандрокáш/вандриકат* “скитница, скитати”) [Вес 135; Мил]; *тýфа* “жбуна” (<рум. *týfă*), *фиранѓа*, *фришко*, *фљас*, *фруштуку* “доручак” (<нем. *Früstück*), *фељéна* “кума” (<рум. *fină*), *сóфра*, *фýснем* “ударим” (КГ), *флўра*, *фáла* (КГ, СГ), *фруштуќ*, *фркáт*, *фљос*, *фéнер*, *шеф* (СГ) [Рад 137, 139-140; Том 37-38, 230, 232].

У КГ *ɸ* језаступљен у топонимији (*Фáца, Фркóвац/Фрњкóвац*) и ономастици (*Филипóња*, *Фráнч'ић*, *Фíлка*, *Фíлин*). У неколико позајмљеница *ɸ* је замењено са *p* (*потогráф* “фотографија”, *пасуњ*,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Степан, бискуп) или *в* (ређе) (кáвес, вандрокáши/фандрокáши). Уочена је и делимична афонизација крајњег *в* : *в^ф* (*ћóрав^ф, крв^ф/к^врв^ф*), а у неким облицима крајње *в* (*в^ф*) добијено је од *х* (*вре^ф, плв^ф* “пух, пув”) [Рад 140-142].

У сва три говора група *хв>ф*: *фàла, уфàтим* (БЦГ); *фáла/фàлà, зафáлим, фаљíв^ф/фаљíвац* “хвалиша” (КГ); *фáла, фаљíвац, уфàтим* (СГ), а у КГ *хв* даје и *в: вáћем, увáтим* “хватати, ухватити” [Рад 142; Том 230-231].

3.3.10. Консонант *в*

Ова три говора повезује и једна особеност која се тиче изговора *в*, који може бити или уобичајени сонант (фрикативно усненозубни сугласник), или прелазни глас са лабијалним карактером (*w, в/ψ/, ψ*).

У БЦГ лабијално *в* (*w*) јавља се на крају речи: *ћёлаш/ћёлаф, сýw, нðw/нðф*. Највероватније је узрок тој лабавој артикулацији губљење *в* (*w*) у неким облицима као *напрàцм, здрàо/здрач, забрàцла* (уп. исту појаву у говору Галипольских Срба [Ивић 1994: 137]). Испред беззвучних сугласника *в* обично прелази у свој беззвучни парњак *ф: нòфци, сфèци* [Вес 137].

У КГ и у СГ лабијално *w, в^(y), ψ* може стојати и унутар речи, али само на крају слова: *дéв^(y)ка, бирóв^(y)* “радни сто; канцеларија” (<рум. *birou*), *проишћáв^(y)ај* (КГ); *дéвка/дéвка/дéчка, ћóрач/ћóрав, ћóсач, став/стач/стaw* (СГ) [Рад 128; Том 40, 228]. Лабијално *в^(y)* у КГ понекад потиче од међувокалног *х* (*Дýв^(y)ове, глýв^(y)а*) или од вокалног *у* који постаје полувокал (*jáv^(y)ка, ч'áчка*) [Рад 128].

Секундарно *в* јавља се у речи *вавлија* (БЦГ), *вавлија* (Р, КЛ)/*въвлија/óбор* (К, Н, Ј) / (у СГ: *авлија/обóр*) [Вес 132; Рад 129; Том 116].

3.3.11. Консонантске групе

Неке к. гр., било да су у овим говорима конзервисане, било да су имале исту еволуцију као у осталим српским говорима, налазимо у сва три говора или у два од трију говора.

3.3.11.1. Консонантске групе заједничке свим говорима:

К. гр. *др-* добро је очувана у КГ и делимично у говору БЦГ и СГ: *длéто* (КГ) [Рад 177]¹⁶, *длемó/глемó* (СГ-137), *длéто/глēто* (ПС) /пýјук (Кр) (БЦГ-140); *гн->гњ-: гњéздо* (КГ-176), *гњездó/гњезó* (СГ-131), *гњíздо* (БЦГ-128); *зр->здр-: здрáка, здрéл* (КГ-178), *здра́ка, здрéл* (СГ-145), *здра́ка, здрéла* (БЦГ-137); *мн->-мл-: млóго /али: тámно, тамníца/* (КГ-177), *млóго /али: тымníца/* (СГ-50), *млóго* (БЦГ-137); *хв->ф-: види 3.3.9.; хл->л-: лáдно, ладíна “сенка”* (КГ-175), *лáдно* (СГ-49), *лèбац* (БЦГ-126); *хр->p-: ráпав^(ф)* (КГ-175), *ráпач* (СГ-207), *рáним* (БЦГ-145) (види и 3.3.5); *хт->t-: види облике гл. хтети* (3.3.5.); *-дн->-м-: óма* (КГ-182, СГ-49), *ома/одма* (БЦГ-142); *-дн->-н-: планýјемо, поглénем /али: оглáдним/* (КГ-182), *изглáнит* (СГ-49), *сéни /али: пòдне/* (БЦГ-127-146); *-мљ->-мњ-: зéмња(n)/зéмља, грмњáва* (КГ-184), *грмњáва /али: зéмља/* (СГ-133,145), *зéмња/зéмља* (БЦГ-137); *-сç-*

¹⁶ Ради економичности простора, у наставку ћемо за дате примере означити само говор из којег су узети и страницу из већ наведених радова (за КГ – Рад, БЦГ – Вес, СГ - Том), напр.: КГ – 177, уз напомену да ћемо дати и неке примере које су забележили аутори овог рада, а који још нису били објављени.

>-*ц*-: *прáци* (КГ-186; СГ-200), *прàци* (БЦГ-137); -*тн->-н-*: *мéтем /мéтнем/* (КГ-188), *мéте* (СГ-171), *мётем, мётут* (БЦГ-137); -*тс-/дс-/>-ц-*: *поцíрен* “подсирен”, *оцéч’ен* (КГ-188), *поцíрен* (СГ-200), *брàцки, грàцки* (БЦГ-135); -*иц->-ц’-*: *круч’ица* (КГ) и др.

3.3.11.2. Заједничке консонантске групе у БЦГ говору и КГ:

гð->ð-: *дë/ðй, нїде* (БЦГ-137), *дë* (али *нýди*), *дúња* (КГ-175); -*чт->-шт-*: *поштујем* (БЦГ-143), *поштéн* (КГ-182); -*иц->-ц-*: *гўче* (БЦГ-137), *гўч’ићи* (КГ-182). Споменућемо овде и гласовне алтернације з->ж- (жемíч’ка: КГ-180; жемíчка: БЦГ-Мил) и *и->ж-* (*жигéрица - ч”р на ~јетра*, *бéла ~ “плућа*: КГ-178; *жигерѝце - бéле ~, црне ~*: БсЦГ-Мил).

3.3.11.3. Заједничке консонантске групе у говору БЦГ и СГ:

гð->ð-: *гуња* (БЦГ-137), *ге* (СГ-49); *ч’л->ч’о-*: *ч’ðвек* (БЦГ-135), *ч’овéк/ч’овéк* (СГ-238) (уп.: *ч’лóвик - КГ-129*); -*хв->-ф-*: *уфàтим* (БЦГ-136), *уфáтим* (СГ-230); *шк->чк-*: *чкола* (БЦГ-144), *ч’кóла* (СГ-144).

3.3.11.4. Најбројније заједничке к. гр. налазимо у КГ и СГ, али ћемо овде навести само неколико, првенствено оне архаичне: *sv-*: *svéзда* (КГ-75), *svéздá* (СГ-50); *сл-*: *слýва* (КГ-181; СГ-50); *ч’р-* (види 3.3.1.); -*ст-*: *óстар / óст”р, óстьр/* (КГ-192; СГ-51); -*тк-*: *нýтко* (КГ), *свýтка* (КГ /Р/-192; СГ-57); *пр-* (<*бр-*): *прáска “брескva”* (КГ-180; СГ-51); *пт->m-*: *тихáк* (КГ-174), *тич’ка* (СГ-49), *пч->ч-*: *ч’ёла, ч’ёлка* (КГ-174), *ћéла, ћелáр/ч’елáр* (СГ-49, 237); *тк->к-*: *канíце* (КГ-175; СГ-152); *гљ->гл-*: *гли́ва* (КГ-176; СГ-131); *шк->шт-*: *штрп/шт”рп* (КГ-177), *штрб/штырб* (СГ-242); -*св->-с-*: *прóсит / прóсे�т, прóсвет/ “ватра”* (КГ-74), *прóсет* (СГ-204); -*жј->-ж-*: *бóжса* (КГ-190; СГ-49); -*шт->-ић’-*: *нишић’ол, Букурешић’е* (КГ-190; СГ-194, 124) и друге к. гр.[Рад 173-194; Том 43-56; Вес 134-146].

4.0. Износимо, у наставку, најбитније морфолошке карактеристике заједничке свим овим говорима, које их спајају и указују на њихово некадашње заједничко порекло.

4.1. Именице

4.1.1. Извесна колебања у *роду* сусрећемо у свим овим говорима, али су она најмање заступљена у КГ. Та се колебања сусрећу најчешће код им. ж.р. на сугл., које се обично прикључују им. м.р., добијајући њихову промену или, пак, постају двородне и користе се по налажењу сваког говорника: *вèлик глад*, *црвен крв* (БЦГ); *теж к”р в”ф/кървв”ф/ - та к”рвв”ф, та маст - теж маст, теж глат - та глат “глад”* (али: *та вéч’ер, та јéсен*) (КГ); *тáја крв - теж крв, тáја пóмоћ - теж пóмоћ’* (СГ) [Вес 148; Рад 141, 193; Том 57].

У КГ и СГ, неке им. ср.р. могу бити и м.р.: *то дрéво - теж дрéво, то jáре - теж jáре* (КГ); *то дрвó - теж дрвó, то jáре - теж jáре* (СГ) [Рад; Том 57]. Постоје, међутим, и друга колебања [види, нпр., Том 57-58].

Има им. које су у овим говорима ж.р. а у књиж. су јез. м.р.: *пјéжа, свýтка, тигáња, здрáка, лýша* (КГ, СГ), *пýжса* (БЦГ) [Рад 178, 100, 72; Том 57; Вес 57-58; Мил].

Ниједном од ова три говора нису познате *збирне и колективне им. на -ад*, те се место њих користе множински облици им. м.р.: *тéлци, jáганци, пýтићи* (КГ, СГ); *гўч’ићи* (КГ), *гўшићићи* (СГ); *јàганци, гучићи/гўћићи* (ПС,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Кр), *năhuihi, mēvci, ждрēпci, jārihi* (БЦГ) [Рад 134, 138, 186; Том 224, 149, 200, 134; Вес 137; Мил].

4.1.2. Заједничка је одлика ових говора тенденција ка систематизацији и упрошћавању именичке промене (најдаље је у том правцу отишао СГ, у мањој мери говор БЦГ и најмање КГ) и падежног система (СГ и БЦГ).

У СГ и БЦГ Ак јд. је преузео функције Лок јд. [Том 61; Вес 149]. У говору БЦГ Вок јд. им. м. и ж.р. има само један наставак (-*e*) [Вес 147, 149], док је у КГ присутна тенденција уопштавања једног наставка: -*e* за им. м.р. на сугл. (кόњe, вóле, ч'лóвеч'e; али и -*у* /ретко/: *Влájy*), односно -*o* за ж.р. (учитéльцио, *Вéрицо* – БЦГ; *Дáницио*, *Марíјо* – КГ, *жéно*, *бáбо* – КГ, СГ; али: *дéце* – КГ, СГ) или изједначавања Вок јд. са Ном јд. (Петр 146-147, 155; Рад; Вес 148; Том 64-65).

Тенденција уопштавања наставка *-om* у И јд. им. м.р. у БЦГ и, делимично, у СГ: *мáльом, младйhом* (БЦГ), *къýч'ом* (СГ) [Вес 147; Том 62]. У СГ и КГ чува се у И јд. и Д мн. наст. *-am* (< стсл. *-омъ, -омъ*): *кóњam, jájçam, дéтéтam, сélam* (И јд.) /коњám, дéçám, луђám, волóвам, сélam/ Д мн./ (КГ), *инáждерам, нóжъм* /Д јд./ /луђám/, *калуpóвam, rékam, сélam/* Д мн./ (СГ) [Петр 155-156; Том 62-63]. Сличне или идентичне су и неке друге тенденције изједначавања падежа у сва три говора: Г=Лок мн, Д=И мн. у БЦГ, Ном=Ак, Г=Лок /=И/ мн. им. м.р. и Лок=Д=И мн им. ж.р. у КГ, а у СГ, у множини је падежни систем упрошћен на само два облика: *Д* и *општи падеж* (једнак са Ном), који замењује све остале падеже [Вес 147-148; Петр 162, 164; Том 63].

Један заједнички архаизам спаја говор БЦГ и СГ: наст. *-e* код им. ж.р. на *-a* у Д јд.: *жéне, гýске, сéстре* (БЦГ), *мáме, дéвke* (СГ) [Вес 148; Том 61]. С друге стране, СГ и КГ поседују бројне архаичне наставке у Ном мн. им. м.р. (*-eve/-ove, -je*), у И јд (*-am, -ьm*) и у Д мн. (*-am*).

У сва три говора облици дуала нису ишчезли без трага. Њих сусрећемо у конструкцијама у којима именице претходе бројеви или односно-упитна заменица *колико*: *пет сина, колико коња, иъаду вола...*

Место именица *мати* и *кhi* у овим говорима употребљавају се: *мáма, дивójka* (БЦГ); *мáма, дéвфka/дéв^(y)ka* (КГ); *мáма/мájka, дéвka/ дeçka/дeшka* (СГ) [Вес 148; Рад 214, 128, 172; Том 169, 136].

Интересантни су и облици Ном мн. им. *дан*: *днèви* (БЦГ), *дýновe* (СГ), *дáни/дáновe, дýновe, дни* (КГ) [Вес 147; Том 135; Рад].

4.2. Члан

Из стручне литературе знало се све до недавно да је СГ једини српски говор у Румунији који има члан, забележен само код описних придева и редних бројева, а који има облике: *-jen* (м.р. јд), *-на* (ж.р. јд), *-но* (ср.р. јд), *-ни* (м. и ср.р. мн), *-ne* (ж.р. мн), и мења се: *lépiјen, лéponoga, лéponому...* [Том 67-68].

Најновија истраживања показала су да и у КГ, скоро идентично као у СГ, постоји члан, *постпозитивни*, којег налазимо једино код квалитативних придева и у неколико облика придевских зам. (и у синтагмама са бројем *један*, под утицајем модела из румунског језика). Сличну ситуацију имамо у

говору Новог Села у Бугарској [Собољев 1995: 193]. У КГ члан има двојаке облике:

4.2.1. *-(ja)h, -(ja)na, -(ja)no* (м., ж. и ср.р. јд); *-(ja)ni, -(ja)ne, -(ja)na* (м., ж. и ср.р. мн.) (<показне заменице /o/hъ, /o/na, /o/no): добрéјан, добráна, -но/добráни, -не, -на; бéлан, -на, -но/бéлани, -не, -на.

4.2.2. *-(a)v, -(a)va, -(a)vo; -(a)vi, -(a)ve, -(a)va* (<показне заменице /o/vъ, /o/ва, /o/во): болњáв, -ва, -во/болњáви, -ве, -ва (овакви су облици бројнији од првих)¹⁷.

4.2.3. По нашем мишљењу, постпозитивни члан у КГ (као и у СГ) није раније постојао, него је он развијен сопственим унутрашњим језичким средствима према моделима језика са којима су ова два говора била у контакту, пре свега румунског, можда и бугарског (у мањој мери, бар код Каравешевака), а узроци образовања ове граматичке категорије су двојаки: а) нестанак разликовних средстава за придеве одређеног и неодређеног вида, проузрокован губљењем акценатског квантитета и квалитета; б) снажан и дуготрајан утицај румунског језика.

У говору БЦГ ове иновације нема, највероватније због тога што су говорници ове области били у интензивнијем и непосреднијем контакту са групама српских досељеника који су у Банат почели стизати почев од XV века. У БЦГ смо ипак забележили облик *плав ётан* “плав”, али је један пример недовољан да се икаква претпоставка о постпозитивном члану формулише.

4.3. *Аналитички систем у поређењу придева* јесте још једна заједничка изоглоса ових трију говора. Тада је систем идентичан у сва три говора, с напоменом да у говору БЦГ, под утицајем школе, српског књижевног језика и суседних српских говора, продиру у задње време синтетички облици за компаратив и суперлатив. Иначе, треба напоменути да је аналитичка компарација придева једна од црта која карактерише тзв. *говоре са незамењеним ћ.*

4.3.1. У свим говорима компаратив се гради помоћу рече *по* и облика позитива: *полён, постàр, покràтак* (БЦГ); *постáр, повéлик, полагáно* (КГ); *помлáд, најлén* (СГ) [Вес 151; Петр 169; Том 71].

Реминесценције старог синтетичког компаратива налазимо у неколико скамењених облика: *старèи, виша, лèпча, бòља* (БЦГ); *млађ'ёji, старéju¹⁸, виše, бóльи/по дóбар, гóри/по зал* (по x^brjháv^ф, по лош), x^brjháv (КГ); [Вес 151; Петр 170; Рад]; *по старéj* (СГ).

Суперлатив се гради помоћу рече *нај* и облика позитива: *најскùn, највисòк* (БЦГ); *најбóгat, највише* (КГ), *најlén* (СГ) [Вес 151; Петр 170; Том 71].

Великих подударности или сличности има и у начину грађења тзв. компаратива једнакости: *све такó дóбар* (КГ); *све тькá дóбър* (СГ)

¹⁷ Види Радан Н. М., *Rămășițe ale întrebuiințării articolului enclitic în graiurile carașovene*, Probleme de filologie slavă (Studii, articole, prelegeri), VI, Timișoara – 1998, стр. 119-127.

¹⁸ У овим облицима имамо доследну замену ћ са е.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

[Рад; Том 71]) и *апсолутног суперлатива:јако + позитив (јако одбар* (БЦГ); *јако учён* (КГ); *јако млад* (СГ) [Вес 151; Петр 170; Том 71]) и др.

4.3.2. Друге заједничке црте придева у говору БЦГ, КГ и СГ:

- блага склоност за тврд наставак *-o* код појединих придева (обично оних са неким палаталним консонантом на крају основе): *дёте тъђо* (БЦГ); *пролѣтно съўнце, говѣђо мясо* (КГ); *говѣђог /Г јд./, ковач'ов /Г јд./* (СГ) [Вес 150; Рад; Том 72];

- често прилев долази иза именице (под утицајем рум. језика): *човек вѣлик, кѣнь сур* (БЦГ); *крава стѣлна, кѹњу доброму, коњ сур* (КГ); *вѣда студенѣ, яјца прѣсни* (СГ) [Вес 150; Петр 167; Рад; Том 71];

- стари наставак *-ому* у Д јд. м.р.: *лѫдому, велїкому* (БЦГ); *доброму, стаromu* (КГ); *свинич'кому, бабиному* (СГ) [Вес 150; Петр 167; Рад; Том 72];

- наставак *-и* у Г мн. (<стсл. *-jихъ, али се ј губи у овој позицији): *издалѣки сѣла* (БЦГ); *од нашии стари* (КГ); *пόльски, бабини* (СГ) [Вес 151; Петр 168; Том 73];

- неразликовање, у главном, придева одређеног и неодређеног вида [Вес 151; Петр 165].

4.4. Заменице

4.4.1. Заједничке црте у свим анализираним говорима:

- употреба енклитичког облика Д повратне зам. *си* (архаизам): *да си ўзмеш, су си донѣли* (БЦГ); *скаљал си (је) кошуљу, ўзели су си ствáри* (КГ); *ўзми си кошуљу, сам си прóбал... стрéћу* (СГ) [Вес 152; Петр 173; Рад; Том 78];

- наставци тврдих основа с елементом *о* зам.-прид. деклинације потискују наставке меких основа са *e*: *сîњо мòре* (БЦГ); *сво сéло, нашо дёте, говѣђо мясо* (КГ); *сво времé, синьо затвóreno “модро”* (СГ) [Мил; Рад 1; Том 213,215]

- облик односно-упитне зам. м.р. *који*: *күј* (БЦГ); *кој* (КГ); *кој /kyj* (и *који*) (СГ) [Вес 153; Петр 177; Том 78];

- редукција сугл. гр. *-кв-* код каквоћних зам.: *овака, така, онака...* (БЦГ); *оваки, овака,...; таку, така, тако* (КГ); *овакј, овака, ...; такаја, ...; онакј, онакаја,...* (СГ) [Вес 153; Рад 183, 202; Том 81];

- облици неодређених зам. са *и* место *е*: *ники “неко”, ника, нико...; никакав* (хомонимни облик за “некакав” и “никакав”), *ничији “нечији; начији”* (БЦГ); *неки /никй/, никá...; понеки /поникй/* (КГ); *ники, поники, нач’ий* (СГ) [Вес 153; Петр 178, Рад 192, 80; Том 83]¹⁹;

- истовремена употреба дугих и кратких облика личних зам. у истој реченици (редупликација), појава настала, највероватније, под утицајем

¹⁹ У КГ *и* се у овим облицима јавља место *е* због тога што неакцентовано *ѣ > i*, а то је највероватније објашњење и за говор БЦГ (што значи да је у прошлости и овде неакц. *ѣ > i*); постојање у истим облицима *и* (< *ѣ*) место *е*, иде у прилог нашој претпоставци да је некада и у СГ постојао *e < є*, али се је то *e* једног момента асимилирало у *e*, вероватно због суседства и/или утицаја српских тимочких говора и говора досељеника са којима су се Свиничани помешали у прошлости.

балканских несловенских језика: *мёне ми дац, тёбе те вйди* (БЦГ); *мёни ми дал, тёби ти срамота* (КГ); *нам ни дал, сви не вйку нас* (СГ) [Вес 157; Рад 214; Том 76].

4.4.2. Још један архаизам повезује говор БЦГ и СГ - наставак *-e* у Д јд. личних зам. 1. и 2. л.: *мёне, тёбе* (паралелно се употребљавају и апокопирани облици *мён, тёб* - Кр) (БЦГ); *мёне, тёбе* (СГ) [Вес 152, Мил; Том 75].

4.4.3. Друга архаична изоглоса спаја КГ и СГ: енклитички облик личне зам. 3. л. јд. ж.р. *jy* (<jq>): *вйдим /вёдел сам/ jy на сокаку* (КГ); *њу сам jy видёл* (СГ) [Рад; Том 76].

4.4.4. Осим горенаведеног архаизма, многе друге црте заједничке су КГ и СГ: облици показних зам. *овёj, tej, онёj* (КГ); *овёj /овёj, tej/ тъj, онёj/онёj* (СГ); наставак *-ому* у Д јд.: *овому, тόму* (КГ, СГ); облици присвојних придевских зам. за 3. л. јд. и мн. сва три рода: *њёjan, љёjna, љёjno; љёjni, љёjne, љёjna; љин, љýna* (контрахиран облик) (КГ); *њёben, љёjna, љёjno; љýna, љёjni...* (СГ), архаични облици одличне зам.: *нётко* “неко”, *нýтко* “нико” (КГ); *нитко* “неко”, *нýтко/нýко* “нико” (СГ) [Петр 176; Рад 147, 192; Том 79-80, 180] и др.

4.5. *Бројеви*

4.5.1. Следеће заједничке особине бројева налазимо у сва три говора [Вес 153; Петр 179-183; Том 85-92]:

- веома ретка промена основних бр. *два, две, три* или је системпромене редукован на два падежна облика;

- *-дн->-н-* у облицима основног бр. *један* за ж. и сп. р.: *јенà (енà), јено* (енò) (БЦГ); *јéна, јéно* (јенómu, јенój – Д, јенóga – Ак) (КГ); *јéна, јéно* (ретко: *јенómu, јенój* - Д) (СГ);

- редни број *трéhi* има за сп.р. облик са наставком *-o*: *трёho* (БЦГ); *трého* (КГ, СГ);

- непостојање (БЦГ) или врло ретка употреба појединих збирних бр. (*двóji, двóje, двója; трóji, трóje, трója* – КГ, СГ; *чётвора, пéтора* - КГ);

- генерализована употреба облика *дуала* код свих бројева (стање настало, вероватно, под утицајем румунског модела): *два ч'овёка, пéт ч'овёка* (БЦГ)[Мил]; *два ч'ловёка, пéт кóњa* (КГ); *три кóњa, пéт сýна, дéсем сéла* (СГ) [Рад; Петр 183; Том 92]; ова одлика јасно сврстава ове говоре у говоре источног и централног језичког простора Балканског полуострва.

4.5.2. Постоје и друге особине именских речи које приближавају ова три говора (види: Вес 146-153; Петр 145-183; Том 57-91).

4.6. *Глаголи*

4.6.1. У сва три говора глаголска промена испољава јаку тенденцију ка упрошћавању. Ишчезли су следећи гл. облици: *имперфекат, давно прошло време* и *глаголски прилог прошли*. Осим тога, све је ређа употреба *глаголског прилога садашњег* у сва три говора, *инфinitив* се веома ретко употребљава у СГ и још ређе у КГ, док *аориста* и *футура II* више нема у

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

говору БЦГ, а при издисају су у КГ [Вес 153-155; Петр 189-217; Рад ; Том 92-103].

Заједничка изоглоса за сва три говора јесте конструкција *футура I* енклитичким обликом помоћног гл. *хтети* и *инфинитива* глагола (веома ретко у КГ): *ћете дđи*, *ћемо веđест* (БЦГ); *ћем опат* (СГ); *ћем видети* (КГ) [Вес 154; Том 101; Петр 190]. Чешће се, међутим, у овим говорима *футур I* гради енклитичким обликом презента глагола *хтети* (БЦГ), односно помоћним глаголом *лати* /= *хтетеи* (КГ, СГ) и конструкцијом *да + презент*: *ће да дđи*, *ћу д_йдем* (БЦГ); *лам да попењам* (КГ); *ла да идем* (СГ) [Вес 154; Петр 190; Том 101].

Код поједињих глагола, у свим говорима, у 2. л. мн. *императива* имамо редуциране наставке : *јете*, *сенте*, *пите* (БЦГ); *јеђте/јетье*, *сете*, *дрште*, *беште*, *дрште* (КГ); *беште*, *дрште* (СГ)²⁰ [Вес 154; Рад 118; Петр 208].

4.6.2. У овим говорима постоји низ глагола који својим значењем или/и обликом не налазимо у већини српских или хрватских говора, што може бити још један показатељ о давном заједничком пореклу ових говора: *заблудит* “залутати”, *задёнут* “окачити”, *купљат се* (*се купљам*), *јавкат се* “жалити се”, *мити* (*мјем* *глјаву*) “прати”, *ч’енити* (*ч’еним* – 1. л. презента), *стрјжем* “шишати (гл. *шишати* не постоји)”, *цукнут* “пољубити (гл. “пољубити” не постоји)”, *пословат* (*послјем*) “радити”, *купљват* и др. (БЦГ); *заблудим*, *задёнем*, *се купљам/се купљем*, *се јавфкам*, *мијем* (*мараму*, *тањири*) /*се/*, *стрјжем*, *цукнем*, *ч’ним*, *послјем*, *купувала сам* /*купувала сам* (КГ); *заблудит*, *задёнут*, *купљат се* (*се купљем*), *мит* (*се мјем по главе*), *купуват* (*купјем*), *стрижат/ стрјигат*, *цукнут*, *ч’инут* (СГ) и други [Вес 155; Мил; Рад; Том 142,143, 163, 221, 236, 237].

4.6.3. У говорима БЦГ и Каравелака постоје следеће заједничке црте:

- конструкција *одричног* облика *императива* помоћу партикуле *нёка(j)* (понекад у БЦГ), односно *нёка* (КГ): *нёкај пословат* “немој радити”, *нёка* *гледит* (БЦГ); *нёка да послујеш* /*радиш*/, *нёка да гледиш* (КГ) [Вес 154; Рад].

- основа глагола *видети* иста је у говору БЦГ и КГ: *веđест* (БЦГ), *вёдел* (*смо вёдели*) (КГ) [Вес 155; Рад 76, 78].

4.6.4. Заједничке особине говора БЦГ и СГ:

- у 3. л. мн. през. сви глаголи имају наставак *-у* (у БЦГ и *-ду*): *йдејду/йду*, *ваду*, *послужеду* (БЦГ); *йду*, *носу*, *држу* (Вес 153; Том 97);

- код неких гл. наставак *инфинитива* јесте *-т*, *-х*: *йтат*, *дђи*, *ји* (БЦГ); *ић*, *заћ*, *опрат* (СГ) [Вес 154; Том 97].

4.6.4. Најважније заједничке особине КГ и СГ:

- постојање помоћног гл. *лати*;

- наставак *-т* у 1. л. јд. *презента* код свих гл.;

- наставак *-ете* у 2. л. мн. *императива* код свих гл. у СГ, и неких гл. у КГ;

- исти начин грађења *потенцијала* и др. [Петр 189-217; Том 92-103].

²⁰ Види Томици М., *Sistemul verbal al graiului sărbesc din Svinia, județul Mehedinți*, Studii de slavistică, II (Extras), [București], 1971, стр. 211.

5. Најзначајније синтаксичке особине

Низ синтаксичких особина заједничких овим говорима настала су као резултат било румунског утицаја и билингвизма, било услед вишевековне изолације од осталих српских говора (иновације). Од таквих особина спомињемо следеће:

5.1. Употреба удвојених облика личних зам. сва три лица у *Д* и *Ак*, које нису ништа друго до калкирања одговарајућих румунских конструкција (види 4.4.1.), појаве познате и другим српским говорима у Банату, па и у другим српским дијалектима [Ивић 2001: 137, 151; Вес 157].

5.2. *Генитив* са предлогом *од* често замењује *посесивни придев*: *чорба от парадајса, месо од живиће* (БЦГ); *шума од горуна, нера од лука* (КГ); *млеко од краве, месо от кокосике* (СГ) [Вес 157; Петр 218; Том 111].

5.3. Честа замена *парититивног Г акузативом* (мада су конструкције са партитивним Г обичне, паралелно са њима јавља се и Ак, понекад чак у истој реченици): *мётемо лук, шунку...* (БЦГ); *уздемо сирење и брашино, манул се от пиже* (КГ); *манул се од пиже* (СГ) [Вес 157; Рад ; Том 61].

5.4. Употреба *Д* у функцији *посесивног Г*: *рукавиџе господару тдму* (БЦГ); *нёна (=отац) слуѓи мојему* (КГ); *йжа дётету, лајање псему* (СГ) [Вес 158; Петр 218; Том 61].

5.5. Употреба *Ак са предлогом за* уместо *Лок са предлогом о*: ...*ме пимо за кујну* (БЦГ); *говоримо за тёбе* (КГ); *Је врејил за мење* (СГ) [Вес 158; Рад ; Том 76].

5.6. Употреба *Иоруђа* са предлогом *с*: *сечем с ножом* (БЦГ); *с плугам оремо* (КГ); *плетем из јеле* (*из= с*), *рађена из руком* (СГ) [Вес 159; Петр 218; Том 111] и др.

6. И у лексици ових говора постоји један заједнички фонд речи којег сачињавају већином архаични лексеми, специфичан јужној и југоисточној српској штокавској ареи, као и вема старе позајмљенице из румунског банатског говора. И у једном и у другом случају, таквих лексема нема у осталим српским банатским говорима у Румунији или их веома ретко и само понегде можемо наћи. Ради илустрације, навешћемо, у наставку, неколико таквих примера.

6.1. Конзервисани лексички архаизми: *врѣг /син.змѣј/* (лексема ѡаво не постоји у БЦГ, КГ, СГ), *сметана* “скоруп, кајмак”, *крстыне /плуралија тантум/* “доњи део *леђа*”, *нёка(j)* “немој”, *бурујан/бурјан* “коров”, *грдина* “башта, градина”, *сироватка/сиротка* “сурутка”, *прч, двбр* “авлија, двориште; напоље” (Кр, Ст), *мандра* “качамак”, *на надола, на брѣг* “горе, узбрдо”, *сирак* (БЦГ); *врак, крстыне* “леђа” /плуралија тантум/, *корам* “тробух” прч’, *лам* “хтети”, *лежица* “кашика, жлица”, *градина, гори* (К), *на брѣгу* (оКГ) ”горе”, *у дол* “доле” (КГ); *сметана, бурјан, на двор* /уп. и: *обор* - КГ, СГ/, *на дол* “доле”, *нёка, сироватка, мандра, сирак* (КГ, СГ); *враг, лам* “хтети”; *крстына, -иће* “леђа”, *льжица*, *корѣм, грьдина/градина*, *прч/прћ* (СГ) и др.[Вес 164, 159, 130131; Вес 2: 54; Мил ; Петр 42, 222; Рад 109; Рад 2: 138-139, 142-143; Рад; Том 162, 132, 217, 216, 205, 95-96, 215].

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

6.2. Лексички архаизми којих налазимо и у јужним и југоисточним српским дијалектима: једнăк²¹ “одмах”, кукла “путка”, ченîм “радити”, сîрење “сир”, курјак, стубица “стубе”, стрîжем “шишати”, жîто “пшеница (лексем пшеница не постоји у БЦГ, КГ, СГ)”, кâлан “прљав”, кâмо /прил./ “куда”, дôма /прил./ “кући”, кîка “коса”, бîћe /прилог/ “можда”, тâл “део имовине; мираз”, прđвара “згрушено млеко које остаје после сирења”, шувâка “лева рука”, шувакâр “левак”, јучêра/јûче /прилог/, стêна “зид”, копêна “купина”, ðнак “онда”, , пêшки, трпêза “сто; стольњак”, трîце “мекиње”, мâtka “матица (пчела)” (**БЦГ**); једнак, ч'йним, сîраeње, куръяк, стълба, бîћe, прôвара, тp(e)пêзник, шува (шувáјка), учêра, стêна, к'опина, (**КГ**); кукла, сîрење/сîриње, курјак, стълба, жîто, кâлан, кâмо, дôма (види и: дом и јжса “кућа”), мânдра, кîка, тал, трîце, шувак, копина, мâtка (**КГ,СГ**); ч'инут, сîръње, кâльн, уч'éra, стená, купина (**СГ**). Дајемо овде и неколико устаљених израза: *Какò ти с_йме?* “Како се зовеш?”; *Ўде кîша!* “Пада киша!”; *Кàмо ѹдеш?* “Куда идеш?”; *Што ченîши?* “Шта радиш?” (**БЦГ**); *Какò ти с'йте?/Какò ти се ѹме?/; Што ч'йниш?/; Кàмо лаши?* “Куда ћеш?”(**КГ**); *Ўде кîша!*; *Кàмо ѹдеш?* (**КГ, СГ**); [Мил; Вес 164, 139, 155, 163, 131; Петр 222, 142, 223, 106; Рад 120,121, 132, 100, 135, 191, 134, 20, 196, 144, 160, 68-70; Рад 2: 139; Рад; Том 162, 169, 215, 163, 220, 226, 142, 152, 138, 155,136, 243, 230, 29].

6.4. Архаичне позајмљенице из румунског, турског, грчког и других језика: бýса, -e “усна, -e” (<рум. ban. bûsă, -e), брönка, бронkâš “контрабас, контрабасиста” (<рум. дијал. brôancă), дôр “чежња” (<рум. dor), sape/sър “млађеница” (<рум. záră; zer; рум. дијал. sáră), вавлија (ПС) (<тур. avlı <грч. avlī), кукурýs (<рум. дијал. ciscurús), верùцул (види 3.2.3.), дъ “мп “брежуљак, узвишица” (уп. рум. dâmb, мађ. domb), флура “фрула” (уп. рум. flúier), цукнути “пољубити” (<рум. a țuca), мркôň “шаргарепа” (<рум. mórcov, рум. дијал. morcón), лâv̄ta “виолина” (уп. рум. lăútă, тур. lâuta, нгрч. laúta), помâна “даћа” (<рум. rotmánă), пирôњ “(велики) клин” (<рум. дијал. pirón, pírói), гùша “туша” (<рум. gûșă), мошија “воћ(к)e” (<рум. дијал. moștie) (**БЦГ**); вавлија /въвлија/, кукурùц, вárul (К) /види 3.2.3./, дамп (К) /демп (Р), дымп (ОКГ)/, цукнem, мркоњ, лâv̄ta, помâна, пироњ, гùша, мошија (**КГ**); брönка, бýса,-e, бронkâš, дор, sápa, верииóra, дъмп, флура (**КГ, СГ**); авлија /син.:обóр – КГ,СГ/, кукурýs, цукнут, мркуш, лáута, помéна, пироњ (**СГ**) [Мил; Вес 2: 59, 59; Вес 165, 132, 162, 165; Рад; Рад 85, 151, 93, 208, 92, 201, 180, 124; Петр 49; Том 124, 138, 146, 116, 163, 126-127, 135, 232, 236, 173, 165 , 197, 193].

7. О пореклу ових говора

7.0. На основу горенаведених података покушаћемо у завршном разматрању да одредимо како међусобне говорне везе испитаних говора, тако и њихове говорне везе са осталим српским (можда и бугарским, македонским) из њиховог ближег или даљег суседства, те да потом

²¹ За ове лексеме погледати речнике за кос.-ресав. и призр.-тим. дијалекте (нпр.: Елезовић Г., Речник косовско-метохијског дијалекта, књ. I-1932, II-1935, Београд; Динић Ј., Речник тимочког говора, СДЗб, XXXIV-1988, XXXVIII-1992 и др.).

одредимо порекло говора и начин образовања ових етничких оаза²². Напомињемо да ћемо у овом делу користити и нове примере ради илустрације још неких битнијих особина ових говора које, због ограниченостим простора, нисмо дали у гореизложеном материјалу.

7.1. Следеће шумадијско-војвођанске језичке црте (посебно нас интересују банатски говори) налазимо:

7.1.1. У *свим испитаним говорима*: претежно екавска замена ъ, али са дosta примера са и место ъ (делимично и у СГ); тенденција неутрализације квалитативно-квантитативних одлика у КГ и СГ, а у говору БЦГ веома је изражена ова појава; нешто палаталнији гласови ч', ж' од истих у стандардном језику (*веч'ера*); очуване крајње к. гр. -ст, -зд, -шт, -жд; хв->ф, в; редукција к. гр. -кв- у каквоћних заменица (*оваки*)²³; префикс *нъ>ни* (често); упрошћене к. гр. *су*, *тс*, *сл* (*праци*, *богаство*, *мисим*); уопштавање наставака заменичке промене (*његовог*); тенденција уопштавања наставака тврдих основа у промени им., придева и зам.: *кључом*, *мојог* (слабија у КГ и СГ); нестанак *плусквамперфекта* и *имперфекта* (и *аориста* у БЦГ); уопштавање облика *би* као помоћног гл. у свим лицима потенцијала, у јд. и мн. (*ја би дошао*; *ми би дошли*); поремећен ред речи: *су носили* (под утицајем рум. јез.).

7.1.2. Само у говору БЦГ и КГ: неакцентовано ъ>и у дosta примера (*сикира*, *гријота*, *додијати* или *грејати*, *сејати*, *смеј/ати се/*); изједначавање префикса пръ- са при- (приварим, као и предлози: *прид*, *прико*); елизије типа: *д_идем*, *сéте*, *сёни*); асимилациони и дисимилациони процеси типа: *беж_њега*, *ш_њим*, *оцекал/оцеко*; употреба *с* уз *И оруђа* (*копа с мотиком*); падежне конструкције са код уместо к (*Идем код Ивана*).

7.1.3. Само у КГ и СГ: упрошћавање почетних к. гр. *пт-*, *пч-* (у КГ и *пи-*, *пс-*: *шиниč'но бráшно*, *сóвем* “псујем”); тенденција уопштавања наставака -им у Д и Л јд. м.р. замен.-прид. декл.: *њéјним нéни* (али: *твојéму бráту*), у *наáшим сéлу* (КГ), у *прéвим рéду* (КГ, СГ); спорадично јављање наставака -ч'у у 3. л. мн. презента гл. I врсте: *печ'у*, *влч'у* (напоредо са станд. -ку у КГ: *пеку*, *влку*); сужена уп. аориста.

7.1.4. У говору БЦГ и СГ: непостојање дистинкције између падежа места (Лок) и падежа правца (Ак) (*Живи у Темишвар*).

7.1.5. У говору БЦГ: наст. -ду у 3. л. мн. свих глагола (*вїдиду*, *свїчеду*).

7.1.6. У КГ: Д и Лок јд. личних зам.: *мéни* (*ми*), (*по*) *тéби* (*ти*); аналошка појава к и г у Д-Лок типа: *дéв'ки*, *по нóги*, (*на*) *пúшки*.

7.2. Следеће особине косовско-ресавског дијалекта налазимо:

7.2.1. У БЦГ, КГ и СГ: доследнија замена ъ (КГ и БЦГ у овом погледу осцилирају између косовско-ресавског и шумадијско-војвођanskог

²² За упоређивање црта ових говора са говорима српских и бугарских дијалеката, користили смо следеће радове: Пецо 1991; Ивић - *Срхр. дијал.*; Бан. гов. 1994, 1997; Собољев 1995; Стойков 1993.

²³ То је архаична особина присутна и у другим српским и хрватским говорима (види: Бан. гов. 1997: 130-131).

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

дијалекта); акценатски систем старијег типа (ако уважимо нека мишљења да су све до недавно КГ и СГ такође имали двоакценатски систем:""); непостојање збирних и колективних им. на -ад; употреба посесивног Д: *кӯха мом брâту* (БЦГ), *нёна слûги мојéму* (КГ), *женá тûма ч'овéку* (СГ); поједине алтернације вокала (*áјда*, *сíроватака* /КГ, СГ/, *тіпсíја* /КГ/, *тіпсíїца*, *сíровáтка* /БЦГ/ - место: *ајде*, *тепсија*, *сурутка*); реминисценције синтетичког компаратива са наст. -еји; упрошћавање к. гр. *сц*, *ич>ц, ч*; постојање инфинитива (мада ређе у СГ и веома ретко у КГ);

7.2.2. У БЦГ и КГ: делимична појава отворености затворености вокала - *е*, *е* и *о* (*о'вá* /КГ/, *кӯj* /БЦГ, делимично и у СГ/); дисимилијација секвенце *тл>к:* *нёкъа* (КГ), *нёкъа* (БЦГ); у корену *вид-* имамо *вөд-* (*e<ъ*); сажети архаични облици гл. “јести”: *јем*, *јеш*, *је...*

7.2.3. У КГ и СГ: сачуван презент *кóвem* (КГ) / *ковéм* (СГ) “кујем”; гл. облици са -ева у КГ (*се самњéва*), односно -ива у СГ (*сврши́ват* “завршавати”); има неколико особина које су, истовремено, својствене и призренско-тимочким дијалектима (види ниже);

7.2.4. У СГ и БЦГ: дисимилијација секвенце *-dl>-gl* (*глето/длемто*); наст. -е у Д јд им. ж.р. на -а; наст. -у у З. л. през. гл. типа *радити* и *трчати* (иначе, уопштен код свих гл.) у СГ (*ráду*, *трч'у*), односно -ду у БЦГ (*рàдиду*, *трчиду*)(такође, уопштен код свих гл.); краћи облик инфинитива (без крајњег -и).

7.2.5. Само у БЦГ: гл. енклитике у неенклитичкој позицији (*ћete дôh*, *ћeши гa заклâт*); И јд. личне зам. 1. л.: *с mèном* (уп. косовско-ресавски облик: *с моном*); к. гр. *чp->чp-*.

7.2.6. Само у КГ: метатеза и асимилација у облику *cámne* (< *сване*); наст. -ем у деклинацији зам.-прид. речи у И-Лок јд .и мн. и у Д мн.: *на онéм белéм кóњu*, *с тéм кратkéм лáнцам*, *даj оvéм луђáм*, *с оvéми ч'rнéми барjáци*; наст. -а у Г и Лок мн. им ж.р. на -а: *по свáдба*, */од/ ливáда*; презент гл. “познавати”: *познáвam*; наст. -е у З.л. мн. презента гл. VII и VIII врсте: *нóсе*, *држé*; напоредо са множинским облицима им. сп. р. типа: *пráци*, *тéлци*, јављају се и мн. облици типа: *пráч'iћi*, *телч'ићi*, *јáганч'iћi* /са диминутивним значењем/ (уп. косовско-ресавски: *телићi*, *прасићi*).

7.2.7. Само у СГ: неколико особина специфичних истовремено косовско-ресавском и призренско-тимочким дијалектима (види ниже).

7.3. Следеће призренско-тимочке дијалекатске особине налазимо:

7.3.1. У говору БЦГ, КГ и СГ: неизмењено -л (у БЦГ само делимично); доминантна аналитичка компарација приdeva (са остацима синтетичке компарације); уобичајена употреба енклитике зам. за *сако лице* *сu*; употреба старијих облика трп. гл. прид. (оних са очуваним или аналошким измењеним сугласником у основи) типа: *виђен*, *свриен*, *донешен*; тенденција уопштавања наставака тврдих основа -о у зам.-прид. декл. (*нашo*, *моjo*, *говеђo*, *трећo*); облици упитне зам.: *коj/куj*; гл. облици са итеративним суфиксом -ува: *купúват* (БЦГ), *купувáл* (КГ), *купú'ват*, *сањувáњe* “сањање”, *закопувáњe* “сахрана” (СГ); редуцирани облици 2. л. мн. императива као и наст. -ете (*јете*, *пите*); доста распрострањена употреба (најмање у БЦГ)

наставка с елементом *к* у деривацији: *торбичка* (БЦГ); *воденіч'ка*, *напріч'ка*, *стрич'ка* (КГ); *ч'ашка* (КГ, СГ); *маміч'ка*, *прéдич'ка* “пређица” (СГ).

7.3.2. У КГ и СГ: очувани полугласник *ь* (са варијантама: *ь^a*, *ь^b*...)/у свим КГ изузев К и Р/; конзервисано *đ*; постојање африката *s*; један акценат – *експираторни* (види и 7.2.1.); *постпозитивни члан* у придева и појединих бројева; невршење јотовања код појединих трп. гл. прид. (*кутен*, *изгубен*, *склóпен/склопéн*); множински облици једносложних им. м.р. са наст. *-ове/-eve*; употреба енклитичких облика личне зам. 3. л. јд., ж.р. у Ак.

7.3.3. Само у СГ: упрошћен падежни систем (делимично и у БЦГ: Лок=Ак); тенденција замене тврдих са меким африкатима (*ч'*, *щ>h'*, *ћ'*; на пр.: *ч'ест - ћест*); употреба (ретка) проширених наст. *-еви/-ови* (и *-уве*) у мн. једносложних и двосложних им. м.р. (*сúдови* и *сúдове*, *краљéви* и *краљóви*, *краљóве*); облик присвојне зам. 3. л. ж.р.: *њојна*; облик личне зам. 1. л. у И јд.: (*из*) *мéне*; тенденција *љ>л'*, као и замена *л* са *љ*, *н* са *њ* (као у призренско-јужноморавском говорном типу).

7.4. У говорима који су предмет овог истраживања постоје и друге бројне особине које су заједничке свим српским дијалектима на које смо се овде односили, или само двама од њих. Износимо, у наставку те особине.

7.4.1. Заједничке особине *шумадијско-војвођанског*, *косовско-ресавског*²⁴ и *призренско-тимочког* дијалекта присутне у:

7.4.1.1. *Свим анализираним говорима*: губљење гласа *x* (у главном) у већини положаја (нешто мање у КГ) и његова супституција са *v*, *j*; употреба удвојених облика личних зам. сва три лица у Д и Ак и ширење футурске конструкције *да+презент* (иновације настале највероватније под утицајем страних несловенских језика са којима су сви ови говорници дошли у контакт; у бан. гов. - утицај рум. језика);

7.4.2. Особине *шумадијско-војвођанског* и *косовско-ресавског* дијалекта:

7.4.2.1. У *свим анализираним говорима*: стабилнија позиција фонеме *ɸ* у фонолошким системима (види: бан. гов. и трстенички гов. тип); *зр->здр-* (види: бан. гов.); јављање секвенце *-шћ-* у трп. прид. гл. на *-стити* типа: *очишићен* (фонетски архаизам); изменјен положај енклитика (иновација настала под утицајем несловенских балканских језика); тенденција прелаза им. ж.р. на сугл. (*смрт, сол*) у категорију им. м.р.

7.4.2.2. У КГ: наст. *-и* у Д и Лок јд. им. ж.р. на *-а* (*жéни, по сóби*); наст. *-ом* у И јд. им. ж.р. на сугл., настао од старијег облика И на *ји* и новијег на *-ом* (с новим јотовањем сугласника): *сольом, машћ'ом*; врло жива тенденција депалатализације у промени им. ж.р. са основом на *к*, *г*, *х*: *руки, (у) напрíки, (на) мотíки, кру́шки, ч'áв^фки*; очувани архаични облици Лок мн. им. ж.р. на *-а*: у *ч'йжма, по ливáда, по фабрика, по сокáци*; архаични множински наставци им. м. и спр. р. у Лок и И: (*на; с*) *коли, у зубý, по сáлаши, с нóв^фци, с волóви* (као у бан. гов.);

²⁴ Под термином *косовско-ресавски дијалекат* подразумевамо и *сmederevsk-vriacki* говорни тип.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

7.4.3. Заједничке особине косовско-ресавског и призренско-тимочког дијалекта:

7.4.3.1. У КГ и СГ: африкат *s* добро заступљен; напоредо са *p*, употребљава се и *þ*; почетна секвенца *sv-*; десоноризација крајњих звучних сугл.²⁵; очуван аорист (ретко у КГ);

7.4.3.2. У СГ и БЦГ: наст. -*e* у Д јд. личних заменица.

7.4.3.3. Само у СГ: енклитички облици личних зам. 1. и 2. л. мн.: *ni, vi;* *ne, ve*²⁶; жива употреба аориста и употреба наст. -*omo* у 1. л. мн. аориста (*údomo, jédomo*).

8. Пошто смо у анализи језичког материјала трију говора већ установили како заједничке особине које их повезују, тако и особине које их спајају са неким српским дијалектима, у наставку ћемо само изложити крајње закључке, без понављања већ гореизложених особина.

8.1. Најбитније и највише особина анализираних говора повезују их, без сумње, са ширим западнојужнословенским тереном ка западу од линије око које се сустиче читав сноп изоглоса које генетски раздвајају западнојужнословенске дијалекте од источнојужнословенских (Белоградчик – Берковица – Годеч – Брезник – Радомир - Ђустендил) [Ивић–Срхр. дијал: 20-35] (Види горе тачке 3, 4, 5, 6).

8.2. У свим анализираним говорима има особина које налазимо у три српска дијалекта: шумадијско-војвођанском, косовско-ресавском и призренско-тимочком.

8.2.1. Супротно очекивањима, констатујемо многобројне заједничке особине ових говора са говорима шумадијско-војвођанског дијалекта (уп. 7.1). Доста таквих особина архаичне су и специфичне само банатском (у ширем смислу, и војвођанском) језичком ареалу. Све су оне доказ више да су ове три лингвистичке архаичне српске оазе у генетском сродству, тј. да су се развиле из ишчезле дијалекатске формације са банатстог терена, који се је, највероватније, простирао на ширем простору и јужно од Дунава [Види: Ивић – Срхр. дијал: 55-77.; Рад 2000: 73-74, 216-219; Вес 1976: 168; Собољев 1995: 183, 205]. Ишчезавању тог архаичног и пространог дијалекта допринеле су миграције становништва из јужнијих српских области почев од XIV до XVIII века. Периферни географски положај ових говора доприноси очувању већег броја таквих архаичних црта у њима, а, у знатној мери, и словенско-српског етничког карактера ових енклава.

8.2.2. Многобројне косовско-ресавске и призренско-тимочке језичке особине налазимо у КГ, СГ и говору БЦГ. Постојање у овим говорима значајних и бројних особина двају горенаведених дијалеката представља доказ да су *карашевски, свинички* и “*банатско-црногорски*” говори резултат смесе говора банатских Срба староседалаца са српским говорима досељеника који су дошли у Банат у периоду од XIV-XVIII века.

Судећи по данашњим језичким цртама трију испитаних говора, говори првог таласа досељеника (XIV-XV век) генетски су били везани за

²⁵ У говору БЦГ једино *v* губи своју звучност.

²⁶ Говор БЦГ нема енклитичке заменичке облике.

источну периферију косовско-ресавског дијалекта, за подручје које се граничило са српском тимочком, призренско-јужноморавском или/и северозападном бугарском²⁷ облашћу. Ти су се први досељеници настанили у брдско-планинском појасу Баната (види 8.2.3.), сасвим извесно и међу Каравашцима, Свиничанима и, највероватније, међу банатским “Црногорцима”. Пошто су ти досељеници највероватније били из једне шире области (види 8.1.), већ од тада почињу се јављати извесне разлике између свиничког, каравашских и “банатско црногорских” говора. Те се разлике између КГ и СГ, с једне стране, и говора БЦГ, с друге стране, повећавају у XVII-XVIII веку, пошто је, највероватније, банатска “црногорска” енклава примила нове досељенике, али не и остале две енклаве – каравашка и свиничка. Осим тога, прекид контакта између ових трију енклава имао је за последицу самостални језички развој њихов, а то је опет погодовало продубљивању језичких и других разлика међу њима.

8.2.3. Постоје бројни разлози на основу којих сматрамо да је све до XV-XVI века у источном и југоисточном брдско-планинском делу Баната, на издуженом подручју који се протезао од Липове, преко Лугожа, Карансебеша, Караваша, Алмашке долине, до Свинице, живео компактан слој словенског живља (Срба староседелаца)²⁸. Међутим, почев од XV века на овамо, румунски староседелачки елеменат (као и српски) почиње бројчано јачати и консолидовати се у Банату румунским досељеницима који пристижу из Олтеније, Ердеља и других румунских територија, и то најпре у брдско-планинским крајевима њеним. Мешање румунских досељеника са првобитним словенским живљем у брдско-планинским банатским пределима имало је за последицу асимилацију последњих у већини случајева. Тако је прекинут континуитет словенског живља на овом простору, а очувала су се само ова три “острвица” словенског живља.

Истовремено, на говоре ових преосталих енклава вековима је румунски језик вршио сталан и снажан утицај, што потврђују бројни румунски елементи присутни у фонологији, морфологији, синтакси, лексици (највише), топонимији и ономастици. Дакако, било је и мешања са Румунима, тако да је удео румунског живља у образовању ових специфичних словенско-српских етничких енклава значајан.

8.2.4. Периферни положај и изолованост од матице, као и вишевековни непрекидни контакт са румунским живљем, условили су појаву појединачних иновација у овим говорима. Те иновације и бројни конзервисани архаизми издвајају ове говоре од већине српских говора, дајући им посебан печат.

²⁷ Неке бугарске језичке црте налазимо у КГ и СГ, али су они, без сумње, српски говори.

²⁸ Види, на пр., Petrovici E., *Toponime slave din Valea Almăjului (Banat)*, Studii de dialectologie și toponimie, Ed. Academiei R.S.R., București, 1970, стр. 138-142; Радан Н. М., *Рецептурни српско-румунски утицаји и пројесионања у алмашкој односно каравашкој топонимији*, Studii de limbi și literaturi moderne, Timișoara-1992, Tipografia Universității din Timișoara, стр. 143-153; Др Д. Поповић, *Срби у Банату до краја XVIII века – Историја насеља и становништва*, Научна књига, Београд, 1955, стр. 15-80 и др.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

ЛИТЕРАТУРА

- Бан. гов. 1994, 1997 – Ивић П., Бошњаковић Ж., Драгин Г., *Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта*, Прва књига: Увод у фонетизам, СДЗб, XL, 1994; Друга књига: *Морфологија, синтакса, закључци, текстови*, СДЗб, XLIII, 1997.
- Белић 1905 – Белић А., *Дијалекти источне и јужне Србије* // СДЗб, Књ. прва, 1905.
- Веску 1976 (Вес) – Веску В., *Говор Банатске Црне Горе* // Посебан отисак из Зборника за филологију и лингвистику, XIX/1 за 1976., Нови Сад, 1976, стр. 115-172.
- Вес 2 – Vescu V., *Particularități lexicale ale graiurilor sărbești din Petrovasela, Stanciova și Cralovăț (jud. Timiș)* // Analele S.L.R., Zrenjanin, 6, 1975, стр. 53-59.
- Ерд 1925 – Ердељановић Ј., *Трагови најстаријег словенског слоја у Банату* // Niederlův sborník, Prag, 1925, стр. 275-308.
- Ивић 1994 – Ивић П., *О говору Галипољских Срба* // Ивић П., *Целокупна дела*, I, Изд. књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци · Нови Сад, 1994.
- Ивић 2001 – Ивић П., *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје*, // Ивић П., *Целокупна дела*, II, Изд. књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци · Нови Сад, 2001.
- Ивић – Српх. дијал. – Ивић П., *Српскохрватски дијалекти. Њихова структура и развој*, Прва књига, *Описта разматрања и штокавско наречје* // Ивић П., *Целокупна дела*, III, Изд. књиж. Зорана Стојановића Сремски Карловци · Нови Сад, 1994.
- Милин 1992 (Мил 1992) – Милин Ж., Бука М., *Антропонимија банатских "Црногорца"* // Romanoslavica, XXX, (посебан отисак), București, 1992, стр. 237-267.
- Мил – Грађа коју је прикупио у БЦГ Жива Милин.
- Петровић 1935 (Петр) – Petrovici E., *Graiul carașovenilor. Studiu de dialectologie slavă meridională*, București, 1935.
- Пеџо 1991 – Др Пеџо А., *Преглед српскохрватских дијалеката*, Научна књига, Београд, 1991.
- Радан 2000 (Рад) – Radan N. M., *Graiurile carașovene azi. Fonetica și fonologia*, Uniunea Sârbilor din România, Timișoara, 2000.
- Рад 1 – Грађа коју је прикупио Михај Н. Радан.
- Рад 2 – Radan N. M., *Lexicul carașovean în ALR* // Probleme de filologie slavă, IV, Tipografia Universității de Vest din Timișoara, Timișoara – 1996, стр. 137-147.
- Симу 1939 – Simu T., *Originea carașovenilor. Studiu istoric și etnografic*, Lugoj, 1939.
- Собољев 1995 – Собољев А. Н., *О неким јужнословенским говорним оазама у источкој Србији, западној Бугарској и Румунији (Вратарница, Ново Село, Свиница)* // Прештампано из ЗБМСФЛ XXXVIII/2/1995, стр. 183-207.
- Стойков 1993 – Стойков С., *Българска дијалектология*, София, 3. изд.
- Томић 1984 (Том) – Томић М., *Говор Свиничана* // СДЗб, Књ. XXX, 1984.
- Томић 1990 – Томић М., *Сеобе без сеоба* // ЗБМСФЛ, XXXIII, 1990, стр. 487-490.

СКРАЋЕНИЦЕ

Ак – акузатив
бан. гов.- банатски говори

ROMANOSLAVICA 38

бр. - број
Вок - вокатив
Г - генитив
гл. - глагол(ски)
Д - датив
дијал. - дијалектизам
ђ' - меко ђ
зам - заменица
зам.-прид.- заменичко-придевска (промена)
ж.р. - женски род
И - инструментал
им. - именица
јд. - једнина
јез. - језик
к. /сугл./ гр.- консонантска група
књиж. - књижевни
л. - лице
Лок - локатив
м.р. - мушки род
мађ. - мађарски
мн. - множина
Н - номинатив
наст. - наставак
нгрч. - новогрчки
нем. - немачки
оКГ - остали карашевски говори
през. - презент
рум. - румунски
ср.р. - средњи род
сугл. - сугласник
трп. гл. прид. - трпни глаголски придев
тур. - турски
ч' - меко ч
ћ' - меко ћ
Џ - меко

**БАНК ДАННЫХ НА ОСНОВЕ РУССКО-РУМЫНСКОГО
СЛОВАРЯ ИННОВАЦИЙ (1994-2003 гг.)**

Мария Думитреску
(Maria Dumitrescu)

Лексикографию XX-го века можно классифицировать, имея в виду способы реализации, финальные результаты и интерес говорящих на русском языке не только в пределах исконного государства, как одной из важнейших научных достижений, но классического порядка.

К концу пройденного века можно говорить о модернизации области, как в сфере исследования, так и в сфере применяемых новых техники и технологий. Имеются в виду способы подбора и сохранения материала в случае применения компьютера.

Середина XX-го столетия является шагом вперёд в регистрации словесного материала, его определения и фиксации движений в процессе обновления состава (примером могут служить: ССРЛЯ в 17 тт., 1948-1964 и 2-ое изд., СРЯ XI-XVII вв., 1975-1998, дополнительные издания под заглавием НСЗ, разных лет выхода в свет и другие издания лексикографического типа, вышедшие после '90-го года).

Примерно к '93 году при чтении печати нам показалось, что лексика русского языка пополняется не только ускоренными темпами, но и рамки источников пополнения стали шире, как результат новых отношений в мире и в случае появления новых отношений русских с внешним миром (см. *Транзитный период...* в ...); русский язык стал богаче: перестали быть запрещёнными некоторые единицы лексики дореволюционных лет, возникли новые единицы (в том числе новые аббревиатурные комплексы, АРЛИ), заимствования из ряда языков (не только из всем известных классических) более отдалённых регионов мира с новыми дериватами (см. *алкоголичка-бизнесменша*, Лг 42 20 13; *арт-этно-рок-минималисты*, Изв 20 11 20 5; *поли-этнический*, Лг 49 99 13; *пофанатеть*, АиФ 2 01 12; *рэггиактивист*, Изв 1 12 20 11; *ригидность*, *рэгги-движение*, *телебновление*, *хакерство* и ряд др.).

Общество развивается постоянно и вместе с тем, разумеется, развиваются языки, в том числе - русский язык. Новые партии и движения, например, в сфере политики и их наименования, равно и наименования членов этих партий, служат доказательством пройденного пути за несколько лет (см. "Яблоко", *яблочник*, АПР, *аграрник* и ряд других).

К концу последнего десятилетия XX-го века использование компьютера и его возможностей, расширение круга пользователей *Интернета* и *Рунета* за рамки Российской Федерации привели к появлению ряда новинок в лексике, что для нас послужило стимулом к составлению русско-румынского словаря новинок 1994-2003 гг.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Интересно отметить, что за пройденный период, после 1995 г., в рамках Интернета возникло явление, свойственное новому способу общения, коммуникации, между людьми с использованием “адреса” (www.gazeta.ru), что привело, неизбежно, не только к появлению новых наименований (такими являются: *инфолекс* - адрес, *инфолексем* - компонент адреса с двойным статусом, международным [стабильным] и, в зависимости от языка, более конкретным компонентом [algo.ru], как и единицы *инфолексикон* - сумма адресов [эти наименования были нами придуманы в момент составления таблиц с “адресами”]). Конечным компонентом “адреса” является сокращение наименования страны *ru* от “Русь”. Интересно, что данная аббревиатура проникла и в поэтический текст ([А. Вознесенский, Известия, 18 08 20 10]: “Русь, куда несёшься ты, дай ответ - в Интернет!../ Коррумпированная моя *ru*, поруганная моя *ru!*”). Вероятно подобных случаев использования *ru* не так много. Роль конечного элемента в “адресе” могут играть и другие элементы (com, например). Примером сопоставления может служить таблица с румынскими адресами:

INFOLEX

infolexem - infolexem - infolexem - infolexem
i <http://www.ararat.go.ro>
n <http://www.brm.ro>
f <http://www.caută.ro>
o <http://www.chip.ro>
l <http://www.dialpad.com>
e <http://www.găsește.com>
x <http://www.hp.com.ro>
i <http://www.index.ro>
c <http://www.ocazii.ro>
o <http://www.rol.ro>
n <http://www.start.ro>
 international român
 (stabil)

и таблица с русскими адресами:

infolexem - infolexem - infolexem - infolexem
i <http://www.aif.ru>
n <http://www.aktrad.ru>
f <http://www.algo.ru>
o <http://www.book.ru>
l [http://www.gsm.org\(news\)](http://www.gsm.org(news))
e <http://www.infra-m.ru>
x <http://www.izvestia.ru>
i <http://www.lgz.ru>
c <http://www.mtelecom.ru>
o <http://www.poutel.ru>

n <http://www.yarmarka.com>
международный русский
(стабильный)

Необходимо отметить постоянное использование латинского алфавита в любом “адресе”, независимо от языка и географической зоны, причём первая зона “адреса” представляется без изменений повсюду. Вторая зона связана с географией и языком.

В связи с этим следует подчеркнуть, что отпадает, давно имеющийся в практике до появления “адреса” по Интернету, вопрос и спор о времени и месте появления заимствования из какого-либо языка.

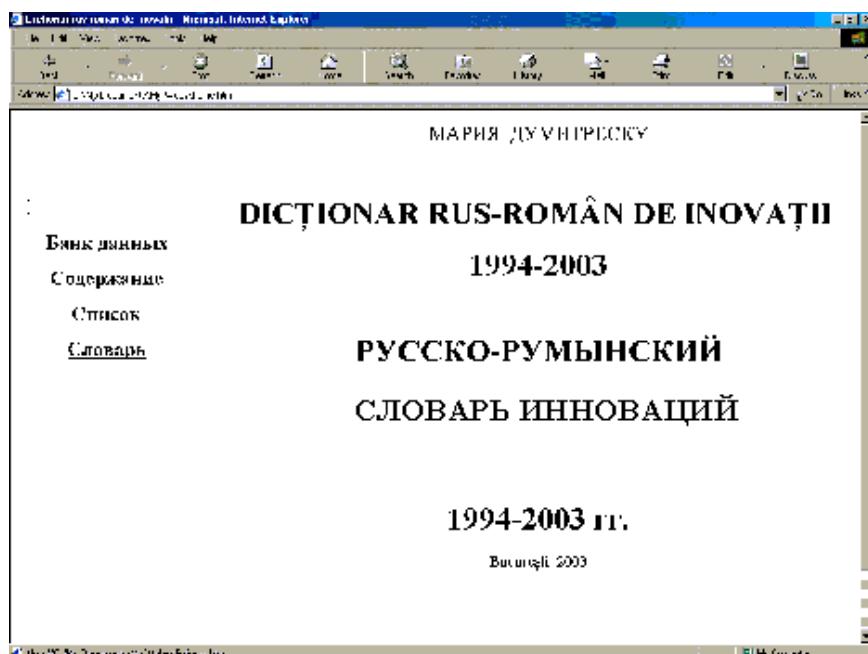
В результате расширения использования Интернета и его возможностей, естественно, возникла и возможность создания программы для электронного варианта русско-румынского словаря новинок 1994-2003 гг., что можно осуществить и для других языков, так как для румынского языка эта возможность уже использована на основе материала словаря новинок румынского языка 2000 года (*Dicționar de cuvinte recente. D.C.R. - 2000. Bacău: Agata, 2000, 153 p.*, последний выпуск серии D.C.R., начатой нами по годам с 1990 г., неполностью ещё изданной) и представленного (26-29 апреля 2001 г.) в соавторстве с Д. Новяну (*Bancă de date - tip dicționar de cuvinte recente*) на 9th Conference of GRLA/RWCAL Verbal Communication and Interaction on/via Computer в Bacău-Tescani.

Далее мы представляем ряд страниц банка данных для данного русско-румынского словаря.

Реализация программы для рулирования

С учётом того, что инновациями лексики русского языка заинтересованы специалисты, лексикологи, мы решили спроектировать информатизированную базу данных по Русско-румынскому словарю инноваций 1998-2003 гг. (CD-ROM с тем, чтобы затем предоставить возможность консультировать этот материал и на Web-site). Структура этой базы данных состоит из трех уровней (Loreta Niță – автор программы для рулирования): на первом уровне имеются общие данные.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

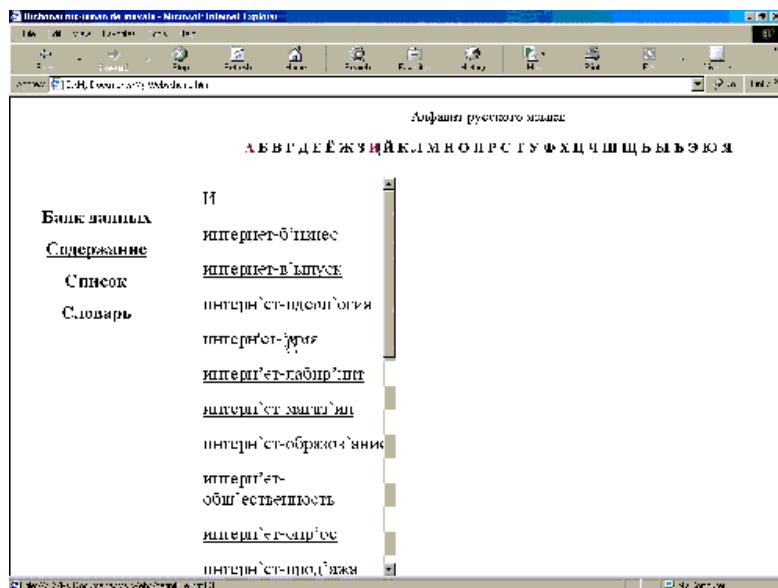


Экран, кроме заглавия содержит кнопки связи, ведущие ко второму уровню (алфавит русского языка).

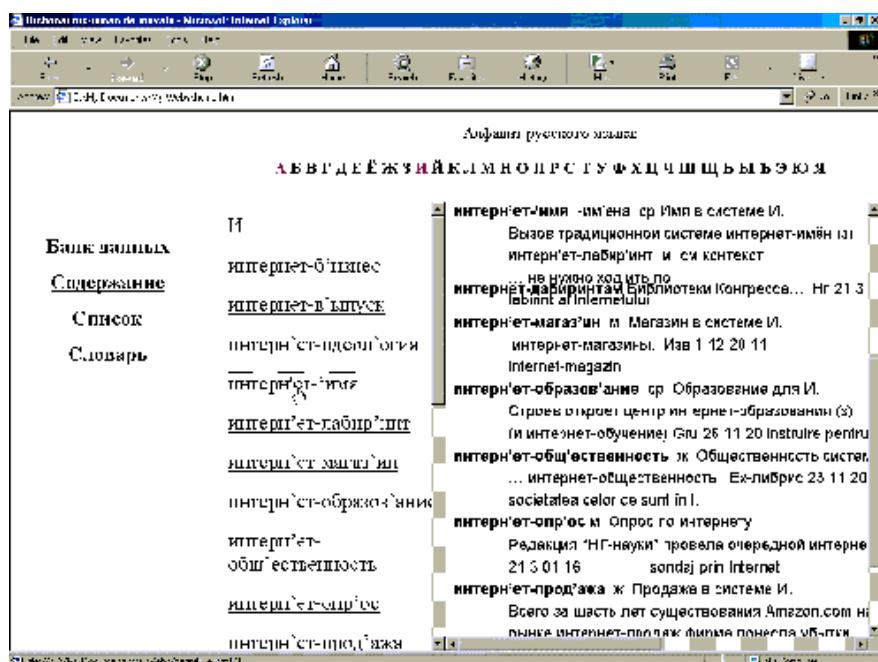
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л Т М Н О Р С Т У Ф Ч Ч Ш Щ Ъ Щ Ы Ъ Ё Й

Следующий уровень представляет разделы: описание словаря; введение; список использованных изданий; библиография. В разделе *алфавит* каждая буква представляет следующую связь со списком единиц, имеющих в начале букву И, например:

ROMANOSLAVICA 38



Последний уровень, даёт все данные, относящиеся к лексеме с отдельной начальной буквой: например: *бизнес-, био, е-коммерция, ГМ-* культура, *интернет, панк-группа...*) и т.д.



От каждого уровня возможна связь с одним уровнем из четырёх существующих. Самые новые элементы лексики русского языка относятся к сфере интернета по печати 1998-2003 гг. (новые лексемы, синтагмы/

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

термины ИТ, аббревиатуры, «заимствования» и морфемы, участвующие в реализации инноваций данного периода).

Необходимо добавить, что по отношению к заглавию, работа состоит из двух частей: первая часть имеет в виду материал 1994-1998 гг., а вторая часть содержит лексический материал, относящийся к следующему периоду, к 1999-2003 гг. (для последнего года имеется в виду материал первых 6 месяцев). Объединяются эти две части обложкой. Во время работы над собранным по печати (см. *Список...*) материалом возникли некоторые вопросы: а. на уровне русского текста эти трудности были связаны с аббревиатурами, с их расшифровкой, с поиском наилучшего варианта румынского эквивалента; б. в случае заимствований необходимо было правильно передать семантику единицы и её соответствующую орфографическую форму (иллюстрацией могут служить: он-лайн/on-line, он-лайновый; ГМ-продукты/produse modificate genetic; е-коммерция; продавец-консультант; экозона; в. в случае сложных единиц (Интернет-услуга и др.) необходимо было учесть особенности румынской топики (*servicii Internet.....*); г. не среди последних следует иметь в виду и те проблемы, которые возникли в случае дериватов от собственных имён, антропонимов, топонимов и при отсутствии основного имени в широком контексте (барвишинский хлеб/pâine din Barviha, зю<Зюганов).

Технические термины не всегда прозрачны или, иногда, по их переводу необходимы и другие знания, порой связанные с системой производства, с материалами и технологиями страны и далее с социальными структурами зоны, Европы, с перспективой их использования, необходима консультация у специалиста области (случай в словаре прошлого века с *конфоркой* газовой плиты в переводе *ochi* [глаз] с исходом от обыкновенной старой железной (чугунной) плиты, хотя необходимо было использовать дериват от *гореть* [arzător] объясняется лишь тем, что данная единица относилась к новинкам и здесь, фактически, речь шла о двух разных терминах: о месте, где от газа появляется огонь и о соседнем элементе, окружающем огонь).

Тем более внимание должно быть многократно увеличено в связи со столь многочисленными единицами из весьма новых отраслей техники и технологий информатики, медицины, фармацевтики, исследований космического пространства, моды, искусства (см. *перформанс*) и пр.

Эти единицы сопровождаются грамматическими пометами, кон-текстом и румынским эквивалентом (примеры в *PPСловаре...*)

В связи с аббревиатурами ознакомление с фактами прошедших десятилетий может лишь помочь, а не решить судьбу подлежащего раскрытию сложной аббревиатуры/термина и его точного применения в настоящее и тем более в будущем (особо следует относиться к вопросам восприятия на слух этих единиц, вне письменного текста, в отсутствии широкого контекста). Эта масса элементов требует большого внимания и дополнения на уровне лексикографических работ с постоянным дополнением инвентаря и обеспечения доступа по интернету любому, заинтересованному лицу. Точность в данном случае возможна с помощью

специального форума, который профессионально сможет направить заинтересованных лиц в данной сфере.

Обычный словарь новинок не может включить столько единиц, возникающих ежесекундно во всех сферах человеческой деятельности, а развитие общества приведёт к ряду новых спецединиц. В пределах лексики современного русского языка производные от антропонимов и топонимов, прилагательных (бутиковый <бутик/boutique, геленджикский <Геленджик, УнивParty <Университет+Party, вечеринка в МГУ), наречий, сложных образований (российско-венесуэльский, русско-польско-французский [проект]; имеются и многосложные образования), которым не так часто лексикографы (по известным причинам) уделяли должного внимания.

Меняется оптика людей при выборе имени для своего ребенка (был случай с присвоением младенцу имя террориста) и места в природе или городе (Москва-сити), тем более если необходимо имя для космического объекта (аппарата, лаборатории, пиши и жилого дома со всеми удобствами в космосе) при развитии в недалеком будущем туризма в разных зонах Луны и пр.

Стоит ли всё это регистрировать? Думается, что да. Но это не дело отдельного работника. Серьезно надо думать о научной работе на каждом месте в вузе с нагрузкой настоящего времени. Обзор образований и характерных черт языка персонажей литературного произведения весьма интересен, но количество подобных вероятно предстоит снизить в пользу открытия новых линий исследования явлений настоящего в жизни языка.

Вторая половина XX века отличалась невиданными достижениями русской лексикографии и верится в реализацию новых качественных результатов в этой области и в течении данного периода. Для этого необходимо подготовить лингвиста соответственно и по информатике. Настоящий работник гуманитарных наук и лексикограф со знаниями по информатике и компьютерному делу (оснащение филфаков техникой настоящего – вопрос особый) обеспечит новый импульс и ожидаемый результат в этом деле. Продолжение работы возможно далее только при наличии большего количества печати и печатных изданий.

В нерусской аудитории не так много нового и доступ к информации, к интернету, достаточно ограничен, печатные издания по специальности доходят до аудитории с ограничениями и в отношении стоимости для отдельных лиц, но и для библиотек комментарии можно отложить. Форумы при встречах их представителей призваны обсудить и эти вопросы. Это только поможет делу.

Библиография

1. Словарь русского языка. 1-4. Москва, 1981-1984.
2. Новое в русской лексике. Словарные материалы – 77... (серия); Краткий словарь понятий и терминов. Второе издание. Москва, 1995.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

3. Думитреску Мария. *Транзитный период в обществе и отражение фактов и процессов на уровне лексики русского языка.* В: *Сообщения на Международном Конгрессе МАПРЯЛ*. Братислава, 1999.
4. Думитреску Мария. *Русско-румынский словарь инноваций 1994-2003* // Бухарест, 2003.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИСТРОРУМЫНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
(ВЛИЯНИЕ ХОРВАТСКОГО ЯЗЫКА)

Рихард Сырбу (Richard Sârbu)

Истрорумынский диалект, один из трёх южнодунайских румынских идиомов, который оторвался от румынского языка в XIV-ом веке, позже чем арумынский и мегленорумынский диалекты. Он находился в течение столетий под сильным влиянием нескольких языков: хорватского, словенского и итальянского (истриото-венетского), а в период австрийской администрации – и под влиянием немецкого языка. Об этом многоязычном активном влиянии свидетельствуют многочисленные лексические заимствования из этих языков¹.

Истрорумыны или «западные румыны», как их называл знаменитый румынский учёный Секстил Пушкарю², известны в румынской и зарубежной историографии также под названием “румери” (< *rumeini*, с ротацизмом), “чичи”³, “чирибири”⁴ или “истровлахи”⁵.

Сегодняшние истрорумыны – их не больше нескольких сотен человек – живут в двух группах: на севере Истрии, в Чичарии, в селе Жеяне, где они составляют компактную своеобразную языковую общность, и на юге, у подножья Учкой горы (*Monte Maggiore*), в селе Сушневице, а также в нескольких малонаселённых южно-истрийских посёлках на долине реки Раша, недалеко от Сушневицы.

На эти разновидности (говоры) истрорумынского диалекта ярче всего оказалось, особенно в последнем столетии, влияние хорватского языка в его стандартной форме, как и влияние соседних истрорумынских хорватских местных говоров чакавского типа⁶.

Несмотря на это, в истрорумынском диалекте, особенно в жеянском, более консервативном, говоре, сохранились старые румынские морфосинтаксические формы, а также старый основной словарный фонд, так как жеянцы более отдалены от главных магистралей. В селе Сушневице, например, которое расположено недалеко от магистрали Пазин – Лабин – Риека, в меньшей мере сохранились в говоре архаичные структуры румынского происхождения под сильным и долговременным влиянием итальянского и хорватского языков.

В данной работе синтетически представлены основные тенденции, которые проявляются сегодня в рассмотренном идиоме, как на уровне его лексико-грамматической системы (1), так и на уровне спонтанной живой речи истрорумын, виды проявления билингвизма и его последствия (2).

Прежде всего надо подчеркнуть, что основной характеристикой актуальной тенденцией истрорумынского диалекта является

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

интенсификация его дивергентной эволюции по отношению к дакорумынскому (современному румынскому языку) и к другим южнодунайским румынским диалектам.

(1) Анализ большого числа текстов, которые мы зарегистрировали в последних двух десятилетиях (1982-2000 гг.) в упомянутых двух хорватских местностях и которые частично были опубликованы в нашей книге *Dialectul istororomân. Texte și glosar*⁷, подтверждает наше убеждение в том, что влияние хорватского языка, в его чакавской и стандартной разновидностях, на истрорумынские говоры, оказалось на всех уровнях диалекта, даже в морфосинтаксисе, в этой наиболее консервативной области любого языка. Диалектальный материал, разработанный в указанной книге, представляет собой богатый источник иллюстративных примеров и надёжную основу для аргументации теоретических положений о сегодняшнем состоянии диалекта.⁸

Наш истрорумынский глоссарий⁸ содержит 2520 слов, из которых больше 50% являются хорватскими заимствованиями, а 16% словарных единиц – хорватского или словенского происхождения⁹.

Кроме этого, в нашем глоссарии 3% единиц – исключительно словенского происхождения, 4,7% – итальянского происхождения, а 3,5% слов являются старыми славянскими заимствованиями, унаследованными из прарумынского языка¹⁰.

Слова латинского происхождения, унаследованные из прарумынского языка, составляют только 25%, зато они являются более значительными, чем хорватские заимствования, так как они относятся к основному лексическому фонду диалекта, в то время как хорватские и другие заимствования относятся к массе вокабуларя. С другой стороны, их частотность в текстах гораздо большая, на что указывает и хорватский языковед Август Ковачес¹¹.

Что касается немецких заимствований (5% единиц нашего глоссария), во многих случаях трудно установить через посредство какого языка – хорватского или словенского – проники в диалект, так как такие слова в одинаковой мере принадлежат лексике обоих языков. Кроме этого, большинство германизмов свойствены и некоторым банатским говорам румынского языка. Мы считаем, что такие слова были унаследованы из более старых лексических пластов дако-румынского диалекта, или были заимствованы из словенского языка, имея в виду их словенские фонетические характеристики, или же проникли прямо из немецкого языка во время австрийской администрации в Истрии.

Другие заимствования (из болгарского, греческого и других языков), как и исконно румынские единицы автохтонного фонда (общие с албанским языком, типа *râンza*, *zer*, *ra a*), а также лексические единицы с неясной этимологией, занимают в нашем глоссарии незначительное место.

Относительно словарного состава исследуемого диалекта наблюдаются некоторые типичные тенденции. Кроме значительного увеличения числа актуальных заимствований из официального хорватского языка, в рассмотренном диалекте наблюдаются лексические единицы со смешанной

структурой, образованные в результате так называемой межъязыковой контаминации, типа: *zmuntita* “сумасшедшая” (*Zmuntita-s și io*, “Я тоже сумасшедшая” – *Mila lu Tuhton*, 49 лет) < причастие от глагола *zmunti* < ст. сл. *СЪМЕСТИ* или хrv. *smutiti*;ср. рум. *sminti*);

- *scoara* «кора» < слов. *skorja* + хrv. *кора* или лат. *scortea* + хrv. *кора*;
- *sfriji* «печь» < лат. *frigere* + хrv. *i/spržiti*;
- *ramer* «плечо» < хrv. *rame* + *umer* (< lat. *humerus*);
- *rozast* «розовый» < ит. *rosa* + хrv. суф. *-ast* (cf. *ružičast*).

Наряду с такими контаминациями, в нашем словаре очень много смешанных глагольных структур, формантами которых являются элементы румынского и хорватского происхождения, типа *zaclide* “закрыть”, *rasclide* “открыть”, *namâncă* “наесться”, *poscula* “разбудить” и др. Очень много таких смешанных структур и среди числительных и наречий. Например: *cândgod* “в любое время” (< рум. *când* < лат. *quando*) + хrv. *- god*); *cotrogod* “куда бы то ни было” (< рум. *încotro*, < лат. *in contra ubi*) + хrv. *- god*); *iuvagod* “везде” (< ир. *Iuva*, < лат.. *hic ubi*) + *-va* (< лат. *volat*) + хrv. *- god*); *câtgod* “сколько-нибудь” (< рум. *cât*, < лат. *quantus*) + хrv. *god*); *petzeč* “пятьдесят” (хrv. *pet* + рум. pl. *zeci*), *mørke* “может быть” (< хrv. *mora* + ир. *ke* < лат. *quod*), *subreg* “под берег” (< ир. *su* < лат. *sub* + хrv. *breg*) и многие другие.

Что касается морфосинтаксиса истрорумынского диалекта, следует отметить, что обнаруживается, с одной стороны, целый ряд общерумынских элементов, хорошо сохранившихся до сих пор, например, старые формы в парадигматике и синтагматике имени существительного, местоимения и глагола. С другой стороны, в наших текстах многие конструкции бывают смешанного типа: они содержат заимствованные славянские элементы, главным образом хорватские, наряду с исконно румынскими (например, глагольные конструкции, имеющие румынскую основу и румынский суффикс инфинитива, а также хорватский префикс, как видовой формант, типа *mânca* – *namâncă* «есть – наесться»), отрыв вспомогательного глагола от полнозначного глагола в составе предикативных конструкций (например, *Åm åpa purtât* «Носил я воды»; *Io åm de mic ramås far de måie și far de çåce* «Я ещё маленький остался без матери и без отца»), предикативные конструкции с прилагательными и наречиями на *-o* (*Iåco-i buro* «Очень хороший», *Če-i de novo?* «Что нового?») и другие, о которых подробно мы говорили в других работах¹³.

Основная тенденция, проявляющаяся в синтаксисе исследуемого диалекта, состоит в увеличении конструкций такого типа в речи сегодняшних истрорумын и даже в полной их замене хорватскими эквивалентами.

(2) Все эти явления, проявляющиеся всё чаще в последнее время в речи носителей данного идиома, представляют собой прямое последствие долговременного их билингвизма.

Проблема билингвизма истрорумын была предметом исследования многих румынских и зарубежных языковедов¹⁴. Их большинство, как

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

известно, высказывали мнение об интенсификации этого сложного социо-психо-лингвистического явления и речи исторумын, владеющих в одинаковой мере как собственным родным идиомом, так и официальным хорватским языком, и пользующихся ими в зависимости от различных обстоятельств совместной жизни с хорватами и от целого ряда социальных факторов¹⁵.

Эту мысль мы неоднократно подчёркивали в выше цитированных наших работах и в докладах на Национальных конференциях по билингвизму (Бухарест, 1995 и 1997 гг. “Linguaraх”), как и недавно в пленуме Международного симпозиума на тему «Исторумынский идиом вчера, сегодня, завтра», состоявшегося в Пуле (Хорватия), 30-31 апреля 2000–ого года.

Это явление активно проявляется в речи сегодняшних исторумын как прямое последствие постепенной потери коммуникационного потенциала идиома, многочисленных межъязыковых интерференций в данном социокультурном контексте. Многие лексические заимствования из хорватского языка, лексико-грамматические кальки и полукальки по модели официального языка и другие подобные языковые факты ведут к значительному сужению сферы использования диалекта в пользу официального языка и предопределяют *асимметрический* характер билингвизма исторумын. Такой тип билингвизма состоит в том, что говорящие, владеющие в одинаковой мере двумя языковыми системами и мыслящие в двух языках, в силу своих жизненных потребностей чаще всего прибегают к официальному языку, чем к своему родному идиому, «отвыкаясь» общаться на нём¹⁶.

В речи сегодняшних исторумын, в этом смысле, можно выделять контекстуальные «колебания» двух типов, которые сигнализируют о распространении отдельных форм такого вида билингвизма: **(a) межъязыковая итеративная синонимия и (б) контекстуальная индукция аллоглотных единиц** на уровне высказывания.

(a) *Межъязыковая синонимическая итерация* в исторумынских текстах является явным выражением двуязычного поведения говорящих. Это явление состоит в повторении, по различным социо-психолингвистическим причинам, эквивалентных лексем языков А (родного) и Б (официального) для обозначения одного и того же понятия в одном и том же высказывании. Данные аллоглотные синонимические единицы выполняют в соответствующих контекстах известные функции синонимов: уточнения или экспрессивного разнообразия речи. Например;

Atunče dupa pârva oste, pârvi svetski rat? N-å fost bire. (Sanković Ana, 81 лет, Жеяне); Pac åv zis ke s-åu mestecât cêle oi, ke s-åu spoît scupa. (Sanković Carmelo, 62 лет, Ж.); N-åm nego četârtina de-a mev jeludeł, stumig. (Marmelić Maria, 73 лет, Ж.).

Иногда переход от единиц одного языка к единицам другого языка происходит постепенно через синтагмы смешанного типа, например:

Âu stara târcva, stara besereca, betâra besereca facut. «Построили новую церковь». (Sanković Mâte, 82 лет, Ж.).

(6) Другое явление, свойственное спонтанной речи истрорумын, это так называемая **«контекстуальная индукция»** языковых единиц, при которой преобладают элементы языка А или языка Б в зависимости от структуры синтаксических конструкций. Так например, в конструкциях с хорватскими коррелятивами ne samo - nego, преимущественно используются хорватские лексические единицы, хотя истрорумынская лексическая система обладает своими соответствующими единицами. Ср. Ne samo io, nego *vise l'udi*. «Не только я, но и другие люди» (Ср.-и-рум. omir «люди»). Другой пример: Ko da sām tu rogeni brat. «Как бы я ему родной брат» (ср. и-рум. frâte).

Такие лексические колебания в речи истрорумын объясняются их интенцией быть хорошо понятыми в общении с чужими лицами. Однако в таких текстах заметно желание лиц различного возраста чётко подчёркивать оттенки в значении и в использовании данных слов-дублетов. Это выявляет наличие языкового сознания у говорящих лиц, владеющих двумя кодовыми видами общения и осознающих, в то же время, разнообразие pragматических их потребностей общения в зависимости от определённого ситуативного контекста.

Однако следует подчеркнуть, что процесс этого «языкового смешивания» (т.е. быстрого, иногда незаметного, перехода от одного языкового кода к другому, более удобному и более легкому для выражения мыслей в той или иной речевой ситуации) естественно не ведёт к появлению «нового смешанного языка»¹⁷, в результате «хорватизации» истрорумынского диалекта в структурном плане, а ведёт к тому, что члены настоящих и будущих поколений данной языковой общности отказываются от своего родного идиома, угрожённый потерять свою главную роль – функцию общения.

И на самом деле частое использование иногда целых аллоглотных синонимических рядов предвещает ослабление языковой компетенции говорящих на своём родном языке. Поэтому возникает необходимость реализации равновесия, относительно двуязычной компетенции членов небольших этнических общностей, посредством культурных мероприятий охранения и подкрепления обеих языковых систем. А это возможно, в нашем случае, только в результате постоянного и настойчивого проведения соответствующей совместной культурной политики хорватскими и румынскими властями.

Исследования в связи с билингвизмом истрорумын и, вообще, с их судьбой, оказываются злободневными особенно сегодня, когда некоторые зарубежные языковеды или этнологи, пренебрегают очевидные языковые факты и историческую правду, самую реальную действительность, а именно тот факт, что сегодняшний истрорумынский идиом представляет собой настоящий **живой музей румынского языка**, отражающий своими основными лексико-грамматическими категориями древнейшее состояние прарумынского языка. Они отрицают румынскую субстанцию данного диалекта, его содержательность и ставят под вопросительный знак даже существование **билингвизма** у носителей идиома. Так, например,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

хорватский исследователь Йосип Миличевич в своей статье *Postoje li istrorumunji? «Существуют ли истрорумыны?»* опровергает любое теоретическое положение, поддерживающее языковую системную организацию истрорумынских говоров. Он считает, что даже этоним *истрорумыны* не соответствует исторической правде и предлагает другой – *истровлахи*, вполне соответствующий «своей правде», согласно которой истровлахи по происхождению из *Динарских гор (!?)* и не находились в контакту с румынами¹⁸.

Не менее удивительными оказываются теории некоторых исследователей, которые в своём намерении вскрывать генезис хорватского языка, прибегают к различным «оригинальным аргументам», недопускаемых с научной точки зрения, хотя бы относительно истрорумынского идиома. В своих поисках в области праистории ссылаются и на утверждения И. Миличевича. По их мнению, «чирибирский» идиом не является диалектом общерумынского языка, а прастарым языком, который имеет свои начала укоренены в глубокую древность доиранской цивилизации Малой Азии. Вопреки тому, что они не располагают ни одним осноновательным языковым доказательством, всё же категорически утверждают в самом заглавии своей статьи, что «жсянцы – прахорваты, а не румыны»¹⁹, и дальше в тексте статьи – «Жсянцы – это последние живые потомки доиранских прахорватов». «Аргументы», приведенные авторами в поддержке такого чудного вывода, являются не менее удивительными, вводя нас в мир асирских и месопотамских легенд. По их мнению, в глубокой древности «чирибирский» идиом составлял вместе с двумя другими прахорватскими говорами реликтную диасистему античных прадиалектов, происходящих «из нашей иранской прародины в Малой Азии». «Чирибирский в Истрии – пишут авторы – наши последние остатки праславянского, ранохорватского прайзыка».

В таком случае естественно возникает вопрос «Чем объясняются многочисленные структурные сходства этого идиома с румынским языком?» На такой вопрос возможны только два ответа: или (а) чирибирский говор и румынский язык восходят к общей прарумынской основе латинского происхождения (будучи романские идиомы с фракийским субстратом), располагая общими исконно-румынскими особенностями морфосинтаксической структуры и общим основным словарным фондом, что давно было основательно доказано румынскими и зарубежными лингвистами, или же (б) и румынский язык генетически связан с античными прадиалектами Малой Азии и в течение тысячелетий подвергался самым различным преобразованиям: иранизации, славянанизированию, романизированию и т.п., что пока трудно доказывать.

Хотя мы в принципе вполне согласны с авторами насчёт необходимости охранения реликтных языковых общностей с их старинными традициями и культурными ценностями, ни в коем случае не можем соглашаться с их теорией о происхождении истрорумын и их идиома.

В прямой противоположности с выше цитированными авторами, целый

ряд выдающихся зарубежных и румынских лингвистов, как, например, Август Ковачец, Зоран Филипи, Елена Слэрэтою и другие исследователи²⁰, с большим интересом и вниманием, основываясь на конкретных релевантных языковых фактах, определяют этно-лингвистический статус сегодняшних истроверумын, согласно объективным научным требованиям. Такие исследования оказываются ценными особенно в наши дни, в контексте сегодняшней Европы, с её открытой политикой учитывать и поддерживать желания и стремления любой этнической и языковой общности, несмотря на её величину, имея в виду, что её ценности, созданные в протяжении веков, представляют собой своеобразный памятник и драгоценный вклад в общее культурное европейское сокровище.

ССЫЛКИ

1 См. наши работы *Interferențe româno-slave în lexicul istroromân actual*, в “Romanoslavica” (Rsl), XXIX, București, 1992, c. 227-240; Present-Day Tendencies in the Morpho-Syntax of Istro-Romanian Dialect, “Linguistica”, XXXI, Ljubljana, 1991, c. 141-151; Observations sur le lexique istroroumain actuel, “Linguistica”, XXXIV, 2, Ljubljana, 1994, c. 73-80.

2 См. Sextil Pușcariu, Studii istroromâne, în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici și A. Byhan, vol. II, București, 1926. См. подробнее о данном диалекте следующие работы: Fr. Miklošič, Rumänische Untersuchungen, I, Istro- und Makedo- rumänische Sprachdenkmäler; II. Istro-rumänische Denkmäler, Wien, 1881-1882; Ion Maiorescu, *Itinerar în Istria și vocabular istriano-român*, București, 1874 (ediția a doua, București, 1900); Iosif Popovici, Dialectele române din Istria, vol. I, Halle a.d. Saale, 1914; vol. II, 1909; Ovid Densusianu, Istoria limbii române, București, vol. I, Originile, 1961; Emil Petrovici, Elementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii române, “Cercetări de lingvistică”, XII, 1967, nr. 1; A. Kováčec, Descrierea istroromânei actuale, București, 1971. (См. и главу *Istroromâna, Tratatul de dialectologie românească*, Craiova, 1984, с. 550 и след.).

3 От хор. *ćica* «дядя»; данный этоним обозначает руководительного лица, вождя, князя, или может происходить от имени истрийского феодала влашского рода Pascalus Chichio, на имении которого работали праотцы сегодняшних истроверумын.

4 Этот этоним, по мнению некоторых лингвистов, отражает одну фонетическую особенность диалекта, а именно *româcism*: *ćire* (рум. *cine*) «кто»+*bire* (рум. *bine*) «хорошо». Мы же считаем, что происходит от турецк. *seri berî* «защитник границы», так как известно из истории, что «влахи – войники», организованные в «катунах», как защитники сербских границ, часто воевали с турками, пользуясь, поэтому, «влашским правом» со стороны сербских королей (напр., во времени Уроша III). См. Sextil Pușcariu, *çut. rab.*, с. 9; Silviu Dragomir, *Vlahii din Serbia în secolele XII – XV*, „Anuarul Institutului de Istorie Universală din Cluj”, I (1922), с. 279 – 299; *Vlahii și Morlacii*, „Publicațiile Institutului de Istorie Universală”, Cluj, 1924; тот же, *Originea coloniilor române din Istria* (Academia Română, Secția Istorie, Серия III, том. II, мем. 4), București, 1924; тот же, *Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul mediu*, București, 1959; Anton Kovaz, Dei Rimigliani

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

o Vlahi d'Istria, "L'Istria", 1-2, Trieste, 1946; Giuseppe Vassilich, Sui rumeri dell'Istria. Loro sedi. Quando e donde vennero (Riassunto storico-bibliografico), Gabinetto di Minerva, Nuova Serie, vol. XXII, 1899-1900, fascicolo primo, Trieste, 1900, c. 157-236.

5 См. Iosip Miličević, *Istrovlasi ili čiribirci*, «Jadranski zbornik», 13, Pula – Rjeka, 1989, с. 301 – 302.

6 См. нашу работу *Морфосинтаксические структуры славянского типа в современном истрорумынском диалекте* (доклад на Международном съезде славистов в Братиславе, 1993), опубликованную в Rsl, XXX, București, 1992, с. 137-151.

7 Timișoara, Ed. Amarcord, 1998 (в сотрудничестве с В. Фрацилэ).

8 См. Glosar, с. 186-306, в вышеуказанной нашей книге.

9 В связи с этими заимствованиями возникает вопрос отграничения хорватских и словенских лексических элементов в диалекте, так как данные слова по своей форме и по своему значению имею параллели как в хорватском, так и в словенском языке.

10 См. Г. Михайлэ, *Împrumuturi vechi slave, comune daco-românei și istro-românei*, "Studii și cercetări lingvistice", XXXIV, 1983, nr. 1, с. 43-53.

11 А. Ковачец, на основе *появлений* слов в текстах, составляющих корпус своего *истрорумынско-хорватского словаря*, приходит к выводу, что слова, унаследованные из прарумынского языка, составляют важнейшую словарную массу истрорумынских текстов, записанных им, в то время как иностранные (нерумынские элементы: славянские, особенно хорватские, итальянские и др.), несмотря на их большое число, часто имеют периферийную значимость. См. *Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (s gramatikom i tekstovima)*, Pola, 1998, с. 306.

12 См. нашу работу *Морфосинтаксические структуры в глагольной системе истрорумынского диалекта. Влияние хорватского языка*, Rsl, XXXV, București, 1997, с. 57-71.

13 См. нашу работу, цитированную в сноске 6.

14 См., например, Sextil Pușcariu, *cum. rab.*, passim.; E. Petrovici, P. Neiescu, *Persistența insulelor lingvistice. Cercetări făcute cu prilejul unor anește dialectale la istroromâni, meglenoromâni și aromâni*, «Cercetări de lingvistică», IX, no. 2, Cluj, 1964, с. 187-214; Radu Flora, *Câteva observații cu privire la bilingvismul manifestat în graiurile istroromâne*, «Actele celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romană», II, București, 1971, с. 1009-1022; August Kovačec, *Iezik istarskih «Rumunja»*, в сб. «Analiza istrske in mediteranske študije», 6/95, Series historia et sociologia, 2, Koper, 1995, с. 65-74.

15 См. подробно об этом в нашей работе *Aspecte ale interferenței de coduri în istroromâna actuală*, в сб. «Relații interdisciplinare ale lingvisticii aplicate», Cluj-Napoca, 1989, с. 238-241.

16 В отличие от «асимметрического», «симметрический» билингвизм – идеальная форма этого явления, которая предполагает: использование в одинаковой мере двух «кодов», родного и неродного, способность говорящих производить и понимать высказывания в обоих языках, языковое сознание говорящих, что владеют обоими языковыми системами как средствами общения. См. Об этом нашу работу *Recurența sinonimică la vorbitorii bilingvi*, в сб. *Relații interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul al XVIII-lea până în prezent* (координатор: dr. Hans Gehl și Viorel Ciubotă), Satu Mare – Tübingen, 1999, с. 331-338.

17 См. I. Coteanu, *Cum dispără o limbă (Istroromâna)*, București, 1954.

18 Iosip Miličević, *Postoje li istrorumunji?* "Annales, Analiza istrske in mediteranske študije", 6/95, Series historia et sociologia, 2, Koper, 1995, с. 99.

ROMANOSLAVICA 38

19 Prof. dr. Ivan Biondič, dr. A.Ž. Lovrić, dr. Stjepan Murgić, dr. Mladen Rac, Žejanci su prahrvati, a ne Rumunji, “Glas Istre”, 9 октјобра, 2000 г., с. 19.

20 См., например, в том же журнале “Annales, Analı za istrske in mediteranske studije”, 6/’95, Series historia et sociologia, 2, Koper, 1995; August Kovačec, Iezik istarskih “Rumunija”, c. 65-74; тот же, Hrvatski i talijanski uticaji u istrorumunjskoj gramatici, c. 89-97; Goran Filipi, Itrska ornitonimia: pticja imena v istrorumunskih govorih, c. 77-88; Srdja Orbanić, Status attuale delle comunità istroromene, p.57-64; Ervino Curtis, La lingua, la storia, le tradizioni degli istroromeni, в сборнике L’Istroromeno. La lingua, la cultura, la storia. Parliamone per salvarlo, Trieste, 1996, с. 6-12; Fulvio Di Gregorio, Alcune note storiche sugli istroromeni, в том же сборнике L’Istroromeno..., c. 20-24; Dario Marušić, Le tradizioni musicali dei rumeri, в том же сборнике L’Istroromeno..., p. 14-19.

Cf. și Elena Scărătoiu, Istroromâni și istroromâna. *Relațiile lingvistice cu slavii de sud*, București, 1998.

**Молдавская антропонимия славянского происхождения
(конец XVIII – начало XIX вв.)**

Юстина Бурч (Iustina Burci)

„Взаимовлияния между языками соседних народов являются этнической необходимостью, и их последствия имеют очень большое значение для истории прогресса народов”, - сказал известный румынский лингвист и фольклорист Лазэр Шэиняну (1859-1934). Часто заимствуется заодно с чужим словом и соответствующее ему понятие и тогда „отбор и классификация этих экзотических элементов могут дать ценную информацию о культурных явлениях, пришедших извне”¹.

Историческое изучение языка доказывает, что за свою эволюцию язык усвоил и адаптировал многочисленные иностранные элементы и это явление заимствования (по лингвистическим и экстралингвистическим причинам) постоянно проявляется. Часто отмечалось, что во все времена мода играла значительную роль в восприятии этих заимствований, главным образом господствующими классами. Но проблема оказывается более сложной, ибо здесь идёт речь и об определённой степени духовной совместности народов, которые входят в контакт. Эта совместность привела к тому, что пришедшие в язык новые элементы укоренились или нет, „прижились” только в одних разделах языка, в отличие от других. Так, например, в то время как в румынском языке турецкие элементы определяют обычно материальную сферу и связаны, кроме политики и военного искусства, с домашним миром, с одеждой, едой, торговлей, промышленностью, то греческий язык и, в особенности, книжнославянский язык проявляют себя главным образом в интимных (если можно так выразиться) областях румынской духовности – в религиозной и интеллектуальной жизни.

Наличие славянских элементов в румынском языке является результатом продолжительной стратификации. „К древнему славянскому пласту, общему для нас, для болгар и сербо-хорватов, прибавился другой в эпоху использования старославянского языка в канцеляриях и в церкви...: один в Валахии – южнославянского происхождения, другой, связанный с украинским влиянием, (...) особенно в Молдавии и в Марамуреше”².

Молдавский край имел в определённое время прямой контакт с русским и украинским языками, и следы этого сильного влияния заметны и сегодня на антропономическом уровне.

Интенсивность этого влияния привела к тому, что в некоторых случаях „славянские элементы так сильно укоренились у нас, что и после того как некоторые имена стали забываться самими славянами, они были опять взяты от румын”³.

В катаграфиях, составленных в фискальных целях, для Молдавии⁴ и города Ясс⁵ в конце XVIII и начала XIX века, постоянно отмечается присутствие славянского населения (особенно русского) в этом крае.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Даже ранние документы доказывают их существование в Молдавии. В Яссах, одной из движущих сил, которая способствовала развитию города, можно назвать и раннее присутствие иностранных ремесленников и купцов, так как „будучи таким значительным торговым городом, его население было очень смешанным”⁶. Власти были постоянно заинтересованы в том, чтобы привлекать всё больше иностранных торговцев, предоставляя им разные льготы, так как они развёртывали более широкую торговую деятельность по сравнению с румынскими торговцами (ибо действовали и за границей), и, таким образом, способствовали процветанию города⁷. Наряду с армянами, саксами, евреями, греками и др., русские, и в меньшем числе поляки, сербы и болгары постоянно упоминаются среди этих торговцев и ремесленников.

Начиная с последних десятилетий XVI века, но особенно в XVII и XVIII веках, коллонисты славянского происхождения являются уже составляющей частью населения города Ясс: многие из них окончательно тут поселились. Они жили в определённых частях города, где ещё с тех пор улицы назывались Армянской, Венгерской, Русской.

Катаграфия судитов⁸ в Молдавии⁹ отметила в 1824-1825 годах 2282 судита (главы семьи). Из них 1005 проживали в Яссах: 432 еврея, 115 русских, 75 молдован, 54 немца, 51 армянин, 50 поляков, 49 греков, 47 пруссаков, 28 сербов, 25 французов, 21 венгр, 14 румын, 13 русских-липован, 10 итальянцев, 4 болгар, 4 саксонца, 3 швейцарца, 3 трансильванца, 2 буковинца, 1 немецо-француз, 1 брашовянец (житель города Брашова), 1 датчанин, 1 армяно-поляк, 1 греко-молдованин. Надо сказать, что некоторые категории судитов накладываются – частично или в целом – одна на другую: например „румыны” – это значит брашовянецы, т.е. их можно отнести и к трансильванцам.

Так как иностранцы проживают вместе с местным населением, со временем будет происходить двунаправленный обмен элементами на лингвистическом уровне, особенно атропонимическом, ибо об этом идёт речь.

С одной стороны, большое число этих иностранцев – мы имеем в виду славян – было ассимилировано румынским населением, что отражалось и на именах, которые они носили. Очень часто, только указание – русский, болгар или поляк, следующего после румынскому имени, информирует нас о национальности его носителя¹⁰: Иоан Ионел, русский; Йордаке чеботарь¹¹, русский; Тоадер Дэнилэ, серб; Василе Ботезату, поляк¹² и др. Но и в этом случае, хотя называют их „судитами”, даже власти колебаются в том, считать ли их иностранцами или нет. Так, например, в указанной катаграфии 1824-1825 гг. содержатся настоящие „биографические карточки” судитов, в которых встречаются такие пометки: „Не может быть судитом, раз он женат на румынке, является хозяином дома, и живёт уже долгое время в Молдавии, не возвращаясь в свою страну”.

Смешанные браки являются одним из факторов, которые привели, от случая к случаю, или к принятию местных имён и фамилий, или к сохранению традиционных имён и фамилий коллонистов. Наряду с ними,

другим фактором являются изменения имён благодаря переходу лиц к другой религии, через крещение в православную веру: „Константина и Петра – липованов, мы учили катехезису, догмам нашей православной веры и помазали их Святым Миром, называя Константина Григорием, а Петра Василием”¹³.

С другой стороны, список румынских имён и фамилий содержит значительное число славянских антропонимов или антропонимов, образованных со славянскими суффиксами. Даже более того, румынская аналитическая формула деноминации (употребляемая до начала XX века) образуется по славянскому образцу¹⁴ и с помощью заимствованных славянских элементов, выражающих степень родства: sin (сын), brat (брать), zet (зять), vnic (внук): Andrei sin Robusciuc, Arion sin Jalobă, Marcu sin Velciu, Matei sin Fedco, Mihai sin Vlaicu, Neculai sin Gavril Covrig, Vârlan sin Lateş, Lefter brat Gavril, Lupul brat Niculai, Ilie brat văcar (пастух коров), Apostol brat Mardarie Vasâli, Pricopi zet Gliga, Lupu zet Răuțu, Luchian zet Irimia, Ștefan zet Nisip, Ivan zet pânzariul (продавец полотна), Andreeş zet Cucul, Ivan vnic Mitroi, Dinu vnic Iureş.

Первые три термина (sin, brat, zet) остались до сих пор в ходу как фамилии и имеют следующую частоту в сегодняшней Румынии: Sin – 1.171, Brat – 21.195, Zet – 569¹⁵.

Наличие славянской системы деноминации и славянских имён в румынском ономастиконе предполагает их обязательное диахроническое исследование. И. Пэтруц указал в своём труде Румынская ономастика¹⁶, что нельзя точно установить, каким образом вошли эти имена в румынский язык: либо как последствие тесных контактов румын и славян, либо как последствие многовекового использования книжнославянского языка в церкви, администрации и в дипломатии румынских княжеств.

Независимо от обстоятельств, при которых пришли к нам эти имена, неоспорим тот факт, что они часто упоминаются в катаграфиях конца XVIII и начала XIX века и что их носили не только лица славянского происхождения, но и румыны. Многие из них существовали как „фамилии” или в славянской форме, или в форме, адаптированной румынскому фонетизму: Andrei Krujoc (Андрей Кружок), Ion sin Peredaci (Ион син Передач), Vasile Nescoro (Василе Нескоро), Tănăsă Slivciuc (Тэнасэ Сливчук), Vasile Melnic (Василе Мелник), Ivan Colesnic (Иван Колесник), Petre Tverdic (Петре Твардик), Grigoraş Sliva (Григораш Слива), Iachim Teplari (Яким Тепларь), Lupul Sotnic (Лупул Сотник), Ioniţă Pripadoc (Ионицэ Припадок), Vasile Juravle (Василе Журавле), Ioniţă Popâtcă (Ионицэ Попыткэ), Toader Cnigă (Тоадер Книгэ), Dănilă Sotnicu (Дэнилэ Сотнику), Vasâle Cireşne (Василе Чирешне), Lupul Zaeţi (Лупул Заец), Mihai Zaeť (Михай Заец), Andrei Scripnic (Андреи Скрипник), Macsim Volcineţ (Максим Волчинец), Ivan Baranciuc (Иван Баранчук), Costandin Ptaşnic (Костандин Пташник), Stanislav Starečki (Станислав Старецки), Gaşpar Lugovski (Гашпар Луговски), Toma Leşcinski (Тома Лещински), Anastasă Gribenski (Анастасэ Грибенски), Costandin Tihonov (Костандин Тихонов) и т.д.

Славянские суффиксы часто употребляются в этот период и они легко присоединяются к разным основам, происходящим от нарицательных и

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

собственных имён существительных. Вот несколько примеров, в которых суффикс -ciuc (-чук) присоединён к очень разным основам: Negriciuc, Erbăciuc, Lăzărciuc, Prisăcărciuc, Văcărciuc, Blidarchiuc, Romanciuc, Cușmirciuc, Petreciuc, Grigoreciuc, Sărăciuc, Tătărciuc, Năstăciuc, Onciuc, Badiciuc, Macsimciuc, Andreiciuc, Vorniciuc, Luchianciuc, Pinteleiciuc, Tiganciuc, Lopăciuc, Năzărciuc, Sficiuc, Minciuc, Jitarcu, Chirilciuc, Găinciu, Androniciuc.

После 1800 года, благодаря русскому влиянию, молдавский антропонимический пейзаж „обогащается” всё большим числом фамилий, образованных славянскими суффиксами -ов (-ов), -ев (-ев), -ovici (-ович), -evici (-евич). Чаще всего встречается суффикс -ovici (-ович). Обычно имена, к которым он присоединяется являются славянскими, но продуктивность данного суффикса доказывается и тем, что он присоединяется и к румынским основам: Албович, Барбулович, Диаконович, Сандалович, Чуперкович, Темпович, Лупович, Янкулович, Буникович и т.д. Эволюции этого суффикса, преимущественно указывающего на отчество (фамилию), способствовал, кроме других экстралингвистических факторов, и тот факт, что его значение тождественно румынскому – escu (–еску), который выражает также родство.

Часто бывали и такие случаи, когда румыны намеренно добавляли к своим именам „модные окончания”, чтобы не упоминалось их простое происхождение или чтобы фамилия указывала на иностранное происхождение. В Молдавской родословной книге¹⁷ встречаются многочисленные примеры таких фамилий: „Чуперкович – молдованин из города Тыргу-Фрумос (...) постыдился своего прадедовского прозвища Чуперкэ (Гриб) и приkleил к молдавскому прозвищу сербский -ович, чтобы обмануть тех, кто его не знает, что принадлежит какой-то славянской дворянской семье”.

Территориальное распространение всех этих суффиксов является в период, о котором идёт речь, очень широким и поддерживается некоторыми конъюнктурными факторами, а именно географическим положением нашей страны и политическими отношениями с соседними славянскими странами. Со временем частота употребления славянских суффиксов в образовании румынских фамилий снижается.

Причинами, которые привели к процессу выхода из нормы славянских имён и фамилий или которые способствовали ему, были, во-первых, ассимиляция славян, во-вторых, использование румынского языка в церкви и администрации и Закон о правильной форме фамилий и имён, принятый в 1895 году.

То, что славянские фамилии стали выходить из моды объяснялось ещё одной причиной: почти все суффиксы, образующие такие фамилии, действовали только в антропонимии, не затрагивая общую лексику¹⁸.

В настоящее время фамилии с суффиксом -ович в Яссах (и вообще в Молдавии) встречаются в небольшом количестве. Вот несколько примеров¹⁹: Adamovici 146/13, Alexandrovici 118/1, Andronovici 59/19, Bogdanovici 249/2, Ciobanovici 5/1, Constantinovici 300/12, Danilovici 31/7,

Diaconovici 72/8, Dinovici 74/1, Dobrovici 115/16, Enacovici 21/2, Fedorovici 168/14, Filipovici 314/8, Gavrilovici 765/35, Grigorovici 425/86, Iacovici 230/1, Ianovici 599/33, Iftimovici 146/5, Ioanovici 825/2, Irimovici 39/7, Ivanovici 1723/69, Lazarovici 519/69, Lupovici 41/3, Mironovici 75/5, Marcovici 1273/68, Martinovici 447/13, Maximovici 108/4, Mihailovici 579/24, Moscovici 214/12, Nichitovici 64/7, Pascovici 113/3, Petrovici 4489/201, Popovici 23833/1843, Procopovici 76/5, Pucicovici 32/15, Radovici 681/30, Sandovici 228/18, Silvestrovici 22/1, Siminovici 19/4, Simionovici 267/69, Simovici 129/3, Stefanovici 386/120, Stoianovici 1047/14, Teodorovici 633/47, Tomovici 129/2, Tratatovici 2/2, Tudorovici 38/1, Urbanovici 74/15, Vasilovici 516/22, Vlahovici 10/3, Voinovici 128/1.

Исследование состава и структуры румынского ономастикона обязательно предполагает и этимологический анализ имён; но это не всегда легко осуществить, ибо момент возникновения, а также „расшифровка” происхождения некоторых антропонимов теряются во времени. Каждое влияние, проявившееся в антропонимии, будь оно турецким, греческим, славянским, французским, в свою очередь, оставило след на нашей антропонимике, которая по своей сути осталась румынской. Известный лингвист Йоргу Йордан отметил, кстати, „редкую способность румын ассимилировать иностранцев через язык и через культуру...”²⁰.

Примечания

1. Lazăr Șăineanu, *Influența orientală asupra limbei și culturii române*, București, 1900, p. XXXVII.
2. N.A. Constantinescu, *Dicționar onomastic românesc*, București, 1963, p. XXI.
3. Șt. Pașca, *Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului*, București, 1936, p. 36.
4. Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea I-II, Recensăminte populației Moldovei în anii 1772-1773 și 1774, Academia de Științe a Republicii Moldovenești, Institutul de Istorie, Editura Știință, Chișinău, 1975.
5. Catagrafile au fost publicate de Ioan Caproșu și Mihai Răzvan Ungureanu, в Documente statistice privitoare la orașul Iași, Editura Univ. “Al. I. Cuza”, Iași, 1997.
6. N. Iorga, *Istoria românilor prin călători*, București, 1921, p. 224.
7. Dan Bădărău, Ioan Caproșu, *Iașii vechilor zidiri*, Junimea, 1974, p. 74.
8. Судит – житель в румынских княжествах, находившийся под защитой другой державы, что давало ему право на специальную юрисдикцию, на некоторые фискальные льготы, которыми не пользовалось местное население.
9. Catagrafia sudiștilor din Moldova se regăsește în Ioan Caproșu, Mihai Ungureanu, op. cit.
10. Нередко, когда речь идёт о людях, носящих такие детерминанты, как: rus(u) (русский), sârb(u) (серб), bulgar(u) (болгар), leah(u) (поляк), требуется большая осторожность в утверждении того, что они являются на самом деле славянского происхождения. Это могут быть прозвища, часто отражающие связи (пусть и косвенные), которые данные лица имели с соответствующими этническими группами.
11. Многие из ремёсел, которыми занимались лица славянского происхождения, стали потом фамилиями, и, таким образом, исчезал любой показатель этнического

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

происхождения их носителей.

12. Ion chetraru, rus; Dămian stoleru, rus; Petre Giurgiu, rus; Toader Bărdan, rus; Petre Dămian, bulgar; Costandin Enachi, sărbu; Costandin Antoniu, sărb; Ioan Ciorneiu, leah etc.

13. Condică pentru botezații carii din alte religii au vinit la pravoslavnica credință, в Ioan Caproșu, Mihai Răzvan Ungureanu, op. cit.

14. В русских документах XV-XVII веков встречаются многочисленные имена типа „петрушка иванов сын”, „федка иванов сын” (В.А. Никонов, География фамилий, Москва, Изд. Наука, 1988, с. 171). Реформа Петра удалила слово „сын”, так как оно считалось лишним и заменила его специфическим для притяжательного местоимения формантом на –ов (-ев).

15. Согласно Базе данных, существующей в архиве Лаборатории ономастики, основанной профессором Г. Болоканом на филологическом факультете Крайовского университета.

16. I. Pătruț, *Onomastica românească*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, p. 26.

17. Constantin Sion, *Arhondologia Moldovei*, Editura Minerva, București, 1973.

18. I. Pătruț, op. cit., p. 28.

19. Первая цифра указывает общее число фамилий в стране, вторая – число фамилий в городе Яссах.

20. Iorgu Iordan, *Dicționar al numelor de familie românești*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 15.

**N. D. Andreev's Proto-Boreal Theory and Its Implications in
Understanding the Central-East and Southeast European
Ethnogenesis: Slavic, Baltic and Thracian**

Sorin Paliga

Introduction

N. D. Andreev's theory, labelled *Proto-Boreal*, surprised – I may say – the scientific world by its large spectrum of linguistic problems: Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Altaic (later he also added Korean) were considered as newer, derived branches from an older linguistic group labelled *Proto-Boreal*. It is also a difficult book as various languages are put together, regularly considered as belonging to different families according to traditional classifications. It is true that the idea of an archaic relationship between Uralic and Indo-European is not new, and was advocated – with notable results – by some linguists, mainly by Karel Oštir (1921) and Bojan Čop (1974, 1975). Their pioneering work would deserve more attention, and Andreev's theory would not thus seem isolated. It reflects, in fact, a long and strenuous effort towards identifying and explaining an archaic relationship among languages usually categorised independently.

It is true that other linguists previously attempted to reconstruct an older phase of what we currently label Indo-European, and also to identify common, archaic roots of Indo-European, Caucazian and Semitic languages (e.g. Delitzsch 1873; Trombetti 1925 – yet Trombetti's analysis should be analysed with care, as he really put forward precious material, just not always reliably analysed). On the other hand, many linguists predominantly tried, and at least partially succeeded, in analysing the Pre-Indo-European roots identified or identifiable in Ancient or Modern languages. I would quote the remarkable studies of the Italian linguists, published – to a large extent – in the *Studi Etruschi* beginning with 1927. Also Ch. Rostaing's *Essai sur la toponymie de la Provence* (1950) and Skok's analysis of the archaic place-names in the Adriatic islands (Skok 1950). The existence of an archaic, Pre-Indo-European stratum cannot be doubted any more (see our studies focused on this topic quoted in the references). This is in full agreement with archaeological studies, which now unanimously report remarkable Neolithic and Chalcolithic civilisations spreading, some time after 7,500 B.C. from Anatolia to Southeast Europe, and hence to Central and Western Europe. These ethno-linguistic groups, disregarding how we may reconstruct such outstanding changes and evolutions (animal domestication, copper and gold processing, larger and larger habitational sites, specific representations of

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

deities, etc.) must have been responsible for the corresponding material culture discovered in thousands archaeological sites; they must be held for surviving in a certain linguistic inventory in Greek, Latin (Etruscan, a non-Indo-European language), and also Thracian, Illyrian, probably also Slavic and Baltic. The analysis of such an archaic heritage cannot be easy, especially in the case of languages without written documents, in fact the usual case: the written documents in the European culture are specific to only the Greeks and Romans, later gradually adopted by the newly emerged linguistic groups in the Early and Mid-Middle Ages. There is no wonder that Chantraine, in the introduction of his *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, plainly assumes that only 40% of the Greek vocabulary admits an Indo-European origin, while other words were borrowed from Semitic and other neighbouring languages; and some 50% must reflect the indigenous, Pre-Indo-European heritage.

On the other hand, Marija Gimbutas is perhaps the archaeologist who provoked the hottest debate in the wake of her articles mainly related to two topics:

1. The ‘Old European’ cultural bloc which, with its Gimbutasian label, is the same as the Pre-Indo-European stratum in the current or previous studies; also labelled “Mediterranean” by some linguists, e.g. Skok 1950; it should be carefully discriminated against Hans Krahe’s *Alteuropäisch* = oldest Indo-European identifiable stratum.

2. The ‘Kurgan’ or Indo-European tradition. Gimbutas opposed the two cultural blocs, and reconstructed a prehistoric tableau, which may be briefly summarised as thus:

a. The Old European cultural groups represented the indigenous Neolithic and Chalcolithic groups, which gradually created an outstanding civilisation in the Aegean and southeast Europe: animal domestication, archaeo-metallurgical skills, religious symbolism, peaceful and matrifocal societies, larger and larger habitational environment, a kind of proto-urban settlements. The Southeast European groups gradually developed a specific tradition, similar – but not identical to – Anatolian tradition. It is assumed that both human expansion and assimilation of civilisational habits played their role in this complex process, so the Neolithic and Chalcolithic groups reflected both an indigenous Upper Palaeolithic-Mesolithic element and a newer, Anatolian and/or Mediterranean element.

b. The Kurgan or Indo-European tradition may be traced back as far as the fifth millennium B.C. in the North Pontic steppes. Unlike their western Old European counterparts, the Indo-Europeans (or Kurgan people) developed a specific ideology of the glorious warrior, domesticated the horse, adopted bronze metallurgy from (seemingly) the Caucasian groups, and began to expand west, north and east in waves. Gimbutas identified three waves of expansion:

4400–4200; 3400–3200, and 3000–2800 B.C. The second and third waves were responsible for the decisive Indo-Europeanisation of a vast Euro-Asian space, but with specific preservations of the Pre-Indo-European heritage. Gimbutas did not speak of a unified, homogene ethno-linguistic groups, but rather a convergent tradition gradually imposed from a presumably limited group, which later conquered various other Mesolithic groups of the Volga-Ural region.

Such a reconstruction is or may be, of course, debatable. But, rarely noticed so far, her theory matches, at least loosely, if not even in details, N. D. Andreev's theory of the Proto-Boreal language. Gimbutas dealed mainly with archaeological data (though she incidentally refers to comparative linguistics as well), whereas Andreev refers to only linguistic material. It is interesting that, despite the common points of their theories, Gimbutas and Andreev never quote each other! We may assume that they had no knowledge of their mutually complementary theories, and that archaeology and linguistics may indeed offer an incentive to interdisciplinary research.

The Proto-Boreal Linguistic Group

Before expanding on Andreev's theory, we may briefly present it as a reconstruction of an older linguistic reality ("Proto-Boreal", hereafter PB), corresponding to an older, Upper Palaeolithic-Mesolithic phase, out of which Proto-Uralic (hereafter PU), Proto-Altaic (hereafter PA), Korean (discussed in two studies published after the publication of his main book) and Proto-Indo-European later developed in the evolution to Mesolithic-Neolithic-Bronze Age. Andreev reconstructs an archaic inventory of 203 roots, and analyses them in the three main derived branches. Andreev's reconstruction remarkably matches, as said above, the Gimbutasian theory, even in details. The common points, as I may identify them, are the following:

1. A vast area of (initially) food-gatherers located in the East-Boreal part of Europe, hence the term Proto-Boreal; it confirms or supports Gimbutas's theory that the Kurgan people were NOT a compact ethno-linguistic group, but rather a vast and large congregation of initially different groups, which gradually gathered together under a common ideology represented by the 'warrior knight', kurgan burials, veneration of the shining sky (Jupiter-Zeus) etc.
2. A gradual expansion; that is what Gimbutas says too, and analysing how the Kurgan (PIE) groups later assimilated Caucasian technologies, mainly arsenic-copper alloy, and perhaps horse domestication, which may be of Trans-Uralian origin.
3. A parallel satem-centum dichotomy, identifiable in not only Indo-

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

European languages, but also in Uralic and Altaic. As an example, Finnish and Estonian (closely related languages of the Fennic-Uralic group, see the Appendix) are of centum type, whereas Hungarian (Ugrian branch of the Uralic group) is of satem type. Altaic languages regularly reflect a process similar to the satem groups.

There are of course other features of the PB reconstruction. We shall try to present them below.

Proto-Boreal Reconstruction

Andreev identifies the following proto-phonemes:

J – sonant

H – velar spirant (usually labelled ‘laryngeal’)

Q – voiced explosive

C – consonant

In a review of Andreev's book, Lucia Wald (*Revue Roumaine de Linguistique*, 33, 2/1988: 119–122) expands on Andreev's terminology by adding or suggesting the following terms:

PB – Proto-Boreal

EA – Early Altaic

EIE – Early Indo-European

EU – Early Uralic

MIE – Middle Indo-European (between EIE and PIE: PB > EIE > MIE > PIE)

PIE – Proto-Indo-European

U-A – Uralic-Altaic

Wald also summarises the basic points of Andreev's theory:

- Very likely PB was a language characterised by an inventory of root-words undivided in parts of speech, the only device of forming new lexemes being the paratactic composition – a status still in existence in EIE.

- A peculiar evolution of Boreal velar spirants whose representatives in EIE have often been described as laryngeals or variations of ∂ (schwa *indogermanicum*); they were preserved – under some conditions – only in Hittite, Tungus-Manchurian and Fenno-Ugrian languages.

Note. We assume that Thracian also had a velar spirant (laryngeal) still preserved in Proto-Romanian, until a historical moment difficult to determine, probably until at least the 6th century A.D. Its traces in (Modern) Romanian is zero, *f/v* and *h*; in Albanian, its counterparts seem to be as in Romanian, sometimes also *th* and *dh* (more in our paper *Ten Theses on Thracian Etymology* in *Studia Thracologica*, Bucharest, XXII, 1–2, 2001).

Andreev convincingly explains the influence of the velar spirants on the IE vowels and sonants. Thus:

- (a) the simple velar spirant $X >$ IE $\check{a}, \bar{a}, \partial$, the long sonants and aspirant occlusion;
- (b) labio-velar spirant $Xw >$ IE \check{o}, \bar{o} ;
- (c) Xy .
 - The three velar series, e.g. $K-R-, Kw-R-, Ky-R-$.
 - The well-known centum-satem distinction is also found in Uralic-Altaic.
 - In EIE the sonants Y and W were only consonants, their vocalic nature being developed much later in inter-consonant position.
 - The PB vowel system was very poor, reduced to a syllabeme with an indefinite tamber variously articulated in accordance with the tamber of the contiguous consonants, a stage preserved also in EIE. In the course of history the vocalic inventory became richer owing to the influence of the velar spirants in the adjacent syllabeme and to the vocalisation of the sonants. In contrast to EIE, in the other two Boreal branches the reduction and vocalisation of the velar spirants occurred much later; some idioms preserve them till now. Instead of the Ablaut, the vowel harmony was established. All Ural-Altaic dialects have preserved clear marks of a syllabeme with positionally conditional tambers.
 - The level of linguistic structure: absence of parts of speech, a scanty inventory of words, which implies an extensive periphery around the semantic nucleus, prevalently concrete nature of protosemes, the systematic character of the vocabulary, the lack of synonymy and therefore a reduced redundancy. On the whole the Boreal protosemes prove to be more archaic and more concrete than the corresponding units in EIE, but closer to those found in U-A languages.
 - The semantic fields of EIE vocabulary (chapter XI):
 - a. denominations of the means of livelihood with the changes from PB (a stage characterised by hunting, fishing and gathering) to EIE (cattle breeding and agriculture).
 - b. names referring to communication and preservation of information;
 - c. labour and tools;
 - d. human relations – several words for female persons, according to their age and social status (girl, female-teenager, mother, daughter, wife), but only one for ‘man’: * $X-N-$ ‘the one who goes ahead’;
 - e. affiliation to a certain tribe and to peaceful or warlike tribal relations;
 - f. clime and earth structure – many terms related to woods, hills, marshes, rivers and a severe climate with only two seasons: winter and spring (glacial age); no trace of words for ‘summer’ and ‘autumn’;
 - The transition from PB to EIE – the last period of the Halocene or Upper Palaeolithic-Mesolithic; geographically the PB area must have been a vast region delimited by the Rhine in the west and the Altai mountains in the east. In the course of time, the three basic linguistic groups derived from PB got gradual contours in the following regions:

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Altai-Urals -> Altaic
Urals-Dnieper -> Uralic
Dnieper-Rhine -> EIE

Note. Gimbutas locates the Kurgan homeland in more southern regions, starting from the assumption that arsenic-copper technology was borrowed from the Caucasian groups. It should be yet remembered that Gimbutas goes as back as the fifth millennium B.C., whereas Andreev reconstruct a linguistic reality prior to this period.

• The right element (root) of a compound changed into a modifier in IE, and then a new classification of themes was created (Benveniste's theory). The last stage was represented by an opposition *r – n*. It is ingenuously explained as a result of the transformation of the EIE main lexical opposition 'things v. inanimate': *RXy > *r(XY)* > *-r(θ)* and 'made or brought for us': *NXw > *N(Xw) > *n(θ). The most remote stage of the IE Ablaut might have been represented by the opposition, with semantic value, between stressed and unstressed syllabemes, reduced to zero, in correlation with the consonantal opposition *w/y* – vocalic opposition, e.g.

*PL-Xw_w- 'marsh' ~ *PL-Xy_w- 'to float' -> *plou- ~ *pleu-

The velar spirants led to the *o and *e degrees, i.e. IE typological evolution from an amorphous to an inflectional evolution. Setting up inflectional morphemes prior to the separation into parts of speech may explain e.g. *-r- as a mark of the objective case of nouns and passive voice of verbs or *-e- as vocative and imperative.

Gradually the following structure was achieved:

- a. vocalic variation as a result of a PB syllabeme with contextual variations;
- b. biconsonant roots;
- c. identification of IE *schwa* with velar spirants;
- d. existence of three velar series in PIE;
- e. a morphological amorphous structure of PB and EIE which annulled grammatical parallelism between PIE and U-A;
- f. a socio-linguistic stage of hunters, fishers and gatherers.

Summing up, the reader may note the originality and accuracy of Andreev's argumentation, even if it may further lead to additional questions and to perplexities. If it were for this reason only, Andreev's theory deserves much more than scattered praises in linguistic journals. It brilliantly concludes a long-term investigation, whose pioneers were – among others – Bojan Čop and Karel Oštir; and also largely expands the possibility of new research based on a rich and exciting material.

The Proto-Boreal Consonant System

Dentals

PB	T	D	Dh	S	N	L
PIE	t	d	dh	s	n	l
PU	t	t	t	s	n	l
PA	t	d	d	s	n	l

Labials

PB	P	B	Bh	M
PIE	p	b	bh	m
PU	p	p	p	m
PA	p	b	b	m

Simple Velars

PB	K	G	Gh	X-	-X-	R	-R-
centum	k	g	gh	xa-, a-	-xa-, -ā-, -a-	r	-r-
satem	k	g	gh	xa-, ḍa-	-xa-, -ā-, -ḍa-	r	-r-
Finn-Baltic	k	k	k	ha-	-ha-, -ā-, -ă-	r	-r-
Obi-Ugrian	k	k	kh	-	-y-, -a-	r	-r-
Tung.-Man.	k	g	g	xa-, ha-	-y-, -ā-, -ă-	ṛ	-r-

Palatal Velars

PB	Ky	Gy	Ghy	Xy-	-Xy-	Y
centum	k	g	gh	xe-, ḍe-	-xe-, -ē-, -ḍe-	y
satem	č	ž	h, ž	xe-, e-	-xe-, -e-	y
Finn-Baltic	ki	ki	ki	hi-	hi-, -ē-, -ě-	y
Obi-Ugrian	č	č	khi	-	đi, -e-	y
Tung.-Man	č	ž	ž	xi-, hi-	-yi-, -ē-, -ě-	y

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Labiovelars

PB	Kw	Gw	Ghw	Xw	-Xw-	W
centum	kw	gw	ghw	x°-, ð°-	-x°-, -ð-, ð°	w
satem	k	g	gh	x°-, ð°-	-x°-, -ð-, ð°	w
Finn-Baltic	ku	w	w	hu-	-hu-, -ð-, -ð-	w
Obi-Ugrian	ku	w	w	-	-yu-, -o-	w
Tung.-Man	ku	(x)w,	(x)w,	xu-, hu-	-yu-, -ð-, -ð-	w
		(h)w	(h)w			

Note. This scheme does not reflect some Indo-European situations, e.g. Gr. *b* < *Gw* and *ph* < *Ghw*, Skr. *ç* < *Ky*, etc. The situation is also complicated in languages with poor or limited written sources like Thracian and Illyrian; in such cases, the analysis should consider complex analyses, which should permanently consider the possible similarities with known data. As a simple example, there are striking similarities between Thracian (including the Thracian elements of Romanian) and Baltic, mainly Lithuanian.

Positional Syllabic Tamber

The syllabic tamber in PB depended on the two neighbouring consonants. The passage to PIE led to essential changes of linguistic typology, among these vocalisation of sonants, which – in its turn – led to zero degree too. There was initially only *ă in PIE.

Examples:

PB *Gw-R ‘a hill’: fin. *VuoR-i* (< *GwoR-x_wy-) ‘id.’ and *VaaR-a* (< *GweR-x-): Fin. *KuoR-i* ‘bark, crust’ (- *GweR-xwy-); *KaaR-na* ‘crust’ (-*GweR-xn-); Fin. *LoN-kka* ‘coapsă’ (...k_w-); *LaN-ne* ‘id.’ (...nx-).

The three degrees of velar consonants in PB

- (1) The three tambers of the so-called šva *indogermanicum*: velar spirants PIE *X, *Xw, *Xy, which in postsyllabic vocalisation led to contracted sounds *ă, *ð, *ē.
- (2) The role of the second focus of articulation for labiovelars and palatals.
- (3) The intra-systemic argument represented by different meanings of roots:
 *Kw-R ‘a worm’, *K-R ‘hard’, *Ky-R ‘herd’;
 *Gw-L ‘to sting’, *G-L ‘birdy, specific to birds’, *Gy-L ‘(good) luck, victory’;
 *Ghw-N ‘to strike, to beat’, *Gh-N ‘to gnaw’, *Ghy-N ‘to step’;
 *S-Xw ‘to jump’, *S-X ‘sun’, *S-Xy ‘to sow, to seed’.
- (4) Difference in treatment of PB simple and aspirated voiced consonants in

Obi-Ugrian (OU) and Mančur-Tungus (MT) groups:

PB	OU	MT	PB	OU	MT
G	k	g	Gh	kh	g
Gy	č	ž	Ghy	khi	ž
Gw	w	(x)w, (h)w	Ghw	w	(x)w, (h)w

Velar spirants and long contracted sounds. The case of spirant X. Examples:

PB *D-Xw ‘to give’ > Hit. *DaaH-hi*, Skr. *Di-tá;-*, gr. *dí-Dō-mi*;

PIE *'X - (stress + X) > *a;

*T-X ‘to melt, thaw; to vanish’: gr. *TA-kerós*, dor. *TĀ-kō*, OCS *TA-jati* (see also # 33 and 100).

PIE *'Xw (stress + *Xw) > *ō; *θ : *ō.

Ex. (20): *B-Xw: Lit. *BA-m̄btī*, gr. *bu-Bō-nos*

Ex. (12): *Dh-Xw ‘fir-tree needles’: Gr. *Tho-ós*, Skr. *DhĀ-ra-*, Evenki *DüΓ-ün*, Khanty *TuΓ-ər*

Ex. (92): *P-Xw ‘protecting fire’: Khanty *PăΓ-ərla*, Negidal *Pō-ža*.

*'Xy > ē ε:ē

Ex. (101): *K-Xy ‘to pick with a hook’: lat. *CA-pessō*, *CĒ-pi*, Negid *KeΓ-jan*, Hant. *KäΓ-ri*;

Ex. (98) *Gh-Xy: gr. *e-KhA-ndanon*, Skr. *ja-HĀ-ra*, Ulč. *GĒ-xü*; see also # (9).

Velar spirants and long sonants. In Uralic and Altaic, the velar spirant is preserved as such:

Ex. (132) *Y-X- ‘to hunt’: O. Germ. *JA-gōn*, Vedic *YĀ-van*, Evenki *ǐ-mka-*;

Ex. (141) *W-X- ‘a sheath; vagina’: Skr. *Ū-rú-*, Lat. *VĀ-gīna*, Udegej *WA*, Lat. *VĀ-rus*;

Ex. (14) *N-X- ‘nose’: Lat. *NĀ-ris*, Skr. *NA-kra*;

Ex. (138) *L-Xw ‘shovel; to dig’: OCS *LO-pata*, O. Ir. *LĀ-ige*, Evenki *Lō-mki*, Negidal *LoΓ-osīn-*, Khanty *ŁaΓ-đl (đ:ō)*

Therefore a long sonant is often in agreement with not only the evolution of root structure J1-H2- but also with the evolution of the type H1-J2-. See also # 160:

*X-W: Lith. *ÁU-dē*, OCS *AU-sa*, Fin. *VU-ras*, Negidal *XaW-ādakta*.

Ex. (172): *Xy-Y ‘to go, walk’: Homeric *Eī-mi*, Lith. *Eī-dinē*, Oroči *ī*, Fin. *Hii-htää*.

Perspectives

The Proto-Boreal view as suggested by Andreev concludes a long chapter of hot discussions regarding the possible relationship between Indo-European and other linguistic groups. Unlike previous attempts, Andreev’s book is brief,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

profound, and – last but not least – coherent. Furthermore it is open to modular, both horizontal and vertical developments. Andreev himself (Andreev 1986 b, 1987) added data, mainly from Hungarian and Korean (two languages initially absent in his book) and made additional comments. It is outstanding that he aimed at an accurate, computer-like analysis of languages in their historical development. His arguments may be eventually debatable, yet it is for the first time that an ample material is analysed in such a way, with such convincing rectitude and by suggesting possible or potential developments.

Andreev's view is also an incentive to further analyses regarding the evolution of Upper Palaeolithic-Mesolithic-Chalcolithic languages, and the human evolution in prehistory. There are various ways in which we may attempt to exploit the available data and suggest further analyses. One refers to the very essence of the linguistic and ethnic realities in prehistoric Europe and Asia. We may thus better understand Slavic, Thracian or Illyrian ethnogenesis, as an example, and compare this to Hittite, Greek or Latin ethnogenesis, generally better known from written sources. And we may further expand the analysis to the Uralic-Altaic area, and understand why the similarities between (say) Finnish and other Indo-European languages is sometimes striking.

Indeed, Andreev's theory is always open to further investigations and to additional data. We tried to suggest a possible relationship with some archaic forms in Romanian. In all these cases, it is understood that we consider these forms of (certain, probable, possible) Thracian origin. In other words, they represent a component of the sub-stratum element in Romanian. This is important to understanding the complex ethnogenesis in Central-East Europe, e.g. the Slavic ethnogenesis, a topic we also approached in some instances. This contribution therefore continues and expands previous attempts towards the understanding of Euro-Asian prehistory.

Sample Lexicon

Andreev identified 203 basic roots, and analysed their development in Proto-Indo-European, Proto-Uralic, Proto-Altaic, later also in Korean. We have updated and commented all the 203 roots. As the whole lexicon has over 60 pages, and their number is increasing every day, please point your web browser to

http://www.homepage.mac.com/sorin_paliga/

and download the latest version. Be prepared to have Adobe Acrobat Reader 5 or Adobe Reader 6 for a correct display and print of the diacritical marks. Just a sample here:

**T-W-* ‘to keep, to hold; support’

Lith. *TV-árdyti* ‘restrain, repress’
 Lith. *TU-rēti* ‘keep’, from archaic **TW-r-*
 Äwenki *TU-rut-* ‘keep together’
 Nanaj *TU-ndüwän* ‘to keep’
 Fin. *TU-kea* ‘support’ (< **TW-k-*)
 Est. *TU-gi* ‘support, prop’
 Ewän (Lamut) *TÜ-rüt-* ‘to hold, to restrain, to prop’ (< **TW-r'-xy-*)
 Khanty *TÖ-təŋ* ‘to hold, prop in a boat’ (< **TW-tx-*)
 Khanty *TÖ-yat* ‘to hold, prop a boat’ (< **TW-xt-*)
 Äwenki *TÜ-k-* ‘to hold, to keep fast’ (< **TW-r-xy-*)
 Lith. *TaU-pà* ‘restrain in expenses, thrift, economy’ (< **T-W-p-*) =
TaU-sà ‘id.’ (< **T-W-s-*)
 Äwenki *TÜ-rga* ‘prop, support’ = *TÜ-kta* ‘id.’
 O. Mong. *TU-lyan* ‘prop, support’
 Nenets *T'U-rts'uts* ‘to have as a prop, as a support’
 O. Mong. *TU-l* ‘to lean upon’
 Nenets *T'U-rkutas* ‘to lean upon’
 Äwenki *TÜ-nin-* ‘to lean upon’ (< **TW-xn--yn-*)
 Khanty *TÖ-tastəta* ‘to lean upon, to set against’
 Nenets *T'U-rxalas* ‘to lean upon’
 O. Turk. *TU-truq* ‘to support, to prop’
 Khanty *TăW-ərta* ‘to hold a river, to dam, to weir’ (< **T-W-xr-*)
 Korean *TU-k* ‘dam, weir’ (< **TW-g'-xy-*)
 O. Turk. *TU-γ* ‘dam, weir, obstacle, barrier’
 Khanty *TÖ-l* ‘barrier; partition’ (< **TW-lx-*)

Note 1. In Khanty, the Boreal *-W-*, when vocalized, may become *-ő-* under the influence of the following *-X-*, not necessarily in the immediate neighbourhood.

Note 2. When dealing with long narrow vowels *Ü*, *Ü*, *İ* we must bear in mind that those long phonemes may be the result of a contraction either from the type *-WH-*, *-YH-* (where the symbol *H* denotes any velar spirant, currently labeled ‘laryngeal’, i.e. *X*, *Xy*, *Xw*; or from the type *-HW-*, *-HY-*.

References

- Andreev, Nikolaj Dmitrievič** 1986. *Ranne-indoevropskij prayazyk*. Leningrad: Nauka.
 Andreev, N.D. 1986 b. Correlation between the simplicity of language typology and the attainable degree of formalization in historical linguistics. *Symposium on Formalization in Historical Linguistics* (Tallinn, November 24–26, 1986), ed. by Mart

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

- Remmel. Tallinn: Academy of Sciences of Estonia.
- Andreev, N.D. 1987. The importance of Estonian for Boreal reconstruction. *Symposium on Language Universals (Tallinn, July 28–30, 1987)*, ed. by Toomas Help (responsible) and Sirje Murumets. Tallinn: Academy of Sciences of Estonia.
- Cop, Bojan** 1974. *Indouralica*. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela/Opera vol. 30).
- Čop, Bojan 1975. *Die indogermanische Deklination im Lichte der indouralischen vergleichenden Grammatik. Indoevropska sklanjatev v luči indouralske primerjalne slovnice*. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela/Opera vol. 31).
- Delitzsch, Friedrich** 1873. *Studien über indogermanisch-semitische Wurzelverwandtschaft*. Leipzig: J. C. Hinrichs.
- Krupa, Viktor, Jozef Genzor** 1996. *Jazyky sveta v priestore a čase*. 2nd. ed. Bratislava: Veda.
- Ošir, Karel** 1921. *Beiträge zur alarodischen Sprachwissenschaft, I*. Wien-Leipzig: Beyers Nachfolger.
- Paliga, Sorin** 1986. Ardeal, Transilvania. *Tribuna* (Cluj), nr. 8, 20 feb., pp. 1 and 6.
- Paliga, S. 1987 a. Thracian terms for ‘township’ and ‘fortress’, and related place-names. *World Archaeology* 19, 1: 23–29.
- Paliga, S. 1988. A Pre-Indo-European place-name: Dalmatia. *Linguistica* 28:105–108.
- Paliga, S. 1989 a. Types of mazes. *Linguistica* 29: 57–70.
- Paliga, S. 1989 b. Old European, Pre-Indo-European, Proto-Indo-European. Archaeological Evidence and Linguistic Investigation. *The Journal of Indo-European Studies* 17, 3–4: 309–334.
- Paliga, S. 1992 a. Ali obstajo ‘urbske’ prvine v slovanskih jezikih? (in Slovene with an English abstract : Are there ‘Urbian’ elements in Slavic?). *Slavistična Revija* 40, 3: 309–313.
- Paliga, S. 1992 b. Un cuvînt străvechi – oraș. *Academica* 2, 10 (22): 25.
- Paliga, S. 1993 a. The Tablets of Tărtăria – an Enigma? A Reconsideration and Further Perspectives. *Dialogues d'histoire ancienne* 19, 1: 9–43.
- Paliga, S. 1993 b. Metals, Words and Gods. Archaeometallurgical Skills and Reflections in Terminology. *Linguistica* 33: 157–176.
- Paliga, S. 1994. An Archaic Word: *Doină. Relations thraco-illyro-helléniques*. Actes du XIV^e symposium national de thracologie (à participation internationale), Băile Herculane (14–19 septembre 1992), éd. par Petre Roman et Marius Alexianu. Bucarest: Institut Roumain de Thracologie.
- Paliga, S. 1998. A Pre-Indo-European Lexicon. *The Thracian World at the Crossroads of Civilizations* ed by Petre Roman, Saviana Diamandi and Marius Alexianu. București: Romanian Institute of Thracology.
- Paliga, S. 1999. *Thracian and Pre-Thracian Studies*. București: Lucretius Publishers.
- Paliga, S. 2002. Pre-Slavic and Pre-Romance Place-Names in Southeast Europe (South Slavic and Romania) in Fol, Al. 2002. *Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology THRACE AND THE AEGEAN*, Sofia-Jambol, 25–29 September 2000. Sofia: International Foundation *Europa Antiqua* - Sofia; Institute of Thracology - Bulgarian Academy of Sciences: I, 219–229.
- Paliga, S. 2003. *Toponimia slavă și preslavă în sud-estul european. Introducere în studiul toponimiei slave arhaice*. București: Editura Universității din București.
- Rostaing, Charles** 1950. *Essai sur la toponymie de la Provence*. Paris: éd. d'Artrey.
- Skok, Petar** 1950. *Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima. Toponomastička ispitivanja*. Zagreb: Jadranski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umetnosti.
- Trombetti, Alfredo** 1925. Saggio di antica onomastica mediterranea. *Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju* 3: 1–116. (Reprinted in *Studi Etruschi* 13/1939: 263–310).

НЕКОТОРЫЕ СОЦИО- И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА

Мария Кирай, Валерия Нистор
(Maria Kiraly, Valeria Nistor)

I. Билингвизм является комплексной научной проблемой, неотделимой от понятия языкового контакта. О языковом контакте У. Вайнрайх пишет следующее: «Два или несколько языков находятся в контакте, если ими попеременно пользуется одно и то же лицо»¹. Этую же идею подчеркивает и Э. Хауген: «языковый контакт определяется как попеременное использование двух и более языков одними и теми же лицами»².

Практику попеременного использования двух языков У. Вайнрайх называет **двуязычием**, а лиц, осуществляющих ее, – **двуязычными**.

Длительные языковые контакты между языками и их носителями приводят к появлению двуязычия (часто даже к многоязычию). Благодаря этим контактам население усваивает, в большей или меньшей степени, язык соседей, и в результате этого у значительной части говорящих, живущих на данных территориях, появляется индивидуальный билингвизм.

В зависимости от уровня владения обоими языками индивидуальный билингвизм может быть **координативным**³ и **субординативным**⁴. Способ реализации пользования обоими языками в процессе коммуникации ведет к выделению **чистого и смешанного билингвизма**. В первом случае говорящий субъект, изучающий вторичный язык, употребляет в определенной речевой ситуации (например, в школе и на работе) только этот язык, а в другой ситуации (например, дома) только первичный язык. Во втором случае изучающий вторичную языковую систему с коммуникативными целями в одной и той же ситуации пользуется двумя языками (например, дома и на работе). Следовательно, говорящий включает в свою речь на втором языке, которым владеет в меньшей степени, и элементы первого языка, являющегося для него доминантным. С развитием контактов между первичным и вторичным языками постепенно расширяются и обогащаются знания билингва и на втором языке. Таким образом, его билингвизм приближается к координативному, даже если и не достигает его. Между указанными классификациями в большинстве случаев нет четких границ, а наоборот, они переплетаются и дополняют друг друга.

II. Румынское лингвистическое пространство составляет модель для двуязычия и для многоязычия в результате многочисленных языковых контактов между преобладающим румынским населением и другими национальными меньшинствами, проживающими на данной территории.

Основная задача нашего исследования состоит в анализе некоторых социологических и психологических аспектов, наблюдавшихся у русско-

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

румынских билингвов и, соответственно, румынско-русских билингвов в зависимости от географической зоны проживания: общество русских липован в Дельте Дуная (Румыния) и румынское население в Республике Молдова.

II. А)

В первой части работы рассмотрим вкратце некоторые характеристики билингвизма русских липован в Дельте Дуная. Это географическая зона Румынии, в которой, наряду с румынской частью населения, проживают и другие национальные меньшинства: русские липоване, турки, татары, украинцы, болгары, греки. Русские липоване поселились в этой местности почти 3 тысячи лет тому назад и проживают до сих пор в компактном, организованном обществе⁵. Общее число их по всей стране, согласно переписи населения 1992 года, составляет 38.605 человек. Русские липоване по религиозной принадлежности в большинстве своем старообрядцы – 62%, 32% православной веры, а язык, на котором говорят, принадлежит южным великорусским говорам.

Более детальному рассмотрению мы предлагаем несколько характеристик билингвизма у русских липован села Каркалиу, которое расположено в северо-западной части Добруджи между городами Мэчин и Тульча и на расстоянии 25 км от города Бреилы. Село было освидетельствовано приблизительно в 1800-1810 гг. и в настоящее время насчитывает 3810 жителей, часть которых работает за границей – в Италии, Германии, Греции и т. д.⁶

Для успешного выполнения намеченных целей мы произвели опрос информантов⁷, предлагая вопросник. Полученные результаты были сопоставлены с теми результатами, к которым мы пришли после изучения билингвизма у национальных меньшинств в юго-западной части Румынии⁸ и у румын из Республики Молдова согласно следующим критериям:

- Какой тип классификации наиболее реально отражает сегодняшнее положение билингвов и билингвизма в данной части страны;
- Каковы условия, в которых проявляется явление билингвизма в отмеченной зоне;
- Какой тип билингвизма наиболее распространен в зоне;
- Какова роль субъективного элемента в формировании билингвов.

На вопросы ответили 57 субъектов различного возраста и профессии:

от 6 лет до 35 лет – 29 субъектов;

б) от 35 лет – до 60 лет – 16 субъектов;

в) свыше 60 лет... – 12 субъектов.

Выводы, которые вытекают из произведенного опроса, отражают следующее:

1.

Родной язык всех субъектов – это русский липованский язык (липованский диалект).

2. Картина ответов субъектов, составляющих вышеотмеченные три категории, сильно разнится:

а) Все субъекты группы **а** и **б** получили образование на румынском языке

по сравнению с субъектами группы **в**, которые либо учились в русской школе – 4, либо в русско-румынской школе – 2, либо неграмотны – 6.

б) На вопрос “*На каком языке общаетесь в семье?*” (*I) на повседневные темы; II) со взрослыми; III) с детьми; IV) на профессиональные темы*) ответ субъектов третьей группы **в** был почти единогласным: на родном языке – в первых двух случаях (I; II), а в случае с детьми (III) ответ был тот же с единственным исключением: был отмечен и русский и румынский язык. На вопрос *Разговор на профессиональные темы* получили только 6 ответов, имея при этом ввиду возраст субъектов (от 6 до 35 лет): 4 субъекта говорят на родном языке, а 2 – на родном и на румынском. Во второй группе **б** доминантным является родной язык в общении со взрослыми; в разговорах на профессиональные темы доминирует румынский язык (или употребляются оба языка – 4 субъекта), а в разговорах с собственными детьми 50% из опрошенных субъектов употребляют родной язык, 25% – румынский язык, а 25% – оба языка. Среди субъектов первой группы 65% употребляют родной язык в беседах темы со на бытовые взрослыми, 21% – оба языка и 12% – румынский язык. В разговорах на профессиональные темы преобладает румынский язык (65%) (сюда присоединяются и другие иностранные языки – итальянский, греческий, немецкий, в зависимости от той страны, в которой субъекты работали продолжительное время)⁹. В разговорах с детьми существует определенное равновесие между родным языком и между родным языком + румынским языком.

Эти данные находят свое объяснение в том, что субъекты, принадлежащие к третьей категории **в**, владеют в меньшей степени румынским языком: они живут и сегодня в довольно изолированной языковой среде, а те, которые учились, окончили школу на русском языке. Те субъекты, которые окончили румынскую школу и работали в различных регионах Румынии, несмотря на то, что владеют румынским языком, возвращаясь домой, стараются вжиться в жизнь села и прибегают почти во всех случаях (или всегда) к родному языку. В остальных двух ситуациях те субъекты, которые учились или учатся в румынских школах, характеризуются в большинстве случаев предрасположенностью к употреблению румынского языка (или и румынского языка).

в) Родной язык доминирует (100%) в группе **в** при ответах на следующие вопросы: “*На каком языке думаете?*”, “*На каком языке легче воспринимаете какой-либо текст?*”, “*На каком языке предпочитаете рассказывать сказку?*”, “*На каком языке легче изъясняетесь?*”. Таким образом, в этом случае нельзя говорить о билингвизме, хотя бы о начальной форме субординативного рецептивного билингвизма, который предполагает восприятие разговорной речи на румынском языке; можем говорить также о существовании некоторых элементов коммуникативной компетенции на этом языке, но следует отметить, что на уровне узуса, говорящие прибегают почти во всех речевых ситуациях к родному языку. В остальных двух группах картина совершенно иная. 50% опрошенных субъектов, принадлежащих группе **б**, на все предложенные вопросы, упомянутые

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

выше, отметили преобладание родного языка, 40% опрошенных субъектов обращаются к румынскому языку и почти 10% – к обоим языкам. Отсюда следует вывод, что субъекты первой категории **а** используют румынский язык в соотношении 43-70%, родной язык – в соотношении 17-21%, а к обоим языками пользуется 8,5-17% из опрошенных.

Отмеченные выше факты еще раз доказывают влияние школы на формирование билингвов¹⁰, а также среды, в которой проживают. Если опрошенные субъекты из категории свыше 60 лет никогда или очень редко покидают село, в котором проживают, то они и не чувствуют необходимости понимать говорящих на другом языке или знать другой язык. Молодое поколение, которое учится или училось в румынской школе или разъезжает между городами, ездит на экскурсии по стране, усвоило (в неодинаковой степени) государственный язык и употребляет его в различных ситуациях. В этом случае проявляется явление билингвизма, но, в основном, их билингвизм предстает в форме субординативного билингвизма и находится, таким образом, на более нижней ступени рассмотренного явления: говорящие смешивают лексические и грамматические единицы русского и румынского языков. Для подтверждения сказанного приводим несколько примеров из разговорной речи жителей села Каркалиу: “Принеси мне машину де кэлкат!”; “Де (где) аппарат де фотографият?”; “Поклала харчи на арагаз”; “Ни махла абцинуць?”; “Брава тибе: сингурэ акасэ...”; “Зарезали поросенка, а он нумай оасе”; “Пойду куплю трохи брынзы”; “Я мэкар был у школы, ни как ты”; “Надену сакоу у школу” и т. д.

3. В результате произведенного опроса мы пришли к выводу, что субъекты группы **в** употребляют родной язык в соотношении 93,4%, группы **б** – в соотношении 56,5%, а субъекты группы **а** – в соотношении 21,6%.

4. Дети из интеллектуальных семей тяготеют к использованию румынского языка, а если употребляют слова родного языка, то последние приобретают окончания, свойственные румынским словам.

5. Учащаяся молодежь, которая занимается в различных городах страны и на время каникул возвращается домой, в разговорах между собой употребляет в соотношении 80-85% румынский язык.

II. Б) Исторические, политические и культурные факторы воздействовали, в определенной степени, на формирование румыно-русских билингвов из Республики Молдовы. Явление билингвизма проявляется в большей степени в некоторых густонаселенных городах (г. Тирасполь, Бендери), в которых русское население насчитывает свыше 40%.

Согласно последней переписи населения (1989 г.) в Республике Молдове румыны представляют большинство населения (65%) и живут на данной территории рядом с украинцами (14%), с русскими (13%) и с другими национальностями (8%)¹¹.

Наше исследование основывается на опрос румыно-русских билингвов, приехавших в Румынию на учебу в лицеях, вузах и в докторантуре. В основном это образованные билингвы – филологи и экономисты –, в возрасте от 16 до 35 лет.

Полученные ответы в результате опроса подтверждают следующие выводы:

1. Все опрошенные субъекты (40 субъектов) отметили, что их родной язык – румынский. Относятся к билингвам потому, что владеют хорошей языковой компетенцией на русском языке, примешивая к этому французский, английский, испанский и другие языки.

2. На вопрос “*При каких обстоятельствах усвоили русский язык?*” опрошенные субъекты ответили:

- в школе – 20 (50%);
- б) в семье – 16 (40%);
- в) в непосредственной языковой среде – 4 (10%).

- При изучении второго языка доминирующим является дошкольный возраст у 50% опрошенных.

- При усвоении русского языка большая роль принадлежит экстралингвистическим факторам: телевидению, радио, играм с детьми и т. д.

3. На вопрос “*На каком языке учились?*” доминирующим ответом был родной язык (36 ответов, соответственно 90%) за исключением 4 субъектов, которые окончили среднее и высшее образование на русском языке.

Необходимо подчеркнуть, что большинство опрошенных субъектов учились в школе после 1989 года, т. е. в то время, когда румынский язык стал официальным государственным языком.

4. 36 из опрошенных субъектов-билингвов, т. е. 90%, разговаривают в семье на родном языке. Исключение составляют 4 субъекта, которые с легкостью разговаривают на обоих языках.

Интересным представляется наблюдение над дифференцированным употреблением двух языков в зависимости от темы разговора и от возраста говорящих. Так, в разговорах со старшими 16 билингвов, т. е. 40%, употребляют в одинаковой степени оба языка, в то время как профессиональные, официальные темы в разговоре затрагиваются только 6 билингвами, т. е. 15%, на румынском и на русском языке, господствующим в данном случае у 80% субъектов является румынский язык.

5. Некоторые билингвы достигли такой уровень координативного билингвизма, при котором думают и разговаривают в одинаковой степени на обоих языках (35%), а 65% находятся на уровне субординативного билингвизма, где первостепенным является мышление и общение на румынском языке.

Субъекты, которые учились в школе на иностранном языке, в данном случае речь идет о русском языке, с большей легкостью редактируют письмо, приглашение или научную работу на русском языке. Этот результат лишний раз подтверждает решающую роль языка, на котором учатся в школе.

Большинство субъектов, будучи с филологическим образованием, с легкостью воспринимают беллетристический текст в обоих языках (20 = 50%), еще раз доказывая достижение высокого уровня билингвизма.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

6. Румыно-русские билингвы пользуются родным языком большей частью своего времени – до 90%, а русскому языку уделяют лишь 10-60% своего времени. Это объясняется тем, что опрошенные субъекты в настоящее время живут и учатся в Румынии, совершенствуя, тем самым, свою лингвистическую компетенцию на румынском языке.

Выводы

На основе результатов, полученных с помощью вопросника от румыно-русских билингвов из Республики Молдовы, от билингвов из юго-западной части Румынии и от русско-румынских билингвов из Дельты Дуная можно сделать следующие выводы:

Частные проблемы

Среди индивидуальных билингвов из Республики Молдовы и среди билингвов юго-западной части Румынии доминирует продуктивный (активный) и чистый билингвизм, но часто встречается и комбинированный билингвизм. Помимо продуктивного билингвизма проявляется и рецептивный (пассивный) билингвизм у незначительного числа субъектов (в случае других иностранных языков).

По сравнению с первыми двумя зонами, отмеченными выше, у русских липован из Дельты Дуная, живущих на относительно изолированных территориях, наблюдаемые явления представляются в следующем виде:

в группе **в** можно говорить о начальной форме рецептивного асимметрического субординативного билингвизма;

в группе **б** проявляется смешанный субординативный билингвизм;

в группе **а** существует тенденция к смешанному координативному билингвизму, однако одновременно появляется и опасность исключения родного языка¹².

Общие проблемы

Значительным элементом в установлении уровня лингвистических знаний является образование. Оно имеет решающее влияние на уровень знания языка и, соответственно, устанавливает доминирующий речевой механизм для говорящего билингва. В этом случае необходимо различать несколько положений:

Если говорящий окончил образование на другом языке, а не на родном, то первый язык станет для него доминирующим, особенно в научном и профессиональном стиле речи.

Редки те случаи, когда говорящий билингв окончил образование на другом языке, но изъясняется легче на родном языке. Это проявляется в речи русских липован, если после окончания учебы продолжают свою деятельность в изолированной местности, т. е. в селе.

Несмотря на то, что говорящий билингв утверждает, что с легкостью

изъясняется на обоих языках, и в разговорной речи и в официальном стиле, все-таки приходится признать, что при заполнении официальных документов думает на языке, на котором получил образование.

Нужно отметить, что независимо от формы проявления, билингвизм представляет собой актуальное явление, особенно в настоящее время, когда наблюдается усиление социальной и культурной значимости языков, независимо от числа говорящих на том или ином языке.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. У. Вайнрайх, *Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования*, Киев, 1979 (перевод с английского Ю.А. Жлуктенко), с. 22.

2. E. Haugen, Language Contact, «Actes du VIII Congres international de linguists», Oslo, 1958; см. также: В. Ю. Розенталь, *О языковых контактах*, «Вопросы языкознания», 1963, №1, с. 59.

3. Координативный (сочиненный) билингвизм – это продуктивный билингвизм, который обеспечивает порождение правильной речи, т. е. таких речевых произведений, принадлежащих вторичной языковой системе, в составе которых устанавливается сохранная языковая система.

4. Субординативный (подчиненный) билингвизм встречается в тех случаях, когда в речевых произведениях, порождаемых на его основе, устанавливается нарушение языковой системы, т. е. если речевые произведения билинга оказываются неправильными.

5. Некоторые населенные пункты с компактным населением русских липован можно встретить и на севере Молдовы и на Буковине.

6. Для статистических данных см. M. Ignat, *Statistica la rușii lipoveni, "Zorile"* («Зори»), 2001, nr. 4, p. 12-13.

7. Вопросник прилагается в конце статьи. Мы глубоко благодарим студентку Ану Некиту, жительницу с. Каркалиу, за оказанную помощь в осуществлении опроса.

8. См. Maria Király, Valeria Nistor, *Bilingvismul între teorie și practică*, în vol. *Relații interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineană din secolul XVIII-lea până în prezent*, Satu-Mare-Tubingen, 1999, p. 321-330; Maria Király, *Câteva considerații privind bilingvismul în zona (sud)-vestică a României*, în vol. *Probleme de filologie slavă*, VII, Timișoara, 1999, p. 161-168; Maria Király, Bilingvismul – fenomen pozitiv sau negativ? în vol. *Probleme de filologie slavă*, VIII, Timișoara, 2000, p. 31-39.

9. Нужно отметить, что те субъекты, которые работали за границей, часто употребляют в речи язык соответствующей страны.

10. См. Maria Király, Az iskola szerepéről a kétnyelvűség kialakításában, в журнале «Közoktatás», București, 2000, nr. 9 (sept.), p. 11-12.

11. Horia C. Matei, Silviu Neguț, Ion Nicolae, Caterina Radu, Enciclopedia statelor lumii, ed. a 7-а, București, Editura Meronia, 2000.

12. В связи с этим см. M. Ignat, *цит. раб.* с. 12-13.

ВОПРОСНИК

- Сколько Вам лет?
- Образование
- Профессия

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

- Родной язык
 - Иностранные языки (уровень знаний)
- Письмо, чтение, говорение
- б) Говорение
 - в) Письмо, чтение
- При каких обстоятельствах усвоили иностранный язык? (приблизительно в каком возрасте?)
 - На каком языке занимались (в школе, в лицее, в вузе)?
 - На каком языке общаетесь в семье?
 - г) На бытовые темы
 - д) Со взрослыми
 - ж) С детьми различного возраста
 - з) На профессиональные, официальные темы.
- На каком языке думаете (в бытовых ситуациях; в случае заполнения документов или какой-либо письменной работы)?
 - На каком языке легче рассказываете сказку?
 - На каком языке легче понимаете беллетристический текст (стихотворение, роман, пьесу и т. д.)?
 - На каком языке обычно (или легче) редактируете письмо, приглашение или научную работу?
 - На каком языке легче изъясняетесь (или в одинаковой степени)?
 - е) Говорите с запинками
 - ё) Говорите с ошибками
 - и) Лексически ограничены в выражении.
- В каком соотношении относительно Вашего времени считаете, что пользуетесь известными Вам языками?

II. LITERATURĂ LITERATURE

Философско–эстетические структуры А. Шопенгауэра в творчестве М. Эминеску и русских неоромантиков

Вирджил Шоптеряну (Virgil Şoptereanu)

„Чарующее действие” философско–эстетических идей А. Шопенгауэра, сделавших его „самым популярным и влиятельным писателем” конца XIX века (1), испытали на себя многие художники слова. Можно было бы сказать, что „популярным и влиятельным” был Шопенгауэр и в кружке румынских писателей „Жунимя” („Junimea”, 1863 – 1916), основатель которого, Титу Майореску, перевёл на румынский язык в 1876 году Афоризмы о мудрости в жизни немецкого философа. С „Жунимя” был связан и М. Эминеску, ряд произведений которого был напечатан в литературном органе этого кружка „Конворбирь литераре” („Con vorbiri literare” – „Литературные беседы”). Более того, Титу Майореску принадлежит высказывание о том, что поэт „был убеждённым приверженцем Шопенгауэра” (2). С тех пор критика заговорила, порой не без преувеличений и натяжек, о воздействии идей немецкого мыслителя на творчество Эминеску. Однако, со временем критические работы Дж. Кэлинеску, Д. Каракостя, Т. Виану, Д. Поповича, И. Негоицеску, Л. Русу, Э. Папу, Н. Тертулиана и др. положили конец подобным перегибам, и вопрос о влиянии Шопенгауэра на творчество нашего национального поэта становится в объективных и адекватных параметрах.

В русской литературе „пессимистический волюнтаризм” автора Мира как воли и представления (*Die Welt als Wille und Vorstellung*, 1819 – 1842) доставили „ряд духовных наслаждений” Льву Толстому. Не исключено, как считает критика, известное влияние шопенгауэрских идей на великого русского писателя в период его работы над *Анной Карениной* (3).

Однако, если и были в России „убеждённые приверженцы Шопенгауэра”, то ими стали первые представители русского модернизма – „старшие” символисты, которые называли себя неоромантиками, объявившими о своём присутствии на литературной арене на рубеже XIX и XX веков. И мы имеем в виду, в данном случае, таких писателей, как Д. Мережковский, Ф. Сологуб и З. Гиппиус.

Учение немецкого мыслителя о метафизической „мировой воле”, о феноменальном мире как о представлении, о красоте как „цели в самой себе” и предмете „бесстрастного созерцания”, его мысли о природе гения, – все эти философско–эстетические концепты, которые нашли отзвук в ряде стихотворений М. Эминеску: в его *Послании первом* (*Scrisoarea I*, 1881), в *Глоссе* (*Glossă*, 1883), как и в шедевре – поэме *Лучефэр* (*Luceafărul*, 1883), вошли структурообразующим элементом и в поэтику русских неоромантиков.

Знаменателен в этом отношении тот факт, что великого румынского романика, как и русских неоромантиков, ровно привлекает к себе идея из шопенгауэрова арсенала, согласно которой объективацией „единой”

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

„мировой воли” выступают воды, текущие, либо бесцельно бывающие о берега.

У М. Эминеску само течение времени идентифицируется, в стихотворении Из волн времён (*Din valurile vremii*, 1883), с волнообразным потоком. Что же касается образа волн, беспрестанно следующих одна за другой, и призванного внушить шопенгауэрому идею о бессмыслиности человеческого существования, то этот образ возникает то в Первом послании:

Что судьбе слепой их думы, их заветные стремленья?
Волны мчит она по жизни, словно ветра дуновенье”
(Перевод С. Шервинского) (4)

то в Глоссе:

Что есть волна, волной проходит (5) –

и, наконец, в Лучафэре:

Им возводить лишь в облаках
Пустые идеалы;
Когда дробятся волны в прах
Другие боятся в скалы.
(Перевод Г. Перова) (6)

или

Творить никчёмный идеал
Им суждено впустую.
Но волны, умерев у скал,
Родят волну другую.
(Перевод Д. Самойлова) (7).

Эта идея бессмыслиности и призрачности человеческого бытия, протекающего в „тесном кругу” пространственно–временных и причинных категорий, раскрывается в поэме Демиургом, когда он пытается убедить Гипериона, „первенца творения”, не отказываться от „нимба бессмертия” ради „одного часа” любви земной девы:

Из лона вечного „вчера”
Восходит к смерти „ныне”;
И солнце, вставшее с утра
Спешит к своей кончине.
(Перевод А. Бродского) (8)

Возникающий в этих строках эзистенциальный мотив смерти – один из излюбленных у романтиков – находит глубокий отзвук и в философии немецкого мыслителя. Призрачность человеческого существования, несущего на себе роковую печать неминуемой смерти, суетность желаний на этой „блуждающей” планете, где человека, вечно гонимого судьбой, подстерегает смерть, – все эти идеи находят своё выражение в Лучафэре в сжатой форме, свойственной лишь поэтической манере великого романтика:

Хоть мнится – век ему гореть
Но это только мнится,
Родится всё, чтоб умереть
И гибнет, чтоб родиться.
(Перевод А. Бродского)

Что касается русской литературы, то тот же образ „бесцельных”, „ненужных струй, покорных вечным законам”, несёт на себе основную смысловую нагрузку и в романе Тяжёлые сны (1895) Ф. Сологуба, которого его современники называли „подпольным Шопенгауэром”: „Волны струились тихие, но неумолимые (...). Ненужные струи, покорные вечным законам, стремятся бесцельно...” (9). В этом каноне символистского искусства, написанного десятилетие спустя после публикации поэмы М. Эминеску, Ф. Сологуб, устанавливая незримые correspondences между „равнодушной к человеку” „вечнодвижущейся силой” и судьбой людей, „бессильных как дети”, – проводит шопенгауэрскую идею о присутствии в их жизни какой-то злой и „непобедимой силы”, таящейся и саморазвивающейся, влекущей их к гибели.

Сама земная действительность представляется и персонажам З. Гиппиус как бледное отражение высшего, самодавлеющего абсолюта, непостижимого разумом. „Облака, – читаем в рассказе Зеркала (1898), – не сами облака, а, может быть, только отражение каких-то нездешних облаков” (10). И этот персонаж напрасно стремится проникнуть сквозь „стекло небес”, „бесцветное, чистое” и „прозрачное”, туда, где за пределами феноменального мира с его реками, облаками, зверями и птицами скрыта „мировая воля”, таинственная и злая, влекущая человека к гибели.

Вместе с тем, возможность проведения типологической параллели между творчеством романтика и неоромантика на уровне идей немецкого философа не исключает и наличия существенных различий.

Дело в том, что мотив смерти, перейдя к неоромантикам от романтиков, претерпевает одновременно и значительные видоизменения: сила жизни теперь не только не побеждает смерть, но, напротив, доминанта переносится на смерть (М. Бахтин), и сам момент смерти начинает осмысляться как эстетический феномен. У таких писателей, „уколотых” „жалом смерти” (Жало смерти – название одного из сборников Ф. Сологуба), как Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, эстетическое обояние смерти овладевает их персонажами, смерть становится для них „верной и нежной” „подругой”,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

„освободительницей” от грубой и равнодушной действительности.

Для этих писателей, творчество которых знаменует собой, на рубеже столетий, реакцию на „перенасыщенный морализмом” (Г. Федотов) XIX век, шопенгауэрова идея о „призрачности” человеческой личности, „вечно текущей и обречённой на уничтожение”, оказалась весьма плодотворной. Мироощущению неоромантиков отвечала шопенгауэрова метафизика, исходившая из утверждения, что бытие есть, по своей сути, страдание, и „высшим... благом является небытие”, „самоотрицание и самоуничтожение... отдельной особи” (11).

Интересно отметить, что в своё время известный русский религиозный философ Вл. Соловьёв усмотрел главный „алогизм” философии Шопенгауэра в его утверждении, что метафизическая воля страдает. Но если воля есть „всеединая сущность, не имеющая ничего вне себя”, то очевидно,— считал русский философ,— что она не может страдать в объективном смысле”, и „поэтому всё, что Шопенгаэр так красноречиво говорит о страдании воли, в действительности относится исключительно лишь к страданию ограниченных мыслящих субъектов”, на которых оказывает воздействие внешний мир. „Отсюда,— замечает русский философ и поэт, цитируя Гамлета,— для каждого „боль сердца, тысячи естественных страданий — наследие тела” (12).

Не трудно заметить, что в центре произведений русских неоромантиков как раз и находится „отдельная особь”, „мыслящий субъект”, страдающий в мире, которым правит слепая, равнодушная к его судьбе, метафизическая воля. И в этом неослабеваемом внимании к психологическим подробностям внутреннего мира „маленького человека” нельзя не усмотреть последствий того, что открытие русской психологической прозы, и прежде всего Достоевского, проникнув в русскую литературу рубежа веков, оказали глубокое воздействие и на представителей „нового искусства”, даже если оно и объявило о „радикальном разрыве” со старой литературой (13).

Возвращаясь теперь к творчеству великого романика, мы различаем и у М. Эминеску художественную материализацию шопенгауэрской метафизической воли. Трудность выявления философских структур в лирике румынского поэта заключается для исследователя в том, что у Эминеску нет главенства мысли над чувством, как это случается в „философской поэзии” (Т. Виану), нет заданности философской идеи, которая становится у него самою плотью лирических структур, чем и достигается гармоническое единство между мыслью и чувством — признак подлинного большого дарования.

Возьмём, к примеру, Послание первое и присмотримся к строкам, в которых даётся картина рождения из хаоса Мироздания:

И досель миры приходят, затерявшиеся в сферах,
К нам из хаоса глухого, из его юдолей серых.
Их рождает бесконечность — и роятся светлой новью,
Приобщаемые к жизни бесконечною любовью.
(Перевод С. Шервинского. Подч. нами — В. Ш.)

Что означает здесь „бесконечность” и „бесконечная любовь”, которая

извлекает из „хаоса” миры и „приобщает” их „к жизни”? По Шопенгауэру, первоначально всех явлений и всех действий выступает воля, и в таком случае вышеотмеченные метафоры могут быть интерпретированы как художественная материализация шопенгаузеровой воли.

Правда, для большей точности следовало бы заметить, что румынской лексеме „dor” из оригинала более соответствует в данном контексте не термин „любовь”, а то значение румынской лексемы, которое переводится как „тоска”. Тем более, как это было сказано, шопенгаузерова воля есть „страдающая воля”.

Не меньший интерес в этом отношении представляют, на наш взгляд, и те строки из Лучафера, в которых описан „предвечный мир”, куда прилетел Гиперион, и которые вызывают у нас ассоциацию с „мировой волей”, именно как „страдающей”, охваченной „неудовлетворённым стремлением”, „постоянным влечением без цели и отдыха”. Здесь, говорит поэт, нет ни познающей мысли, ни „смежных предметов”, дающих представление о пространстве, а есть лишь „ничто” и „пустота”, из которой тщетно пытается родиться время. За неимением стихотворного перевода, в котором были бы сохранены незаменимые у Эминеску детали и необходимые нам для подтверждения нашего предположения, представим прозаическое буквальное переложение стиха: „И там, куда он прилетел, нет ни границ, ни глаз, чтобы познать, и время тщетно пытается родиться из пустот” („Căci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaște./Și vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naște”).

Заданная здесь напряжённость и „неудовлетворённость”, какое-то „влечение без цели и отдыха” усиливается последующими образами какой-то „засасывающей/иссушающей жажды” и „глубины, подобной слепому забвению”. В сжатом, сконцентрированном стихе Эминеску образ „слепого забвения” подводит нас к нирване, полному погашению всякой жизни – согласно аскетически–созерцательной практике буддизма, привлекавшей к себе особое внимание и немецкого философа.

Забегая вперёд, отметим, что идея „погашения всякой жизни” занимает важное место в исторической трилогии Д. Мережковского Христос и Антихрист (1895 – 1905), в которой был воплощён неороманический вариант креационистского мифа. „Слепым забвением”, когда „мир исчезает для человека, и человек исчезает сам для себя”, выступает здесь творчество, погружение в сферу которого приравнивается к „освобождению” гения от внешнего мира с его злом и страданием.

С высоты высшей абсолютной сферы, откуда виден мир в его целом, „со всеми его солнцами и млечными путями” (Вл. Соловьёв), предстаёт земная действительность у румынского романика. Земля представляется отсюда, как населённая „микроскопическими народами”, „детьми маленького мирка”, иначе говоря, – читаем в Послании первом, – „мухами–однодневками” или „муравьями”, строящими свои „муравейники” и не сознающими ничтожности своего существования:

Мы себя считаем чудом, а видны – под микроскопом!
Мы – что мухи–однодневки, мир наш меряется футом.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

(Перевод С. Шервинского)

С подобной высоты взирает герой бессмертной поэмы, отказалвшись от своих попыток найти отзвук у земных „субъектов”, на „бесконечную и бессмысленную последовательность человеческого бытия (Тудор Виану) (14).

Лучафэр, предстающий в ипостаси „царя познания” – о чём нам говорят следующие строки:

Как солнцем истины омыт
В купели первозданной.
(Перевод А. Бродского)

– выступает воплощением представления о гении поэта–романтика.

И тот факт, что в этом представлении слышны отзвуки идей немецкого мыслителя, и предоставляет нам возможность проведения типологической параллели между концепцией о гении М. Эминеску и русских неоромантиков, обнаруживающей известное сходство, не исключающее, тем не менее, (как об этом будет сказано позже), и определённых различий.

Точной отправления послужит для нас то обстоятельство, что среди „архаических прецедентов”, перешедших от романтиков к русским символистам, числится и креационистский миф, особым интересом к которому была отмечена русская литература рубежа столетий. Общее в креационистском мифе XIX века и рубежа столетий будет связано с воздействием (как это было сказано) философско–эстетических идей автора Мира как воли и представления, как и идей Фр. Ницше, а также и с тем, что миф о творчестве и его носителе–творце оказывается проведённым в обоих случаях через призму размышлений Гёте о художественном творчестве.

Видимый глазами простого смертного, гений представляется – как писал Мирча Элиаде – некоей тайной, недоступной человеческому разуму. Героиня поэмы Эминеску признаётся, что, хотя Лучафэр и говорит на понятном языке, ей не под силу понять его слова.

Но и символисты–неоромантики, игнорируя промежуточный период „сциентистского эволюционизма” XIX века, когда в теориях Канта, Гегеля, Фихтера делалась попытка удалить „темноту” демонического, отнести гения к „*homo maxime homo*”, представляют гения носителем таинственной демиургической силы.

Вместе с тем, исключительность и избранничество, под знаком которого протекает существование гения, приводит к тому, что он оказывается, как это случается у Эминеску, „универсумом без сообщения” (15). „Прославление одиночества”, – считает О. Денсушяну, – ключ к поэме Эминеску (16), в которой Лучафэр с самого начала появляется в сопровождении мотива одиночества, равного по своим масштабам его демиургическому статусу и переданного следующим образом у одного из русских переводчиков:

И вновь трепещет он сильней
 Как трепетал, бывало,
 Над одиночеством морей,
 Над вечным плеском вала.
 (Перевод Г. Перова)

Мотив одиночества гения усугублялся воздействием пессимистической философии А. Шопенгауэра, который усматривал в меланхолии и одиночестве гения, в его ощущении трагичности своего существования некую фатальность.

В то же время из „жестокой” философии Ницше переходят в характеристику гения холод, ясность, твёрдость и спокойствие, свойственные „сильному духу” (17).

„Холод вечности”, исходящий от „сына стихийных сил”, подчёркивается у Эминеску с самого начала через синтагмы „холодные искры”, „ясные лучи”, „безжизненно сверкаешь”, через его отождествление с „прекрасным мертвецом с живыми глазами”:

Но тени по лицу скользят,
 Как на прозрачном воске,
 Он мёртв, и только юный взгляд
 Живые мечет блестки.
 (Перевод Ю. Кожевникова и И. Миримского) (18)

Печальное и одинокое светило, обращённое к вечности и символизирующее судьбу гения, навсегда, по Шопенгауэру и Ницше, остаётся холодным. „Гений – замечает по этому поводу Дж. Кэлинеску, – холоден и вечен”, ибо бессмертие мыслится как отказ от тепловой жизни (19).

Но и мысли великого художника Возрождения Леонардо да Винчи, надёлённого в романе Д. Мережковского статусом гения, о безмерной скуке этого мира, о бессмыслице и призрачности человеческого бытия, о роковом одиночестве гения во многом имеют своим источником философию Шопенгауэра и Ницше. Леонардо да Винчи – „вечный изгнаник”, „странник на большой дороге” истории, которого со временем окружает „всё большая пустота и молчание” (20).

В то же время нагнетение в романе мотивов тоски, скуки и смерти отражало тот „соблазн эстетизации страдания”, который, „гипнотически воздействуя на всю эпоху в целом”, входило обязательной частью в миросозерцание „старших” символистов.

С тем, что было в герое Мережковского от гения, связаны в его внешней характеристике такие черты, как спокойствие, холодность и бесстрастие. Это – не только его „спокойное проникновенное любопытство” или многократно повторяемая „улыбка змеиной мудрости”, но и не менее частое упоминание о его „светло-голубых глазах”, то „холодных”, то „ясных, тихих и чуждых, как звёзды”.

Вместе с тем, за пределами вышеотмеченной общности между гением романтика и гением неоромантика пролегает глубокий водораздел,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

обусловленный сменой эпох. И дело не столько в том, что у М. Эминеску гений по своей природе приобщён к демиургическому, а у Д. Мережковского он – смертный человек. Хотя и данное обстоятельство нельзя сбрасывать со счёта.

Персонаж Эминеску возвращается, в конце концов, на круги свои, туда, где ему и положено находиться, как одному из „столпов универсума”, оставаясь там „далёкой от людей одинокой вечерней звездой” и возвещая миру о несовместности демиургического и земного, сверхъестественного и человеческого. В своём качестве „космического принципа” Гиперион представляет собой то, что у Мирчи Элиаде названо „единственной реальностью” (21). Хаос, который его породил, в космогонических мифах описан как некое „компактное единство”, недифференцированное состояние, распавшееся затем на земные „противоположности”, под знаком которых и будет протекать существование человека.

Напротив, гений Мережковского – смертный человек, который в своём желании обрести „великую свободу” от внешнего мира устремляется к вечному и абсолютному.

В своём представлении о гении неоромантик заостряет его причастность к метафизической тайне: гений выступает как исключение из „общего мистического опыта”, в котором „в человеческом облике” скрывается „не-совсем человек” (22). Подобно древнеиндусскому божеству с амбивалентной функцией, и в гении происходит „смешение добра и зла, света и тени”, ибо он „одинаково причастен к тому и другому”.

Но именно в этой причастности к демиургическому и заключена драма земного гения, ибо он оказывается одержим „безумной надеждой” найти „выход в другое небо”, т. е. к той „единственной реальности”, в которой „то, что было Двумя, будет Едино”, иначе говоря, свершится „примирение” „противоположностей”, свойственных земному бытию. И тем глубже эта драма, чем яснее его мысль о бессилии перед лицом своего призрачного индивидуального существования. Герой Мережковского сознаёт, что божественный по своему происхождению огонь, питающий его творчество, обречён на угасание, ибо жизнь человека конечна.

Именно в подобном контексте особое звучание приобретает момент, когда гений Мережковского с тоской устремляет свой взор сквозь „стекло пыльного окна” к одинокой „вечерней звезде в безнадёжно–ясном небе”, „подобной светильнику прекраснейшего из ангелов тьмы – Люциферу–Светоносящему” (20, т. 2, ч. I, с. 216 – 217).

Знаменателен здесь сам по себе тот факт, что, если у М. Эминеску Лучафэр, „вечерняя звезда”, есть „позитивный дух” творения, который участвует „вместе со всем миром” в устройстве мироздания, то у русского неоромантика на романтическую парадигму гения накладывается тень „ангела тьмы”, что и возвещало на пороге конца XIX столетия перемещение центра тяжести с чувства спокойной гармонии прежнего искусства на чувство диссонанса и хаоса, иррационального и бессознательного. Высоко ценя творчество Пушкина и Л. Толстого, русские символисты, тем не менее, чувствовали более близким к себе „ночное светило русской поэзии” Лермонтова и „дионисийского” и

„экстатического” Достоевского, которого они признавали своим „духовным отцом”.

Начиная с Гёльдерлина, гений считается посредником Бога, которого лишь в моменты творчества посещает божественный дар. „Огненный Архангел, что ты принёс с собой?” вопрошают персонаж А. Мачедонского из стихотворения Декабрьская ночь в момент, когда на него снисходит вдохновение. В творце-художнике рядом с божественным не менее активным началом выступает его человеческая, несовершенная натура, которая и преодолевается в процессе созидания для окончательного торжества „высокой степени духовного творчества” (23). Примером в этом отношении мог бы послужить „старый учитель” из Послания первого Эминеску, в котором человеческая слабость побеждается величием интеллекта, способного проникнуть в саму сущность Мироздания. На таких, как этот, на внешний взгляд, „никчёмный” „старый учитель”, „стоит мир и вечность”, заключает поэт. Стоит добавить, что возможно, на выбор здесь на статус гения именно „мыслителя” оказала воздействие мысль Шопенгауэра о значении интеллекта, как высшей формы познания и творчества (24).

Напротив, в романе и эссе Д. Мережковского, В. Розанова, А. Белого внимание заостряется не на синтезе, а на дуализме земного и потустороннего: человеческое в гении не составляет больше своеобразной солидарности с высшим, космическим началом, представляет собой „две половины”, противостоящие одна другой. „Нездешнее” было в то же время „нечеловеческим”, чудесным и „страшным”, существовавшим в гении как бы независимо от его воли. Ибо если гений – „соучастник Демиурга”, способный создавать „новое пространство” или „новое человечество”, то это значит, что он – соперник Бога, что и накладывало на его облик отблески, напоминающие того, кто издавна, по христианской традиции, стремился „подражать” Создателю, т. е. антихриста. Так и у Мережковского – гений рисуется неким двуликим Янусом, на одном лице которого ярко горел „знак слуги Антихриста”.

Таково завершение траектории, пройденной в европейской литературе креационистским мифом, в котором творческая сила гения была поставлена Гёте в связь с демоническим. Согласно Гёте, пишут авторы трактата по эстетике, художник, преодолевая в себе человеческое, достигает божественного или, как предпочитал выражаться Гёте, демонизма (25). Демоническое немецкий писатель понимал как светлую, свободную творческую стихию – das Dämonische. К существам „демоническим”, т. е. к тем, кто, излучая огромную энергию, оказывает на людей „невероятное влияние”, он относил и обладателей разрушительной энергии, определяя её как „мефистофельское отрицание”.

Гётевская концепция демонизма, понимаемого как „положительная энергия”, лежащая в основе творчества, находит своё выражение, по мнению румынских эминескологов, и в творчестве М. Эминеску (26).

Внешние признаки „демонического соблазна” (Д. Мережковский) неоднократно различаются в лирике нашего поэта, отсылая нас к демонизму романтиков – к Байрону, Мильтону, Лермонтову.

Показателен в этом отношении ранний шедевр Эминеску,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

стихотворение Венера и Мадонна (*Venere și Madonă*, 1876), в котором возлюбленная предстаёт поэту „демоном”, „вакханкой” „с пустым и холодным сердцем и с отравленной душой”, обманно принявшей облик „ангела”. Однако, резкая антитеза скрадывается здесь любовью, ибо, как говорит поэт, „будь ты даже демоном”, „ты освещена любовью”. И в стихотворении Ангел и демон (*Înger și demon*, 1873) в финале Бог посыпает „ангела”, чтобы силой любви умиротворить „демона” – разочарованного поэта, ожидающего на своей „бедной постели” прихода смерти.

Казалось бы, в Лучафэре, где персонаж перевоплощается сначала в „ангела”, „молодого витязя со светлыми кудрями”, а затем в „прекрасного демона” с глазами, полными „неутолимого мрака страсти”, речь пойдёт о „двуликости” гения. Однако и здесь мы имеем дело со своего рода „примирением” „противоположностей”, совершающимся через одинаковое отношение „влюблённой девы” к обоим ипостасям: в обоих случаях она, чувствуя несовместимость „теплокровной” жизни и „холода” неподвижной вечности, отказывается идти „по пути”, который Лучафэр „открывает” перед нею. Взор Лучафэра излучает энергию, трудно переносимую простым смертным: героиня поэмы признаётся, что его „тяжёлый взор” „жжёт” её, подобно огню:

Глаза огромные твои
Томят и жжут невольно.
(Перевод Г. Перова)

Как это кажется, идея относительно „тяжёлого взора” гения, трудно переносимого для окружающих его людей, как и необъяснимое их влечение к нему, становится общим местом в литературе о художнике–творце. Так и у Мережковского его герой излучает какие-то непонятные ему самому лучи „тёмного радия”, приводящие к гибели дорогих ему людей.

Возвращаясь к идее „двуликости” творца, вбиравшего в себя „чудовищное” и „страшное”, следует отметить, что её акцентирование обуславливалось глубокими процессами, происходившими в русской литературе, которые были связаны с расхождением путей красоты и добра, эстетического и этического, выливаясь в России в бурные дискуссии о соотношении этики и эстетики, о совпадении/несовпадении искусства и морали, о природе зла и его соотношении с проблемой свободы выбора.

В подобной атмосфере примата эстетического большой притягательной силой обладали для русских неоромантиков эстетические идеи Шопенгауэра относительно чистого созерцания вечных идей, воспринятой немецким философом от античной эстетики. Здесь же следовало отметить, что и в эстетике „властителя дум” эпохи рубежа веков, Вл. Соловьёва, красота оценивалась как нечто „безусловно ценное”, как „цель сама в себе”, как, наконец, „чистая бесполезность”, имеющая все права на „законную автономию” (27). В то же время признание красоты не только не исключало, у русского философа, но и подразумевало требование „положительного” внутреннего свойства красоты, связанного с мечтой „перестроить жизнь для торжества истины,

добра и красоты” (А. Лосев).

В эстетике же Шопенгауэра „мир рассматривается,— как писал Э. Чоран,— как некий спектакль, а человек — как зритель, пассивно присутствующий при его развертывании” (28). Образ „зрителя” и „спектакля” восходил к пониманию гения у Шопенгауэра: освобождённый от „печалей и забот”, гений — „зритель жизни”, „ясный зритель”.

Эстетические идеи немецкого философа не могли не найти отзыва у М. Эминеску, который творил в эпоху, когда в атмосфере традиционализма духовный ментор „Жунимя” Титу Майореску, подняв вопрос о соотношении этики и эстетики, решает его в пользу автономии принципа эстетического. При этом, настаивая на введении эстетического критерия при оценке художественного произведения, румынский критик опирался на практику творчества И. Крянгэ, И. Л. Караджала, И. Славич и М. Эминеску.

Многозначительна в плане выявления шопенгаузеровой эстетики — и это не раз отмечалось румынскими эминескологами — та часть поэмы, в которой представлена космогония Эминеску. Эту картину первозданного сотворения мира вполне можно интерпретировать как нарисованную с позиций бесстрастного созерцания, отвечающего чистому созерцанию вечных идей у Шопенгауэра. Впечатление „бесстрастного и безвольного созерцания” космоса поддерживается отсутствием каких бы то ни было оценочных нот, лексем с оценочно-эмоциональной нагрузкой, что и приводит к тому „обезличиванию”, о котором говорит Д. Каракостя (29).

Представляет в этом отношении особый интерес и финал Лучафера, когда герой поэмы, „очистившись” от земных „противоположностей” — человеческих чувств, страсти, страдания, тоски, возвращается в свой мир вечной звезды, далёкой от людей, „бессмертной и холодной”. И хотя большинством русских переводчиков лексема „холодный” (по отношению к Лучафэру) заменена лексемой „бесстрастие”, всё же, думается, нельзя сказать, что гений Эминеску выступает здесь в шопенгаузеровом амплуа „ясного”, т. е. „бесстрастного” и пассивного „зрителя”, ибо в его обращении к влюблённым вкраплены синтагмы с явно оценочным характером. Так, земное существование „оценено” им как „тесный круг”, а к своей бывшей возлюбленной он адресуется с презрительным — „глиняный лик”, намекая тем самым на её смертную долю, но и вызывая ассоциации с глиняным горшком и с черепками, на которые он распадётся со временем. Всё это выдаёт типичную для романтика оппозицию миру, не понявшему и отринувшему гения, обрекая его на трагическое одиночество. Оппозиция романтика не означала *ciasi*-абсолютной свободы, выхода за пределы добра и зла, о чём нам и говорит Глосса с её призывом понять, „что есть зло и что есть добро”. Подобно Гёте, и румынский поэт мог бы сказать, что „человек обязан быть сыном века”. И миссию гения он видел в участии в жизни общества, свидетельством чему являются сатирические страницы из его поэтического наследия.

Об „эстетическом отношении к жизни” в духе созерцательной пассивности можно говорить лишь применительно к русским неоромантикам, согласно которым художник не должен покидать свою

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

позицию „тихого созерцания”, ибо погружение „в страсти толпы, полные вечного зла”, может стать для него роковым (20, т. 2, ч. I, с. 194). Лишь погружение в творчество, служащее красоте, понятой как „цель в самой себе”, давало гению из романа Мережковского „радость великого освобождения” от „внешних форм общежития”. Художник остаётся только художником, думающим о красоте формы, помимо которой для него „не существует ничего важного на свете”. „Войны, победы, поражения своих и чужих, перемены законов и правительств, угнетение народов, низвержение тиранов,— всё, что кажется людям единственно важным и вечным,— проносилось мимо него, как пыльный вихрь мимо странника на большой дороге” (20, т. 2, ч. I, с. 279),— читаем в романе Мережковского.

Подобное очищение искусства от земных „противоположностей”, граничащее с бездушием, и приводило ученика Леонардо да Винчи к мыслям об антихристовой „половине” его учителя.

Весьма выразителен в этом смысле эпизод, в котором речь идёт о смерти графини Беатриче. Рядом с убитым горем мужем и потрясённым окружением один лишь Леонардо „сохранил спокойствие”. „Глубоким, испытывающим взором следил он за герцегом”, за его „искажённым отчаянием” лицом с одной лишь мыслью — „зарисовать в памятную книжку” это лицо. „В такие минуты,— пишет автор,— любопытство художника превозмогало в нём всё. Выражение великого страдания в человеческих лицах, в движениях тела наблюдал он как редкий необычный опыт, как новое, прекрасное явление природы. Ни одна морщина, ни один трепет мускула не ускользали от его бесстрастного, всевидящего взора” (20, т. 2, ч. I, с. 279).

Но это и есть как раз одна из выразительных иллюстраций действия „демонической силы искусства”, о которой предупреждал Л. Толстой. Это есть и тот „роковой демонизм эстетических движений”, когда властью искусства само зло может предстать прекрасным. Наконец, здесь мы находим и подтверждение мысли Достоевского о том, что дьявол овладевает человеком, когда в нём пробуждается „эстетический восторг”.

Остаётся отметить, что если у таких талантливых художников слова, каковыми были Д. Мережковский, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, рядом с правдой мы обнаруживаем и известную односторонность, то относительно М. Эминеску можно было бы сказать, что будучи „*homo unicus*”, сыграв в румынской литературе роль, подобную роли Пушкина в России или Гёте в Германии, румынский поэт, „впитав в себя всё” (Гёте), отразил в своём творчестве полнокровное течение самой жизни.

Сказанное можно отнести и к Лучафэру, где параллельно с „хладной вечностью” шопенгауэрова мифа мы находим и картину „теплокровной жизни”, протекающей в своих пространственно–временных параметрах.

Время, как писал где-то Лев Шестов, пришло в мир, обманув бдительность вечности и принеся с собой смерть, но вместе с тем и движение и становление. И если гений Мережковского мечтает о преодолении временных границ с тем, чтобы выйти к вечности, к этому „неподвижному образу времени” (Платон), то желание гения Эминеску превратиться в простого смертного означало попытку, пусть и тщетную, вырваться из цепей статичной вечности, чтобы войти в преходящее и

вечно меняющееся время и пространство – этот прототип поэтического универсума нашего поэта, богатого и разнообразного, созданного с участием всех человеческих чувств.

Весьма показателен в этом отношении тот факт, что кульминационный момент любви двух молодых людей выступает в поэме как своего рода сон в летнюю ночь, описанный с применением стилевых фигур, предпочтаемых поэтом в его любовной лирике:

И льёт поток лучей своих
На вертоград и кущи,
На двух влюблённых молодых
Под сенью лип цветущих.

.....

И лепестки летят с ветвей,
Как дождь, живой и мудрый,
На головы земных детей,
На золотые кудри.
(Перевод А. Бродского)

Примечания

1. K. E. Gilbert, H. Kuhn, *Istoria esteticii*, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, c. 407.
2. T. Maiorescu, *Critice*, II, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1967, c. 333.
3. См. Б. Эйхенбаум, Лев Толстой. Семидесятие годы, „Художественная литература”, Ленинград, 1974, с. 170 – 174.
4. Перевод С. Шервинского даётся по: М. Эминеску, Лирика. Перевод с румынского, Изд-во „Художественная литература”, Москва, 1968.
5. В переводе на русский язык эта строка из Глоссы звучит менее убедительно: „Ты не верь волне текучей!” (См. М. Эминеску, Лирика, цит. изд., с. 131). В подлиннике: „Se e val ca valul trece”.
6. Стихи М. Эминеску в переводе Г. Перова приводятся здесь и в дальнейшем по: М. Эминеску, Лучафэр. Издание с параллельным текстом на румынском и русском языках. Перевёл Г. Перов, Кипинёв, 1974.
7. Перевод Д. Самойлова цит. по: М. Эминеску, Лирика. Перевод с румынского, Изд-во „Художественная литература”, Москва, 1968. Небезынтересно отметить, что у других русских переводчиков Лучафера (Ю. Кожевникова, И. Миримского, А. Бродского) этот шопенгаузер образ бесконечно следующих одна за другой волн не сохранён. В подлиннике: „Ei numai doar durează-n vånt/Deșerte idealuri/Când valuri află un mormânt,/Răsar în urmă valuri”. Стихи в подлиннике даются по изданию: M. Eminescu, Poezii. В двух томах, Ed. Minerva, Bucureşti, 1977.
8. Стихи Лучафера в переводе А. Бродского даются по: „Румынская

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

- литература”, 1984, №1, с. 58 – 69.
9. Ф. Сологуб, Тяжёлые сны. Роман. Рассказы, Ленинград, 1990, с. 37.
 10. З. Н. Гиппиус (Мережковская), Зеркала. Вторая книга рассказов, СПб., 1898, с. 59.
 11. Вл. Соловьёв, Сочинения в двух томах, том 2, Изд-во „Мысль”, Москва, 1988, с. 119.
 12. Вл. Соловьёв, Спор о справедливости, Изд-во „Эксмо-Пресс”, Москва, Изд-во „Форма”, Харьков, 1999, с. 390.
 13. В нашей книге на русском языке Философско-эстетическая мысль и русская литература (Изд-во Бухарестского университета, 1995) мы частично остановились на вопросе о влиянии психологической прозы Достоевского на русских символистов.
 14. Тудор Виану, Волнующая песнь, в „Румынская литература”, 1984, №1, с. 76.
 15. A. Petrescu, Eminescu – metamorfozele creației, București, 1985, с. 173.
 16. O. Densusianu, Opere. III, București, 1977, с. 520.
 17. K. E. Gilbert, H. Kuhn, цит. работа, с. 445.
 18. М. Эминеску, Стихи. Перевод с румынского, Госиздат „Художественная литература”, Москва, 1958.
 19. Дж. Кэлинеску, Чудо, в „Румынская литература”, 1984, №1, с. 81.
 20. Д. С. Мережковский, Христос и Антихрист, трилогия, т. 3, ч. 2, Воскресшие боги (Леонардо да Винчи), Москва, 1990, с. 191, 276.
 21. Mircea Eliade, Mefistofel și androginul. Traducere de Alexandra Cunișă, Ed. Humanitas, București, 1995, с. 101.
 22. Д. Мережковский, Избранное. Роман, стихотворения, эссе, исследования, „Литература артистикэ”, Кишинёв, 1989, с. 486.
 23. В. С. Соловьёв, Философия искусства и литературная критика, Москва, 1991, с. 276.
 24. K. E. Gilbert, H. Kuhn, цит. работа, с. 403.
 25. Там же, с. 311.
 26. A. Petrescu, цит. работа, с. 187, 196.
 27. В. С. Соловьёв, Сочинения в двух томах, 2-е изд., том 2, Изд-во „Мысль”, Москва, 1990, с. 355, 356.
 28. Emil Cioran, Pe culmile disperării, Ed. Humanitas, București, 1993, с. 50.
 29. D. Caracostea, Creativitatea eminesciană, București, 1943, с. 221 – 222. В нашей работе Восприятие творчества М. Эминеску в русской культуре (*Romanoslavica*, XXX, 1992, с. 71 – 105) мы остановились, в частности, и на трудностях передачи в русских переводах Лучайера картины космогонии у М. Эминеску, поданной с позиций бесстрастного наблюдателя (см. с. 92 – 93).

**Русская драматургия
на сцене Крайовского национального театра**

Адриана Улиу (Adriana Uliu)

В июне 2000 года Крайовский национальный театр праздновал свой полуторавековой юбилей. Для нашего города это было настоящее событие, которое порадовало всех театралов и не только них.

Крайовский национальный театр за последнее десятилетие стал известнейшим в стране благодаря исключительным постановкам знаменитых режиссёров Сильвиу Пуркэрете, Мирчи Корништяну, Влада Мугура и замечательной игре его актёров.

Труппа театра была с 1990 по 1999 год на гастролях и участвовала в театральных фестивалях в 32 странах (Республике Молдове, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Израиле, Канаде, Голландии, Австрии, Австралии, Турции, Бельгии, Бразилии, Португалии, Франции, Югославии, Сингапуре, Люксембурге, Египте, Дании, Испании, Греции, Норвегии, Ирландии, Македонии, США, Венгрии, Швеции, Словении, Эстонии, Польше, Южной Корее; в некоторых из этих стран по несколько раз).

Актёры, режиссёры и постановки Крайовского театра были удостоены многочисленных международных и румынских театральных премий, которые увенчали мастерство игры, оригинальность и новизну спектаклей.

В этом контексте нам хотелось бы проследить, какое место заняла в репертуаре Крайовского национального театра русская драматургия.

До 29 июня 1850 года, когда началась новая жизнь театра как профессионального учреждения, в Крайове шли в основном спектакли зарубежных трупп, в большинстве французских и немецких, иногда и английских. Интерес к театральным спектаклям на румынском языке возрастает по всей стране, и в Крайове всё чаще стали гастролировать уже румынские труппы. Интерес к румынскому театру, а также к румынским оригинальным пьесам и инсценировкам связан с повышением патриотических настроений накануне и во время революционных событий 1848 года. Национальная драматургия набирает всё больше сил, и к концу XIX века пьесы Иона Луки Караджале (1852-1912) блестящее завершают длительный и сложный процесс становления румынской драматургии.

Наряду с отечественными пьесами на сценах румынских театров ставились и зарубежные драматические произведения, более или менее правильно переведённые, или в многочисленных переложениях, подражаниях и адаптациях.

Так случилось и в Крайовском театре. Судя по библиографическим материалам, которыми мы располагали, на крайовской сцене в сезоне 1869/1870 впервые была поставлена русская пьеса, а именно Ревизор. Пьеса

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

шла под названием Генеральный ревизор и была на самом деле не переводом, а переложением Петре Локусяну сюжета гоголевской комедии. Через несколько лет, в сезон 1874/1875 вновь идёт спектакль Генеральный ревизор в переложении, подписанном Петре Грэдиштяну, на основе французского перевода Проспера Мериме. И на этот раз пьеса оказалась далека от оригинала, в том смысле, что она „локализирована на румынской почве”.

Крайовский спектакль ставится почти одновременно с бухарестской постановкой 1874 года. Но фактическое знакомство румынской публики, в том числе и крайовской, с пьесами русских авторов состоялось только в начале XX века.

Конечно, в конце XIX века ставились и шедевры мировой драматургии, как, например, пьесы Мольера или Шекспира, но в основном преобладали пьесы развлекательного характера. В репертуар румынских театральных трупп и компаний долгое время входили многочисленные пьесы французской школы комедии (Сарду, Лабиша, Скриба), а также французской или немецкой романтической драмы. В то же время на театральных сценах, кроме драматических представлений, часто шли спектакли оперы и оперетты.

В июне 1911 года, когда Крайовскому театру исполнился 61 год, директором был назначен писатель Эмиль Гырляну (1878-1914), а заведующим литературной частью – молодой писатель, в будущем известный романист, Ливиу Ребряну (1885-1944). „Новая эра”, открытая „дуэтом” директора и завлитотделом, ознаменовала и новую политику в области иностранного репертуара, что коснулось выбора пьес и качества их переводов¹. В сезон 1913/1914 наряду с постановками румынских пьес и пьес из мирового репертуара (Трактирщица К. Гольдони, Гамлет У. Шекспира или Электра Софокла) был поставлен и спектакль На дне Максима Горького.

Это было первое настоящее знакомство крайовских театралов с русской пьесой. Интересным кажется тот факт, что был избран современный автор, довольно известный в Румынии и как прозаик (переводы рассказов М. Горького появляются на страницах румынских журналов с 1901 года; в первом десятилетии века были напечатаны в отдельных изданиях или в журналах – На дне – 4 раза (два раза в 1904 году, в 1907 году и в 1909 году), Мещане – в 1906 году. В крайовском журнале „Рамуръ” („Ramuri”) появился в 1908-1909 году перевод горьковского рассказа Однажды осенью², так что имя русского автора было знакомо читателям местного журнала, которые могли быть и читателями других румынских журналов и книг с переводами пьес и рассказов М. Горького.

Обращение театра к пьесе М. Горького связано, наверное, с тем, что в начале XX века о ней уже знали в Румынии. В 1904 году драма была впервые в Румынии поставлена Ясским национальным театром, через два года после премьеры в МХТе. Интерес к пьесе Горького в Румынии объясняется и широким европейским признанием постановки Макса Рейнхардта в 1903 г. в Берлинском театре. В Румынии На дне ставили

многократно: Бухарестский национальный театр в 1915 и 1931 гг., вновь Ясский театр в 1916, 1921 и 1931 годах, Клужский национальный театр в 1922 и 1932 гг. В 1935 году пьесу играет и любительская труппа рабочих в Бухаресте. Две частные театральные компании поставили её в столице страны в 1938 и 1939 годах. Практически, „На дне была единственная пьеса Горького, которая стала достоянием румынской сцены до 1944 года”³.

В поисках обновления репертуара, к горьковской пьесе обращается в 1913 году и Крайовский национальный театр, который поставит ещё два раза драму Горького – в сезоне 1924/1925 и в сезоне 1927/1928, выбирая свой репертуар подобно всем румынским театрам того времени.

В этом же сезоне (1913-1914) крайовская публика впервые встретилась и с драматургией А.П.Чехова. Первой постановкой Чехова в Крайове была пьеса Юбилей, переведённая на румынский язык Aniversarea. Об этом спектакле нам не удалось найти отзывов ни в местной печати, ни в архиве театра. К сожалению, Крайовский национальный театр горел три раза, в результате чего сохранилось весьма небольшое количество документов об его истории. Но если информация об этом спектакле правильна⁴, это значит, что в Крайове состоялась одна из первых постановок Чехова в Румынии.

Как это не странно, но Чехова играли довольно мало в Крайове. До второй мировой войны лишь два раза имя Чехова появилось на афишах. В 1922/1923 показывали пьесу Вишнёвый сад, а в сезоне 1929/1930 был поставлен водевиль Предложение в рамках литературных вечеров (*Şezători literare*), которые включали доклады на разные литературные темы (был, например, доклад о писателе Д. Мережковском) и небольшие театральные представления. В отличие от театров столицы или других больших городов (Ясс, Клужа) внимание крайовских режиссёров и художественных руководителей чеховская драматургия не привлекала. Весьма печальный факт...

В период 1914-1922 годов на сцене крайовского театра не была сыграна ни одна русская пьеса. Но следующее десятилетие (1922-1932) означало для крайовской сцены настояще „открытое окно” в мировую драматургию: Шекспир и Стриндберг, Шиллер и Мольер, Т. Бернар и Судermann, Гауптман и Пиранделло, Шоу и Бомарше, Пшибышевский и Ибсен, вот несколько авторов, чьи драматические произведения стали достоянием крайовской публики. В эту прекрасную компанию входят и русские авторы, классики и современники: Лев Толстой, Н. Гоголь, Ф. Достоевский (инсценировки по романам Преступление и наказание и Идиот), А. Чехов, М. Горький, Л. Андреев, М. Арцыбашев, Н. Евреинов, О. Дымов.

В хронологическом порядке, первыми постановками русских пьес в указанном десятилетии были Власть тьмы Л. Толстого и Вишнёвый сад А. Чехова из классического репертуара, и пьеса Ню современного русского автора эмигранта Осипа Дымова (сезон 1922/1923).

Имя Толстого-драматурга известно румынской публике ещё с 1904 года, когда Ясский национальный театр поставил Власть тьмы. До 20-х годов на сценах ясских и бухарестских театров часто идут спектакли с

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

инсценировками романов и повестей Толстого – Анна Каренина, Воскресение, Крейцерова соната. Начиная с 1921 года, когда гастролирует с пьесой Живой труп немецкий актёр Александр Моисси и его спектакли воодушевляют публику, румынские театры всё чаще обращаются к драматургии Толстого. Этому способствовали также и гастроли французской труппы Pitoëff (1926) и еврейского театра из Вильно, которые представили Власть тьмы и Живой труп.

В театральном сезоне 1925/1926 на крайовской сцене возобновляются спектакли по пьесе Л. Толстого Власть тьмы. Новая постановка и игра актёров были высоко оценены как публикой, так и театральными критиками.

Текст драмы в исполнении крайовских актёров прозвёл большое впечатление на зрителей, глубоко взволнованных нравственной проблематикой толстовского произведения. К сожалению, Крайовский национальный театр больше не будет обращаться ни к драматургии Толстого, ни к инсценировкам по его великим романам, хотя они часто шли на сценах других румынских театров.

В сезоне 1922/1923 была представлена крайовским зрителям и пьеса Ню Осипа Дымова (1878-1959). Именно в 1922 году эту пьесу поставил в Бухаресте в исполнении актёров Компании Буландра немецкий режиссёр, ученик Райнхардта, Карлхайнц Мартин. Спектакль прошёл с большим успехом. Почти одновременно обратился к этой пьесе и Крайовский театр. Спектакль удался благодаря современной постановке молодого и талантливого режиссёра Виктора Бумбешть и прекрасной декорации, созданной художником Жаном Негулеску (в дальнейшем известным режиссёром в Голливуде). Публике понравились и трогательный сюжет пьесы, и стилизованная постановка, создающая атмосферу романтической драмы, „трагедии каждого дня”, как назвал свою пьесу автор.

В репертуар Крайовского национального театра вновьходит Ревизор, уже в хорошем переводе с русского языка, и после выдающегося спектакля 1909 года режиссёра Петре Гости в Бухарестском национальном театре.

Первая постановка была в 1923 году, а вторая, через пять лет, в 1928 году. Режиссёр Виктор Бумбешть тонко уловил смысл гоголевской пьесы и, чувствуя как бы недоумение публики, склонной видеть в Ревизоре простую сатиру, объяснил своё понимание комедии: „Следуя намерению Гоголя, я интерпретировал его произведение в духе карикатуры и сугgerировала публике почувствовать за шуточным бурлеском боль (курсив мой А.У.), которую вложил автор в свою пьесу”⁵.

Может быть, зрителям не удалось вникнуть во всю сложность гоголевского шедевра и потому, что декорация была оформлена в „конструктивистском духе”, как называет её В. Бумбешть. Публика ещё не была готова к новизне режиссёрской концепции, которая оказалась, к счастью, образцовой для будущей постановки пьесы в 1952 году.

Между двумя постановками Ревизора на сцене Крайовского театра была представлена и комедия Гоголя Женитьба (в сезоне 1925/1926) в постановке того же Виктора Бумбешть.

Надо подчеркнуть, что период после окончания первой мировой войны и до 1930 года является „пиком” гоголевских спектаклей на румынской сцене. Ревизора играют несколько театров в Бухаресте, а в Яссах и в Клуже через каждые 2-3 года возобновляются постановки пьес Гоголя. То же самое можно сказать и о Женитьбе.

Ревизора играют даже в школьных спектаклях (в городе Пятра Нямц – 1921, в Крайове - 1923) и в городских театрах (Бреила - 1924)⁶. В эту „лавину” исполнений гоголевских комедий входит и Крайовский национальный театр, о спектакле которого в 1923 году пишут и в столичном театральном журнале „Rampa”.

По нашему приблизительному подсчёту между 1919 и 1930 годами пьесы Гоголя были поставлены в Румынии свыше 20 раз, включая и спектакли немецких, венгерских и еврейского театров, а также гастроли труппы из Вильно.

Интерес художественных руководителей Крайовского театра всё больше вызывает драматургия современных русских авторов. Конечно, по легко объяснимым причинам политического характера, это будут в основном писатели русской эмиграции, чьи имена и творчество были хорошо известны на Западе. Частые контакты представителей румынского театра с культурной жизнью Франции, Германии, Италии сделали имена Арцыбашева, Андреева или Евреинова знакомыми и румынской публике.

Но и достижения советского театра, особенно таких выдающихся режиссёров, как К. Станиславский, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов или А. Таиров были известны румынским режиссёрам и театральным критикам, как, например, В.И. Попа, Соаре З. Соаре, А.М. Майкану, Камилю Петреску, Ливиу Ребряну.

Этому способствовали и гастроли МХАТа в Германии, Франции и США, которые продлились два года (1922-1924) и о которых, несомненно, знали и румынские театральные деятели. В число спектаклей, которые повёз МХАТ в Европу и Америку, входили На дне Горького, Дядя Ваня, Вишнёвый сад и Три сестры Чехова, что, безусловно, содействовало повышению интереса к русскому театру в межвоенное время в Румынии. Доказательством служит большое количество русских пьес и инсценировок произведений Л. Толстого и Ф. Достоевского, поставленных на румынской сцене (приблизительно 20 названий). Из советской драматургии в Румынии шла только пьеса Валентина Катаева Квадратура круга (1935, 1938) в Бухаресте и Яссах.

В то же время и репертуар гастролирующих зарубежных театров или актёров в Румынии⁷ содержал пьесы русских авторов, что, конечно, привлекло внимание режиссёров и художественных руководителей театров к русской драматургии.

В сезон 1926/1927 на сцене Крайовского национального театра шли с успехом Ревность М. Арцыбашева и Профессор Сторицын Л. Андреева, а через два года Тот, кто получает пощёчины Л. Андреева и Самое главное Н. Евреинова. Последняя пьеса была возобновлена в сезоне 1931/1932, а также

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

после 1944 года.

Представляя пьесу Тот, который получает пощёчины, директор театра Ал. Лэзяну отмечает её глубокий психологизм и называет её „театром отчаяния души и ума”⁸.

Вообще все румынские театры, ставившие андреевскую драматургию, обращались к психологическим драмам больше, чем к пьесам экспрессионистского, явно модернистского характера. Мысль, Анфиса, Екатерина Ивановна, Профессор Сторицын, Тот, кто получает пощёчины, Gaudeamus идут с успехом в румынских театрах, начиная с 1922 года. В этом контексте крайовская постановка Профессора Сторицына в сезоне 1926/1927 является одной из первых на румынской сцене (в Бухаресте пьесу будут играть в 1929, потом в 1939/1940 годах). Если наша информация является точной, то и крайовская постановка Того, кто получает пощёчины оказывается первой в Румынии; в Бухаресте и одновременно в Яссах драма Андреева была поставлена в 1929-1930 годах.

Имя Арцыбашева было известно румынским читателям с 20-х годов, когда появился перевод его нашумевшего романа Санин, а любителям театра – благодаря спектаклям труппы из Вильно, а также ясским и бухарестским постановкам Ревности. Роман Санин вызвал и в румынской печати острую полемику о „порнографии” в литературе.

Имя Евреинова было также хорошо известно театральным деятелям и критикам, которые знали о его деятельности как писателя и режиссёра в Париже и до которых дошли переведённые на французский и английский языки его книги о театре. Так что обращение театров, в том числе и крайовского, к его пьесам вполне понятно. Нам не удалось найти отзывов об этих спектаклях, но судя по тому, что Самое главное шло в двух театральных сезонах, можно считать, что и в Крайове пьеса пользовалась успехом.

Заканчивая наш обзор о русском репертуаре Крайовского национального театра (детальное обсуждение проблем исполнительского и режиссёрского мастерства не является целью нашей работы), мы должны упомянуть и о двух инсценировках романов Ф.М. Достоевского Преступление и наказание (сезон 1927/1928) и Идиот (сезон 1931/1932). Первая принадлежит крайовскому актёру Тудору Кэлину, вторая – Аркадию Бакуле.

Инсценировка Т. Кэлина была избрана как лучшая, из сыгранных уже на других румынских сценах инсценировок французского автора Гастона Бати. В румынских театрах инсценировки романов Достоевского часто ставились и пользовались большим успехом, так как публика была знакома и с переводами „великих романов” на румынский язык, и с многочисленными статьями и очерками о творчестве писателя, напечатанными в литературных и общественных журналах. Инсценировка в 4-х действиях Идиота А. Бакули была впервые поставлена в Крайове, потом по ней ставились спектакли в Клуже и Бухаресте.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что репертуарная политика Крайовского национального театра ориентировалась на выбор лучших пьес из мировой драматургии, как это происходило и в других

румынских театрах. Но с 1932 года русская драматургия исчезает из репертуара крайовского театра. Правда, с 1935 года по 1942 год Крайовский, Черновицкий и Кишинёвский национальные театры перестали получать субсидии от бюджета, практически прекратив своё существование. Драматическая ассоциация крайовских актёров, основанная в 1935 году, продолжала в очень тяжёлых условиях ставить театральные спектакли до 1942 года, когда театр был снова открыт.

Несколько итогов.

1. Настоящая жизнь русской драматургии на крайовской сцене началась с 10-х годов XX столетия.

2. До второй мировой войны художественные руководители театра и режиссёры выбирали самые известные драматические произведения русских классиков и современных драматургов, но тем не менее из лучших произведений Чехова сыграли лишь Вишнёвый сад. Некоторые русские пьесы были поставлены по три раза – На дне, или по два раза – Ревизор, Самое главное, в разных исполнениях и постановках.

3. Вопреки не всегда благоприятным политическим условиям (особенно после 1917 года) румынские театральные деятели в том числе и крайовские, культивировали подлинное искусство, признавая высокую художественную и нравственную ценность лучших русских драматических произведений.

Новый этап в истории Крайовского национального театра начинается после окончания войны и особенно после установления в 1948 году новой политической власти. Если до этого года в театральных сезонах 1944/1945, 1945/1946, 1947/1948 по конъюнктурным причинам в репертуар были внесены советские пьесы наряду с возобновлёнными спектаклями русских авторов из довоенного репертуара, то после 1948 года два сезона подряд (1948/1949 и 1949/1950) на сцене театра идут только советские пьесы, конечно, наряду с румынскими и зарубежными пьесами.

Первая русская пьеса, поставленная после войны, На дне (1944) открыла в довоенное время русский репертуар Крайовского театра.

В новой постановке режиссёр А. Кислиевич и художник Ш. Хаблински усилили гуманистическое звучание текста, в отличие от предыдущих постановок, ориентированных на „экзотику“ персонажей и ситуаций.

В следующем сезоне (1945/1946) театр вновь ставит пьесу Н. Евреинова Самое главное (ещё не действует запрет на авторов-эмигрантов!) и чеховские одноактные пьесы, всегда пользующиеся успехом у публики.

Из советской драматургии были поставлены пьесы К. Симонова Русские люди и Русский вопрос, отвечающие императивам послевоенной политики, а также инсценировка романа Б. Горбатова Непокорённые и Чужой ребёнок В. Шкваркина (1944-1948 годы). Последняя пьеса была переведена в Крайове и поставил её советский режиссёр Е.В. Купченко из московского Театра Советской Армии, который должен был „указать“ актёрам, как надо играть советскую пьесу. При всём старании актёров, что признал и сам

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

режиссёр, спектакль не был убедителен, ибо были слишком явны идеологизирующие штампы. То же самое можно сказать и о постановке Русского вопроса.

Дань эпохе проявляется всё сильнее: драмы или комедии, советские пьесы должны были доказать румынской публике высокую партийность советского человека, его героизм в революции и на войне, его моральное превосходство перед буржуазным миром. Пропагандистский характер пьес и низская художественность некоторых драматических текстов не делали эти спектакли театральными событиями: Встреча на Эльбе братьев Тур и Г. Шейнина, Московский характер А. Софронова, Голос Америки Б. Лавренёва, Особняк в переулке братьев Тур, В степях Украины А. Корнейчука, День отдыха В. Катаева, Вас вызывает Таймыр Ал. Галича, Я родился вчера Т. Канина, Роковое наследство Г. Шейнина, Остров мира Е.В. Петрова¹⁰.

Постановка советских пьес становится обязательной на всех сценах румынских театров – от Национальных до городских и любительских ансамблей. Беглый обзор репертуара того времени показывает, что почти везде ставятся те же пьесы и те же авторы. Указания из центра исполняются безропотно...

С 1947 года по 1965 год не было в Крайове ни одного театрального сезона без постановок советских пьес. Среди них были более или менее удачные произведения, но идеологическая направленность портила их восприятие, вопреки хорошим постановкам и прекрасной игре артистов. Перечень этих пьес не нуждается в дальнейшем комментарии: Таня, Годы странствий, Иркутская история А. Арбузова, Опасный спутник, Стряпуха замужем А. Софронова, Персональное дело А. Штейна, Дали неоглядные А. Вирты, Молодая гвардия – инсценировка Н.П. Охлопкова романа Фадеева, Любовь Яровая К. Тренёва, Как поживаешь парень? В. Пановой, В добный час! В. Розова, Свадьба с приданым Г. Дьяконова, Семья Аллана Г. Мухтарова, Платон Кречет и Калиновая роща А. Корнейчука, Не называя фамилий В. Минко, Красный цветок И. Карнауховой и И. Браусевича, Повесть о любви К. Симонова, Дальнее эхо С. Голованивского, Девушка в веснушках А. Успенского¹¹.

Исключением является постановка тогда молодого, в последствии знаменитого на румынских и зарубежных сценах режиссёра Влада Мугура (1921-2001) Оптимистической трагедии В. Вишневского в 1959 году, которая была высоко оценена специалистами и публикой. Влад Мугур решил спектакль смело, ярко и интересно, художник Ж. Перахим оформил его пластически и оригинально, молодые актёры театра исполнили роли мастерски; обо всём этом восторженно писала местная и столичная критика, называя постановку шедевром и „театральным чудом”.

После 1965 года, когда политика Румынии частично выходит из-под сильного влияния Москвы, в репертуарах отечественных театров постановки советских пьес становятся реже, и возможны уже и театральные сезоны без единой советской или русской пьесы. Такое явление характеризует и творческую программу Крайовского национального театра.

Явно политические спектакли ещё встречаются: Между ливнями А. Штейна (1969/1970), Метель Л. Леонова (1975/1976). Но преобладают уже драматические произведения о современной жизни, посвящённые нравственной проблематике, личной жизни, любви, семейным отношениям: 104 страниц про любовь Э. Радзинского, Мой бедный Марат (1971/1972) и Жестокие игры (1978/1979) А. Арбузова, На скамейке А. Гельмана (1987/1988) или Святая святых Иона Друцэ (1984/1985). Зрители оценили спектакли Жестокие игры и На скамейке, поставленные в экспериментальной студии театра Т 94 актёром Ремусом Мэрджиняну в духе искренности, правдивости и душевной чуткости, столь нужные современному человеку, уставшему от назойливого „социалистического воспитания”.

К сожалению, интересные пьесы А. Вампилова, с успехом идущие на других румынских сценах, не вошли в репертуар Крайовского театра. Возвращается на крайовскую сцену и русская классика, о которой как будто забыли в потоке пьес о „передовом советском человеке и обществе”...

В сезоне 1950/1951 впервые вошла в репертуар Крайовского национального театра пьеса А.Н. Островского Волки и овцы. Ровно через десять лет (1960/1961) будет поставлен спектакль Лес, а ещё через десять лет (1972/1973) Без вины виноватые, ранее совсем отсутствующие на крайовской сцене. Надо сказать, что до войны вообще драматургия А.Н. Островского не часто ставилась на румынской сцене. Её настоящая жизнь в румынских театрах началась лишь после 1944 года.

В сезон 1951/1952 вновь был поставлен Ревизор Н.В. Гоголя, а через 22 года в сезон 1974/1975 Женитьба. Если эти два спектакля были решены в добродушной традиции классического театра, то постановка Записок сумашедшего была новым и удачным экспериментом, первым моноспектаклем на крайовской сцене (сезон 1970/1971).

До войны и сразу после неё Крайовский театр играл из горьковской драматургии только На дне; с сезона 1955/1956, когда была поставлена Васса Железнова, начинается новое обращение к горьковскому театру. В 1961/1962 – премьеры Последних, а в 1967/1968 Егора Булычёва и других продолжают новое прочтение классики, что является убедительным показателем зрелости крайовской труппы и мастерства её режиссёров.

Но вершиной крайовской интерпретации драматургии М. Горького является новая постановка бухарестского режиссёра Дана Александреску пьесы На дне в 1979 году. Спектакль был создан в неожиданном сатирическом ракурсе и слова Сатина о Человеке звучали жутко, даже гротескно в атмосфере разлагающихся личностей, проживающих в ночлежке. Кажется парадоксально, но публика смеялась во время спектакля, понимая таким образом без труда замысел режиссёра и актёров. Советский режиссёр Александр Грегорян (Ереванский русский театр им. К. Станиславского), который ставил в Крайове пьесу Кафедра В. Врублевской (1981), посмотрев этот спектакль, оценил его оригинальность и нонконформизм, новый стилевой ключ постановки.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Выше мы говорили, что пьесы А.П. Чехова как-то не „прижились” на краивской сцене довоенного времени. Как это не странно, но ситуация повторилась и после 1944 года. После долгого отсутствия чеховская драматургия заинтересовала художественных руководителей театра лишь в сезон 1966/1967, когда была осуществлена постановка Пьесы без названия (Платонов), в которой драматическая напряжённость текста была раскрыта в тонком соотношении комического и трагического. До этого лишь раз, в 1953 году, к 50-летней годовщине со дня смерти А.П.Чехова юбилейный спектакль включил одноактные пьесы Предложение, Лебединую песню и О вреде табака.

Но действительным театральным событием стала премьера спектакля Дядя Ваня в 1989 году. Критика единогласно отметила „классичность” постановки, поэтичность прочтения чеховского текста, высокий класс актёрского исполнения и режиссёрской концепции (поставил пьесу известный режиссёр Мирча Корништяну). Спектакль как таковой, актёры и художник-декоратор были удостоеными премиями UNITER, а гастроли в Бухаресте и Кишинёве (1990) прошли триумфально.

Крайовская постановка Дяди Вани доказала лишний раз, что классическая пьеса звучит современно, если в ней умело и чутко раскрывают то, что может волновать современных зрителей.

Стоит говорить и о том, что краивская публика имела возможность смотреть русские и советские пьесы в исполнении двух знаменитых театральных коллективов Москвы и Ленинграда. В 1969 году гастролировал в Крайове Академический Малый театр, который представил Бешеные деньги А.Н. Островского и Твой дядя Миша Г. Мидвани, а в 1973 году Ленинградский Большой драматический театр им. Максима Горького, возглавляемый знаменитым режиссёром Г.А. Товстоноговым, представил в рамках Декады советской культуры спектакли Мещане М. Горького и Третья вахта Г.К. Пролова. Крайовские заядлые театралы до сих пор вспоминают об этих незабываемых постановках русской драматической классики в лучших традициях русского театрального мастерства.

Третий этап в истории Крайовского национального театра начинается в 1990 году, когда, освобождённый от политического нажима и идеологических догм, театр вступил на новый путь, и свободно формирует свою творческую программу. В этой атмосфере настоящей „оттепели” не забыт и русский репертуар. В апреле 1990 года ставит инсценированный роман Ф.М. Достоевского Братья Карамазовы английский режиссёр Файнья Уильямс (Faynia Williams) по тексту драматурга Ричарда Крейна (Richard Crane). Премьера состоялась в Бухаресте (*sic!*) и воодушевила зрителей, театральных деятелей и критиков.

В сезон 1996/1997 актёры Крайовского театра игали лирическую пьесу Алексея Арбузова Старомодная комедия. Публика оценила текст пьесы (правда, слега адаптированный!), в котором трогательно сочетаются радостное настроение и светлая грусть.

Чехов возвращается на краивскую сцену в декабре 1999 года, когда имеет место юбилейный спектакль с пьесами Медведь и Лебединая песня

в честь 75-летия актёра Василе Космы и 55-летия его театральной деятельности.

Пьесу Людмилы Разумовской Дорогая Елена Сергеевна... сыграли в 1999 году на сцене Крайовского национального театра студенты IV курса театрального факультета Крайовского университета на своём выпускном спектакле.

И совсем недавно, осенью 2001 года Крайовский театр поставил в шестой раз в своей истории Ревизора. Спектакль осуществил молодой режиссёр Клаудиу Гога, который, уходя от традиционных сценических решений комедии, создаёт свежую, современную и интересную постановку, соединяя в ней жизненную правду с театральной условностью и оформляя при том спектакль в совершенно гоголевском духе.

Нам хочется верить, что и в будущем Крайовский национальный театр сумеет поставить пьесы из русской драматургии, которые окажутся созвучными интересам людей XXI века.

Несколько итогов.

1.

После 1944 года, и особенно после 1948 года Крайовский национальный театр, как и все театры Румынии, был вынужден играть советскую драматургию, чаще всего пьесы с яркой идеологизирующей направленностью.

2.

Постепенно театр освобождается от „официального” репертуара и старается выбирать произведения советских авторов, в которых трафаретные конфликты заменены более правдивыми, а пропагандистские лозунги звучат слабее.

3.

Обращение к русской классике показало ещё раз, что смелый творческий подход к произведениям, которые вошли в культурный код человечества, делает их близкими и нужными современному зрителю.

Примечания

1. Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, *Istoria Teatrului Național din Craiova*, Ed. Aius, Craiova, 2000, p. 96.
2. V.Vintilă, A. Uliu, E. Găleată, *Literatura rusă și sovietică în presa olteană (1888-1947)*, în *Contribuții la istoria mișcării culturale literare de la începuturi până astăzi*. Vol. II. *Relații culturale ale Olteniei cu străinătatea*, Reprografia Universității din Craiova, 1980, p. 98.
3. Tatiana Nicolescu, *Piesa Azilul de noapte pe scena românească (1904-1944)*, în *Romanoslavica*, VIII, București, 1963, p. 307.
4. *Istoria teatrului în România*, Ed. Academiei RSR, București, 1959, p. 38.
5. Victor D. Bumbești, *Revizorul de Gogol*, „Curierul Olteniei”, 1928, nr. 1493, p. 1.
6. Tatiana Nicolescu, *Opera lui Gogol în România*, ESPLA, București, 1959, pp.100-102 și urm.
7. Еврейский театр из Вильно гастролировал в Румынии несколько раз между

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

1923 и 1934 годами и представил из русского репертуара Живой трупп, Тот, кто получает пощёчины, Мысль, На дне, Женитьба, Ню, Ревность и др. В 1927 г. Варшавский еврейский театр (WIKT) представил Рассказ о семи повешенных; в 1926 году парижский Théâtre des Arts (Georges et Ludmila Pitoëff) - Живой трупп; немецкий актёр Александр Моисси играл в Бухаресте в пьесе Живой трупп (1921, 1932), а Пауль Вегенер – в пьесе Мысль (1928.)

8. A. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., p. 152.

9. Ileana Berlogea, Dramaturgia lui Leonid Andreev și teatrul românesc „Secolul XX”, 1966, nr. 8, p. 99.

10. Нам не удалось установить названия оригиналов последних трёх пьес и мы дали русский перевод, соответствующий румынскому названию.

11. Для последних четырёх пьес см. Примечание 10.

12. A. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., pp. 323-325.

**Przegląd badań porównawczych
nad literaturami słowiańskimi w Rumunii***

Constantin Geambașu

Literatura porównawcza zarysowała się w Rumunii jako samodzielna dyscyplina w drugiej połowie XIX-go wieku, rozwinięła się zaś wraz z założeniem zakładu literatury porównawczej i powszechnej na Uniwersytecie w Bukareszcie oraz rozpoczęciem wydawania czasopisma *Studii de literatură universală*. Założycielem zakładu był T. Vianu, który swoimi studiami i badaniami wywarł duży wpływ na dalszy rozwój tego przedmiotu. W 1967 roku, kierownictwo zakładu przejął Al. Dima, który kontynuował zainicjowane przez swego poprzednika badania. Obie opublikowane przez niego książki (*Conceptul de literatură universală și comparată/ Przedmiot literatury powszechnej i porównawczej*, 1967, i *Principii de literatură comparată/Zasady literatury porównawczej*, 1969, 1972) są próbą dokładnego zarysowania zakresu przedmiotu oraz uściślenia przyszłych kierunków badań, na podstawie bogatej literatury powstałej na obszarze romańskim i niemieckim.

Początkowo badania nad literaturami słowiańskimi w Rumunii ograniczały się do literatury i kultury rosyjskiej. Dopiero po drugiej wojnie światowej, wraz z założeniem zakładu slawistyki w Bukareszcie, w 1949 roku, wyłonili się pierwsi specjaliści w zakresie pozostałych literatur słowiańskich. W innych ośrodkach uniwersyteckich (Iași, Cluj, Timișoara) funkcjonowały zakłady języka i literatury rosyjskiej, a pozostałe języki słowiańskie studiowano w ramach lektoratów.

Pierwsze badania porównawcze zostały zapoczątkowane przez pracowników zakładu rusycystyki i slawistyki. Jako wzór posłużyły rozprawy napisane przez T. Vianu, G. Călinescu, a nieco później, przez Al. Dimę, jak również i prace napisane w języku francuskim (zob. Paul van Tighem lub P. Bachelard) lub niemieckim (szczególnie opracowania dotyczące literackiej stylistyki porównawczej).

Wychodząc z założeń pracy Al. Dimy (*Principii de literatură comparată*), w której wyodrębniono rygorystycznie konkretne kierunki i zagadnienia właściwe dla komparatystyki, profesor Ion C. Chițimia, znany polonista i specjalista w dziedzinie literatury staroruskiej i folklorystyki, opublikował pierwsze swoje studia porównawcze. Szczególną wagę przywiązywał do twórczości A. Mickiewicza, analizowanej na tle romantyzmu europejskiego. Po raz pierwszy I.C. Chițimia zwrócił uwagę na wpływ ballad mickiewiczowskich na rumuńskiego pisarza Gheorghe Asachi, w rozprawie opublikowanej w czasopiśmie „Romanoslavica”¹. Wersja rumuńska zachowała zasadnicze wątki oryginału polskiego, wprowadzając jednak realia mołdawskie. Miała ona raczej charakter przeróbki literackiej, dlatego też – tak, jak to często się wydarzało w epoce romantyzmu – G. Asachi nie podał źródła natchnienia. Właśnie metoda

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

porównawcza pozwoliła rumuńskiemu slawiście na ujawnienie podobieństw między tekstem polskim a rumuńskim oraz na wyszczególnienie elementów dodanych przez poetę rumuńskiego. W oparciu na zestawienie *Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego* A. Mickiewicza i *Opiewania Rumunii (Cântarea României)*, I.C. Chițimia doszedł do wniosku, iż prawdziwym autorem tekstu rumuńskiego nie był Al. Russo, lecz historyk Mikołaj Bălcescu. Jako zasadnicze argumenty podał duch mesjanistyczny obu utworów, narzucający podobną strukturę, jaką tylko M. Bălcescu mógł przyswoić tak gruntownie, jako że był bliskim współpracownikiem Mickiewicza w redakcji „Trybuny Ludów” oraz dobrym znawcą jego tekstów, które czytał po francusku². We wszystkich swoich badaniach slawista I.C. Chițimia stosował metodę porównawczą, uwzględniając wątki, tematy, struktury, wpływy, analogie oraz paralele w konkretnych utworach lub w ramach określonych prądów i okresów literackich (zob., na przykład, *Probleme de bază ale literaturii române vechi/ Podstawowe problemy literatury starorumuńskiej*)³. Warto zwrócić uwagę także na przeprowadzoną paraledę pomiędzy wierszem neoromantyka St. Wyspiańskiego, *Nikt nad grobem mi nie płacze, a Mai am un singur dor/Ostatnia moja prośba* Michała Eminescu. Jest to konkretny przykład analizy porównawczej, ujawniającej podobny sposób myślenia artystycznego oraz obrazowości w duchu późniejszego romantyzmu. Skrypt *Historia literatury polskiej (XII-XVIII)* obejmuje, obok informacji szczegółowych, ważnych ze względów dydaktycznych, interpretacje oparte częstokroć o szeroki kontekst kulturowo-literacki. Dokonuje tego poprzez nawiązanie do utworów literatury rumuńskiej lub europejskiej. Otwartość profesora I. C. Chițimii na literaturę porównawczą przejawiała się w jego działalności jako promotora, a jego doktoranci wybierali jako temat rozpraw doktorskich zagadnienia dotyczące recepcji literatury w szerokim znaczeniu tego słowa.

W latach 70-tych, daje się zauważać wyraźną tendencję do badań nad recepcją poszczególnych literatur słowiańskich w różnych okresach historycznych. Obroniono ponad 10 rozpraw doktorskich na ten temat, większość została opublikowana w postaci skryptów uniwersyteckich lub w innych wydawnictwach jako monografie. Rozprawy te dotyczyły szczególnie kontaktów literackich i kulturowych między daną literaturą słowiańską a literaturą rumuńską, na szerokim tle historyczno-kulturowym, w oparciu o badania przeprowadzone w archiwach oraz o periodyki (zob., na przykład, Al. Toader, *Relații literare româno-cehe în secolul al XIX-lea/Stosunki literackie rumuńsko-czeskie w XIX-ym*; I. Petrică, *Confluențe culturale româno-polone în a doua jumătate a secolului al XIX-lea /Związki kulturalne rumuńsko-polskie w drugiej połowie XIX-go wieku*; V. Jeglinski, *Relații literare și culturale româno-polone în prima jumătate a secolului al XX-lea/Związki literackie i kulturalne w pierwszej połowie XX-go wieku*; Magdalena Laszlo-Kuťuk, *Relațiile româno-ucrainene în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea/Kontakty rumuńsko-ukraińskie w XIX-ym wieku i na początku XX-go wieku*; Laura Baz-Fotiade, *Relațiile româno-bulgare în secolul al XIX-lea/Stosunki rumuńsko-bułgarskie w XIX-ym wieku*).

Autorzy tych prac zajmowali się oceną przekładów lub szkiców krytycznych, opublikowanych na łamach czasopism literackich oraz w oddzielnych tomach, motywami, tematami, paralelami i strukturami typologicznymi, wymienionymi w monografii Al. Dimy⁴, służącej jako tematyczny indeks komparatystyczny. Szczególne miejsce zajmuje tu książka polonisty Iona Petrică, zwłaszcza druga część poświęcona wspólnym wątkom występującym w literaturze polskiej i rumuńskiej, dotyczącym takich postaci i wydarzeń jak: Sobieski, Kirdżali, Księżniczka Ruxandra, Despot Voda, Lasy Koźmińskie. Skuteczne posługiwanie się metodą porównawczą zaowocowało w wyodrębnieniu różnych chwytów narracyjnych, użytych w zależności od poglądów ideologicznych pisarzy polskich lub rumuńskich. Zalicza się do tej kategorii także rozprawa doktorska Marii Vârcioroveanu, poświęcona typologii powieści historycznej na podstawie paraleli przeprowadzonej między twórczością H. Sienkiewicza i M. Sadoveanu; autorka analizuje określone struktury narracyjne, chwyty i środki obrazowania w celu określenia wyznaczników samego gatunku literackiego, jak również specyfiki pisarstwa obu powieścipisarzy. W dużym stopniu przyczyniły się do rozszerzenia tego typu studiów badania polonisty Stana Veli, który przez długi czas, oprócz badań nad historią literatury polskiej, interesował się najrozmaitszymi zagadnieniami recepcji i komparatystyki. Niedawno opublikowany tom *Literatura polonă în România. Receptarea unei mari literaturi/Literatura polska w Rumunii. Recepția unei mari literaturi*⁵ zawiera wiele informacji i interpretacji krytycznych na temat jakości przekładów i wartości szkiców krytycznych o literaturze polskiej w Rumunii i rumuńskiej w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują studia porównawcze *Mihail Sadoveanu și Henryk Sienkiewicz, Reymont și Rebrea*nu, które, oprócz tego, że mają dużą wartość merytoryczną, zachęcają do uprawiania komparatystyki, pozwalającej na ujawnienie podobnych mechanizmów stosowanych w interpretacji świata (rola krajobrazu, funkcje opisu przyrody, struktury mentalnościowe czy obyczajowe itd.)⁶ W ostatnich latach, kierunek ten jest kontynuowany przez autora niniejszego referatu, który zajmuje się powinowactwami pisarzy należących do różnych stref i okresów kulturalnych (zob., na przykład, studia zawarte w tomie *Ipostaze ale intelectualului în opera Mariei Dąbrowska și a lui G. Călinescu/Postać intelektualnego w dziele Marii Dąbrowskiej i G. Călinescu*; „*Patul lui Procust*” de Camil Petrescu și „*Antihrist*” de E. Stanev/ „*Prokustowe łożę*” Camila Petrescu și „*Antychryst*” E. Stanewa)⁷, polegającymi na podobieństwie poglądów dotyczących odbioru i konstrukcji świata artystycznego. Dużym zainteresowaniem nie tylko wśród specjalistów rumuńskich, lecz także słowiańskich, przeważnie ukraińskich, cieszyły się studia porównawcze Magdaleny Laszlo-Kuťiuk (zob. «*Kateryna*» Ševcenko și «*Eda*» de Baratynski/ "Kateryna" Szewczenki i „*Eda*” Baratynskiego; Poemul «*Moisei*» de I. Franko și poemul dramatic «*Moise*» de Madach Iura/Poemat “*Moisei*” I. Franki i poemat dramatyczny “*Moise*” Madacha Iury; I. Franko i E. Zola; Lesia Ukrainka și G. Hauptmann)⁸; studia te zawierają liczne oryginalne interpretacje, często odbiegające od poglądów występujących w krytyce ukraińskiej. Perspektywa

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

komparatystyczna, przejawiająca się w następnych książkach (m.in. *Exotica limitrofă/Egzota pograniczna*, 1977), doprowadziła do ujawnienia literackich koneksi ukraińsko/ukraińskich, ale przede wszystkim do umieszczenia literatury ukraińskiej w szerszym europejskim i światowym kontekście.

Nie tylko proza była przedmiotem badań porównawczych. W 1965 roku, Olga Zaicik opublikowała monografię *Pasiunea romantică/Pasja romantyczna*, w której, stosując instrumenty właściwe komparatyście, zarysuje istotne wyznaczniki twórczości poetyckiej A. Mickiewicza i J. Słowackiego i omawia różnorakie składniki romantycznej poetyki europejskiej. Znaczący wkład do dziedziny komparatystyki slawistycznej wniosła rozprawa doktorska ukrainisty Stelianu Grui (*T. Șevcenko – poet romantic/T. Szwochenko – poeta romantyczny*), mająca na celu uścielenie wyznaczników ideologii romantycznej poety oraz jego fundamentalnej roli w rozwioju ukraińskiej świadomości narodowej⁹. Warto tu wymienić dokonaną przez bohemistę Cornelę Barborică paralelę *I. Krasko - M. Eminescu*, nawiązującą do właściwości środkowo- i południowo-wschodnio-europejskiego romantyzmu. Zresztą ocena zjawisk literackich dokonuje się często na podstawie odwołania się do wielu utworów, a to ułatwia sformułowanie sądów wartościujących i rozszerza możliwości recepcji. Autor nie ogranicza się tylko do paraleli lub powinowactw, ale, w duchu sugestii komparatystów europejskich, interesuje się analizą konkretnych gatunków lub rodzajów literackich (zob. m.in. *Metamorfoze formelor epice în versuri/Metamorfozy wierszowanych form epickich; Corespondențe în universul poeziei slave simboliste/Zbieżności w świecie słowiańskiej poezji symbolizmu*)¹⁰. Warto podkreślić fakt, iż tego rodzaju badania i refleksje stanowiły podstawę wykładu z literatur słowiańskich, jaki profesor C. Barborică prowadził ponad dziesięć lat na slawistycze w Bukareszcie. Stąd wynikło jego szersze zainteresowanie pozostałyimi literaturami słowiańskimi. Zgodnie z tendencją wykazywaną przez slawistów europejskich, dający do syntezy ogarniającej całą wspólnotę słowiańską, to jednak można było osiągnąć tylko częściowo ze względu na obszerność samych tekstów literackich, jak również materiałów krytycznych¹¹.

W ramach badań komparatystycznych ważne miejsce zajmują opracowania o charakterze monograficznym, poświęcone poszczególnym pisarzom słowiańskim. Choć ich liczba jest nadal ograniczona (zob. m.in. S. Velea, *Reymont; idem, Mickiewicz; idem Sienkiewicz*; C. Barborică, *Capek; S. Gruia, T. Șevcenko; C. Geambașu, Maria Daqbrowska*), to jednak są one przekonywującym świadectwem posługiwania się warsztatem współczesnej komparatystyki. Jest to dziedzina domagająca się interpretacji tekstu literackiego w oparciu o krytykę istniejącą w danym kraju słowiańskim, o europejskie opracowania teoretyczne, jak również o nawiązaniu do krytyki i teorii porównawczej, opracowywanej w Rumunii. Stosowanie tego rodzaju zabiegów daje gwarancję urozmaicenia i rozszerzenia ujęć interpretacyjnych. Inspirowane w dużym stopniu monogramiami czy rozprawami dotyczącymi wielkich literatur (angielskiej, francuskiej, niemieckiej, amerykańskiej), studia monograficzne slawistów rumuńskich skorzystały także z założeń teoretycznych szkoły rosyjskiej, czeskiej lub polskiej¹². Wyraźnym

impulsem do badań slawistycznych stały się przekłady prac formalistów rosyjskich, studiów R. Ingardena, V. Tomaszewskiego, J. Mukarżowskiego lub H. Markiewicza, umożliwiające przesunięcie uwagi na imanentne struktury tekstu oraz na jego wartości estetyczne. Pod tym względem jest wymowna monografia *Zasady poetyki* Magadelny Laszlo Kuťiuk (1983), która świadczy o dobrej znajomości współczesnego instrumentarium komparatysty, co wyraźnie widać w strukturze książki (zob. rozdziały *wyznaczniki intertekstualności, architektonika powieści, gramatyka opowiadania*). Z kolei, wychodząc od klasyfikacji powieści rumuńskiej, zaproponowanej przez rumuńskiego krytyka N. Manolescu, piszący te słowa zbadał "doryckie" i "korynckie" struktury narracyjne u kilku prozaików polskich (zob. *Maria Dąbrowska – scriitoare dorică/Maria Dąbrowska / pisarka dorycka; Structuri narrative în romanul Regele celor Două Sicilii de A. Kuśniewicz/ Struktury narracyjne w powieści "Król Obojga Sycylii" A. Kuśniewicza; Viziunea mitică în proza lui B. Schulz, S. Bănulescu și I. Radickov/ Wyobrażenia mityczne w prozie B. Schulza, S. Bănulescu i I. Radickova*)¹³. Ewolucja chwytów narracyjnych stanowiła przedmiot rozprawy doktorskiej Voislavy Stoianovici (*Romanul iugoslav contemporan/Współczesna powieść jugosłowiańska*); temat ten został podjęty także przez młodszego badacza Iona Deaconescu z Uniwersytetu w Craiove na szerszym tle rumuńsko-europejskim.

Po 1989 roku przed komparatystyką literacką otworzyły się nowe horyzonty. Po zniesieniu cenzury i ułatwieniu wyjazdów do krajów słowiańskich, a w ostatnich latach i do krajów zachodnich, wzrósł dostęp do źródeł informacyjnych w archiwach, bibliotekach i księgarniach. Komparatycy zajmują się literaturą emigracyjną, podejmując tematy uważane do niedawna jako tabu: mity i stereotypy narodowe, tożsamość i obcość, tradycyjność i europejskość, swoi i obcy¹⁴. Nowy kontekst europejski sprzyjać będzie zapewne badaniom komparatystycznym, nabierającym głębszego i bogatszego kształtu i wizerunku na tle inter- i wielokulturowości.

* Niniejszy przegląd nie obejmuje prac komparatystyki dotyczącej literatury rosyjskiej.

1. C. Chițimia, *Adam Mickiewicz et l'écrivain roumain G. Asaki, „Romanoslavica”*, I, București, 1958; zob. też I. Petrică, *Confluențe culturale româno-polone*, București, 1976, p. 150-156.

2 Zob. I. Chițimia, A. Mickiewicz, N. Bălcescu, „Vospievanie Rumynii”, „Romanoslavica”, II, București, 1958, p. 133-146.

3 *Idem, Probleme de bază ale literaturii române vechi*, București, 1972; *idem, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne*, Varšovia, 1983.

4 Obszar badań w interpretacji Aleksandra Dimy obejmował tematy, gatunki i struktury tekstu, bezpośrednie kontakty między literaturami, wpływy i źródła, paralele i cechy odróżniające. Zob. także S. Velea, *Universalisti și comparațiști români contemporani*, București, 1996, p. 45-46.

5 București, 2001.

6 Zob. też S. Velea, *Interferențe literare polono-române*, București 1989.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

7 w: Maria Dqbrowska. *Proza interbelică*, București 1996; idem, *Ipostaze lirice și narrative. Incursiuni în literaturile bulgară, polonă și română*, București 1999.

8 Zob. Magdalena Laszlo-Kutiuk, *Velyka tradycija*, București 1979.

9 Książka ukazała się w wersji ukraińskiej w wydawnictwie Kriterion, Bucuresti 1976.

10 Zob. C. Barborică, *Studii de literatură comparată*, București 1987.

11 *Ibidem*, p. 5-89.

12 Zob. bogatą serię studiów krytyki i teorii literackiej, wydawaną przez wydawnictwo Univers w Bukareszcie w ciągu ponad czterdziestu lat.

13 Zob. C. Geambașu, *Ipostaze lirice și narrative*, București 1999.

14 Zob. m.in. D. H. Mazilu, *Noi și ceilalți. Fals tratat de imagologie*, București 1999; C. Geambașu, *Homo polonicus*, în *Scriitori polonezi (secolul XX)*, București 2002.

PERSONNAGES DÉMONIAQUES DANS LES CONTES POPULAIRES ROUMAINS ET RUSSES

Antoaneta Olteanu

La spécialisation joue, dans le folklore, un rôle de la plus grande importance et s'inscrit dans le rapport stéréotypie/originalité, qui reflète la marque d'une création populaire, son appartenance au fonds culturel oral. Tous les spécialistes ne s'accordent pas à reconnaître une spécialisation très stricte au sein des différentes catégories folkloriques. En parlant de la prose populaire, Smith Thompson notait qu'il était « impossible de fixer des universels de ce genre de création, car le groupement réel dans différentes zones (éloignées historiquement aussi) est différent (Thompson, 87) ; en effet, au même niveau de civilisation, on retrouve, par exemple, tant des *légendes* que des *contes*, si bien que le modèle d'évolution accepté de façon conventionnelle ne saurait plus être valable (mythe > légende ; mythe > conte, etc.). Chaque catégorie du folklore a ses propres modalités de réalisation, qui la différencient d'avec les autres, la tradition contribuant, là encore, à maintenir la spécificité de la création. Cette spécificité se reflète au niveau de la forme, chaque catégorie possédant certains moyens d'expression (vers, rime, mélodie, tropes, formules, etc.), et la thématique propre à chaque catégorie confirme à son tour la spécialisation, par l'utilisation prépondérante d'une fonction (ou d'un ensemble de fonctions) développée uniquement par la catégorie folklorique en question. Audelà des thèmes, des sujets, des moyens d'expression présents dans le fonds commun, chaque catégorie dispose d'un fonds propre de thèmes, sujets, etc., qui, en dernière instance, réalise la spécificité de cette catégorie.

Dans ce qui suit, nous nous arrêterons sur un seul aspect qui reflète cette spécialisation dans le cadre de la prose populaire, plus précisément sur les modalités d'expression du fantastique au niveau des personnages maléfiques. À l'exception de quelques catégories folkloriques (conte, légende historique, anecdote), le fantastique est largement représenté dans la prose populaire, mais d'une façon différente. Là, nous avons en vue la relation folklore/réalité et son reflet dans les divers aspects de la création populaire, le fantastique pouvant être soit le résultat d'une activité artistique consciente (dans le *conte*), soit un élément appartenant à l'ensemble des croyances (dans les *légendes étiologiques*, dans les *récits superstitieux* et dans certains *contes de fées*). La présence de certains thèmes et personnages spécifiques d'une catégorie dans d'autres, souvent incompatibles, s'explique à travers la relation déjà mentionnée, mais envisagée d'un point de vue évolutif. L'affaiblissement de la croyance conduit à la démythisation des personnages, d'où, la présence de ceuxci dans des contextes non spécifiques.

Pour ce qui est des personnages maléfiques, le conte développe une série spécifique : *dragons*, *zmeï*, *sorcières*, *la Mère de la Forêt* (chez les Russes,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

BabaIaga), autant d'antipodes des héros, auxquels viennent s'ajouter les héros « négatifs » humains, antagonistes traditionnels des héros de conte). Le récit superstitieux (notre analyse portera uniquement sur ces deux catégories : le récit superstitieux et le conte) dispose d'une série de personnages, résultat direct des croyances, dont l'existence, l'origine, l'action, etc. sont expliquées *strictement* sous l'angle de la croyance à un surnaturel maléfique omniprésent, avec lequel entre en contact, volontairement ou non, un tout autre type de héros – le narrateur lui-même –, l'accent tombant cette foisci sur le *vraisemblable*, « support » de la croyance à ce surnaturel. L'affaiblissement de la croyance fait que les personnages maléfiques spécifiques du récit superstitieux (*génies domestiques, esprits de l'eau, de la forêt, de l'air, diables, sorcières, etc.*) passent en d'autres catégories. Le conte les reprend et les adapte à son spécifique – la présence des personnages en question s'explique par le prisme de la fiction poétique ; dans les récits, l'in vraisemblable est le fruit d'un esprit « malade » (très souvent, surtout avec la pertes des croyance, les rencontres avec ces personnages sont attribuées à des dévots, à des ivrognes, à des couards, etc.), ce qui rend possible d'esquisser une catégorie à part, qui traite ces « phénomènes », lesquels ne peuvent être inclus ni dans les contes (fruit, cependant, des croyances), ni dans la catégorie des récits superstitieux traditionnels (l'attitude des narrateurs — cette foisci, différents des héros — étant caractérisée par un total détachement par rapport aux événements relatés, sinon par l'in crédulité, voire par l'ironie).

Par conséquent, la présences des personnages mythologiques maléfiques dans les contes — catégorie folklorique non spécifique de réalisation de ces représentations — peut s'expliquer par :

- a) migration, contamination des personnages ;
- b) conversion des catégories folkloriques.

La migration des personnages d'une catégorie à l'autre a été remarquée depuis longtemps. V. I. Propp fonde sur ce processus son ouvrage capital, *La Morphologie du conte* (1928) : les personnages et les objets sont changeants, instables par rapport à leurs actions, ce qui fait que le comportement des personnages (et non leur existence comme tels) joue le rôle principal dans l'organisation du sujet (Propp, 25, 90).

Les personnages mythologiques apparaissent dans de nombreux contes, mais, le plus souvent, ils se présentent comme des variantes d'un même sujet (Kerbelite, 112) et ne développent pas des thèmes qui leur soient spécifiques (comme cela se passe dans les récits superstitieux). Il est difficile de dire quel est le type primitif de ces personnages (si c'est le récit à sujet mythologique qui a dégénéré en conte ou si c'est le conte qui a développé dans le récit certaines fonctions qui, à leur tour, ont donné naissance à des personnages spécifiques). Pour le moment, ce n'est pas l'évolution de ces personnages qui nous intéresse, mais leur situation dans les deux catégories de la prose populaire.

Nous aborderons cependant au passage cet aspect, car l'évolution est, dans ce cas, le passage d'une catégorie dans une autre — phénomène qui s'explique moins par l'opposition entre réel et fantastique, entre vraisemblable et invraisemblable, que par le fait que nous disposons, rappelonsle, d'un fonds folklorique commun, d'un ensemble de matériaux, de moyens et de schémas de composition dont parle

aussi bien le mythe (ou, dans ce cas, le récit superstitieux), que le conte (Veselovski), selon sa spécificité. Ce phénomène peut être interprété aussi en termes de diachronie, puisque les contes sont considérés comme le résultat d'une « simplification », parfois d'une complète « désémantisation » des mythes (Dumézil). Le passage d'une catégorie dans une autre se réalise aussi en sens inverse, par la transformation du récit en conte. Les récits superstitieux (mémorisés ou fabulés) peuvent se transformer en contes par la modification des procédés narratifs, des lois de composition, etc.

Les recherches sur la prose populaire mettent en évidence deux types principaux, chacun avec ses propres espèces. Dans le premier groupe, c'est la fonction esthétique qui prévaut ; le trait spécifique, c'est la présence de la fantaisie créatrice de nature poétique (contes, histoires, anecdotes, etc.). Dans le second type (légendes, récits, croyances superstitieuses) prévaut l'inclination pour le vérifique, la nature factologique des événements évoqués ; cette foisci, la fonction cognitive l'emporte sur la fonction esthétique (Pomerantseva, 1975, 9).

Les récits mémorisés, caractérisés par l'orientation vers le vraisemblable, évoquent des rencontres avec des personnages fantastiques, le plus souvent maléfiques. Le but déclaré du récit est de transmettre ou de renforcer une croyance. À cet effet, le narrateur fait appel à son autorité personnelle, présentant les situations comme authentiques, vécues de lui ou d'une autre personne, connue et revêtue elle aussi d'autorité, auxquelles renvoie le récit. Les traits distinctifs des récits mémorisés sont : une action très simple, le plus souvent en un seul épisode (et non sous la forme d'une succession d'épisodes, comme cela se passe dans les récits fabulés et dans les contes), un dénouement tragique (toujours à la différence du conte). Même en l'absence de ces traits, cette catégorie se laisse identifier par la fonction des personnages, qui se réalise différemment dans le conte et dans le récit.

Quand les actions des personnages maléfiques présentés dans le récit mémorisé se compliquent, passant d'un épisode à un sujet complexe, nous avons affaire à un **récit fabulé**. La multitude des détails y montre l'effort du narrateur pour se rendre convaincant en éliminant toute possibilité d'erreur quant à l'identité du personnage en question (on procède à une addition des traits distinctifs repérés à l'occasion de plusieurs rencontres avec le surnaturel) ou à l'authenticité du vécu, de la rencontre évoquée et, surtout, de l'existence, vraisemblable ou non, du personnage. La fonction esthétique est très marquée. En se développant dans le sens d'une complication du sujet et d'une simplification des fonctions, les récits mémorisés peuvent se transformer en contes (Pomerantseva, 1985, 173183).

Le folklore roumain et russe ne se caractérisent pas par l'unité des personnages de conte, de légende, de récits superstitieux, etc., comme cela se passe chez d'autres peuples (Bulgares, Serbes, Croates, etc.), mais il est tout de même possible de rencontrer dans les contes roumains ou russes des personnages démoniaques.

Les personnages mythologiques maléfiques peuvent apparaître dans les contes de façon **explicite**, avec des noms spécifiques, sous lesquels ils figurent aussi dans les récits (*sorcières, revenants, la Mère de la Forêt, diables*, etc.). Ils

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

peuvent, d'autre part, accomplir des fonctions spécifiques (*envoûter, produire des maladies ou la mort*, etc.), mais ce phénomène n'est pas caractéristique de leur apparition dans le conte. Le plus souvent, le héros est directement nommé. C'est le cas des *esprits de la forêt, de l'eau, de la nature*, des morts malfaisants, des sorciers. Le motif mythologique peut être identifié même s'il n'est pas présent de façon explicite, par la reconnaissance des fonctions spécifiques qui se retrouvent dans les récits superstitieux ; on parlera donc d'apparition **implicite** (dans des contes comme *La Petite Bourse aux deux liards*, *Le Chat botté*, etc.), et nous essaierons de le démontrer ci-dessous.

Esprits protecteurs de la maison dans les contes

Motifs dans les contes :

1. Un serpent est surpris dans la maison alors qu'il était en train de boire du lait. Après qu'il lui a coupé la queue, l'homme subira une interminable série de malheurs (chez les Ukrainiens) ;
2. Un homme s'installe dans une maison visitée par un esprit sous la forme d'un serpent de feu. Le serpent tue la monture de l'homme ; l'homme se bat contre lui, mais se laisse tenter par l'or que jette l'esprit. Comme il ne respecte pas la promesse faite au serpent, celui-ci détruit sa famille (chez les Ukrainiens) ; on peut, dans le même sens, rappeler de nombreuses croyances mythologiques relatives au serpent, vu comme esprit de la maison.
3. Le frère pauvre sauve un oiseau, répare son nid ; en récompense, il reçoit (un à trois) grains miraculeux, à l'aide desquels il s'enrichit. Le frère riche soigne lui aussi l'oiseau, qu'il a délibérément blessé ; il en reçoit un grain qui lui apportera des malheurs — il sera pillé, sa maison brûlera, etc. (chez les Russes et les Ukrainiens).

La croyance selon laquelle l'**hirondelle** serait un esprit protecteur de la maison se rencontre souvent chez les Ukrainiens et les Russes. Si une hirondelle construit son nid sous l'auvent d'une maison, c'est bon signe pour les habitants (Markevitch, 112). Il existe une croyance contraire : chez les Russes de la Sibérie, on dit que, si l'hirondelle détruit son nid, c'est un présage de mort (Redford-Minionok, 225). Chez les Roumains on croit que les hirondelles sont des oiseaux purs et on dit que « *celui qui détruira un nid d'hirondelle, son avanbras se tordra et paralysera, et celui qui cherchera à la tuer, ou à tuer ses petits, perdra la voix* » (Brill, 261).

Selon une légende roumaine, « *Un vol d'hirondelles apparut devant la Mère de Dieu, sur un beau champ, et elles lui dirent que son fils allait ressusciter (...). Alors, la Mère de Dieu, un peu plus soulagée, leur dit :* »

— *O hirondelles, soyez désormais les oiseaux les plus purs de la terre ; et vous porterez bonheur aux maisons où vous ferez vos nids. Et quiconque détruira vos nids sera maudit !* » (Brill, 304).

Chez les Anglais on dit que, si on tue une hirondelle, le lait des vaches sera mêlé de sang (Redford-Minionok, 224). On a même essayé de trouver une explication pour les attributs maléfiques de l'hirondelle. Une légende roumaine

raconte que la venue au monde de cet oiseau est le résultat du refus du soleil de se marier ; la jeune fille qui a passé toutes les épreuves requises a finalement été refusée. Le soleil a brisé le tamis qu'il lui avait fait apporter, et une hirondelle en est sortie : « *Pourquoi l'avoir envoyée me pousser au mariage, si moi, je n'aime pas les femmes ; j'ai donc essayé de lui faire trouver la mort ; mais, comme elle y a échappé, je l'ai laissée tranquille et, comme elle ne m'a pas écouté, j'ai brisé [le tamis] pour voir ce qu'il y avait dedans. Je ne regrette pas de l'avoir brisé. Ce que je regrette, c'est que l'oiseau qui en est sorti portera malheur aux gens.*

L'hirondelle n'est pas pure ; son jabot est taché de sang. L'homme audessus duquel, le matin, sera passée une hirondelle, le sang lui jaillira du nez ou de la bouche ; si elle passe audessus d'une vache, le lait de la vache sera mêlé de sang » (Brill, 300), comme cela se passe pour la plupart des esprits de la maison.

Les légendes roumaine surprennent le lien de l'hirondelle avec le monde des morts (en sa qualité de personnification des esprits des ancêtres) : « *Quand on voit l'hirondelle voler comme une flèche au-dessus des eaux et toucher du bec leur surface, on dit qu'elle prend de l'eau pour la porter aux morts dans les cimetières* » (Brill, 261). Chez les Russes, on dit que, si une hirondelle entre par la fenêtre d'une maison, quelqu'un mourra dans cette maison (Grushko-Medvedev, 244).

Enfin, chez les Russes, l'hirondelle apparaît dans une autre pratique, relevant de la même fonction d'esprit protecteur de la maison. Quand il voit la première hirondelle, le maître de la maison ramasse un peu de terre sous ses propres pieds et y cherche des poils. Si le poil est noir, roux, etc., c'est la couleur du cheval qu'il devra acheter pour accomplir la volonté de l'esprit de la maison, sinon celuici le tourmentera (Gura, 1995, 243).

4. Le « Chat botté », l'animal reconnaissant, parfois esprit protecteur, enrichit de façon inattendue le héros (chez les Roumains, les Russes, les Italiens, les Français, les Allemands, les Macédoniens, les Bulgares, les Grecs, les Magyars).

5. Le chatconseiller sauve les jeunes filles de la captivité de la sorcière, en les remplaçant par les fils de celleci (chez les Biélorusses).

Le chat en sa qualité d'esprit protecteur est mentionné dans les croyances des Russes : souvent, le *domovoï*, esprit de la maison par excellence, se transforme lui-même en chat : « *Si, de nuit, un chat gris passe sur ta poitrine, c'est le domovoï. Tu lui demanderas tout de suite : — Est-ce bon signe ou mauvais signe ? et tu auras sa réponse* » (Grushko-Medvedev, 226).

La présence de ces animaux auprès de la maison signifie que l'habitation est placée sous la protection d'un esprit bénéfique (le plus souvent) : on dit que les chats ne peuvent pas vivre dans une maison où il n'y a pas de bonheur. Qui tuera un chat aura de gros malheurs (Gura, 1984, 133). Si un chat noir entre dans une maison, c'est un signe de bonne chance. Selon une autre croyance, la perte d'une chatte ou d'un chat attirera la mort de la maîtresse ou du maître de la maison (Semionov, 229). Même en Perse, celui qui torture un chat noir risque de torturer, en réalité, son propre *hemzad* (ange gardien ; Chevalier-Gheerbrant, III, 100).

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Les Russes affirment qu'on ne peut pas acheter un chat ; on peut tout au plus l'échanger contre quelque chose, d'habitude deux sous ou un œuf de poule. De même, afin que l'animal s'accommode dans son nouveau logis (c'est mauvais signe s'il quitte la maison), dès qu'on l'y amenait, on le mettait près du poêle. Ailleurs, le chaton était poussé le museau contre le portillon du four (Redford-Minionok, 207). On voit de ces pratiques que le chat appartient au monde des ancêtres, des esprits protecteurs du logis, par son « lien » avec le foyer. Pour montrer que le chat était étroitement lié à l'esprit de la maison, il était préférable que son poil fût de la même couleur que les cheveux du maître. Sinon, le *domovoï* risquait de chasser l'animal de la maison.

Le motif cidessus (4) se retrouve également dans d'autres croyances populaires liées à une variété d'esprits protecteurs de la maison. Chez les Russes, ces chats apparaissent, sous le nom de *korgorushi*, *kolovershi*, comme des aides du *domovoï*. Dans ce cas, ils amènent au maître de la maison des objets dérobés dans d'autres maisons (Meletinski, 291).

Ce « lutin » félin accomplit les mêmes fonctions dans les croyances d'autres peuples : chez les Votiaks (en Sibérie), le chat apporte des céréales volés dans les granges des voisins. On croit que, si on le tue, son maître périra aussi (Semionov, 229). Les Finlandais connaissent eux aussi ce personnage, qui apporte à son maître de l'argent, des céréales, du lait. Cette croyance existe aussi chez les Lapons.

Voici un argument supplémentaire en faveur du caractère démoniaque du chat ; chez les Tchèques, on croit que les chats, à l'âge de sept ans, se transforment en démons, et les chattes en sorcières (Afanasiev, 1869, 534). Les Allemands, eux, croient que les chats se transforment en sorcières à l'âge de vingt ans. D'ailleurs, presque tous les personnages démoniaques prennent la forme d'un chat, cet animal étant considéré comme un suppôt de Satan ou le diable en personne ; cette image apparaît souvent dans les rencontres nocturnes évoquées par les récits superstitieux.

6. La poule noire symbolise la bonne chance (chez les Roumains).

7. Des oiseaux (poule, cane) pondant des œufs d'or (chez les Roumains, les Albanais, les Serbes, les Russes, les Saxons de Transylvanie).

8. Le motif de « la petite bourse aux deux liards » :

a) Un vieux et une vieille rentrent du marché. En cours de route, ils trouvent un coq noir. Une fois chez eux, le coq, qu'ils ont mis sur le poêle, crache des tas de céréales et d'argent. Ne croyant pas aux miracles et craignant la tentation du démon, les vieux le noient dans la rivière. De retour, ils retrouvent au lieu de l'or, de la poix — chez les Russes et les Ukrainiens (Orlov, 496; Iashtchurzhinski, 567).

b) La vieille demande au vieux de briser les pattes du coq. L'oiseau s'enfuit ; il rencontre des fauves qu'il avale. Pour avoir offendu le tsar, le coq est enfermé, avec d'autres oiseaux, dans l'étable, puis dans la grange, mais il s'en tire à chaque fois sain et sauf, après avoir tout avalé, y compris le trésor du tsar. Enfin, il rentre chez lui et donne au vieux tout ce qu'il avait avalé (chez les Russes, les Roumains).

c) Un coq apporte de l'argent au vieux ; la poule salit la maison de la vieille (chez les Russes, les Ukrainiens).

d) Le coq apporte au vieux l'or de la boutique du marchand. Poussée par l'envie, la vieille, après avoir troqué le coq contre une poule, le tue, mais elle ne trouve pas d'or dedans (chez les Russes).

e) Une poule pond chaque jour un œuf d'or ; pour en avoir plusieurs à la fois, son propriétaire la tue et l'ouvre, mais perd tout (chez les Russes).

f) Le coq et les meules de moulin : le coq vient chez le voleur et lui demande de rendre l'objet volé. On le jette dans un puits, d'où il boit toute l'eau ; on le jette dans le poêle, il éteint le feu ; le boyard ordonne que l'oiseau soit tué et rôti ; il le mange, mais le coq sort du corps du boyard et se remet à chanter (chez les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses).

Universellement symbole solaire, « *le coq est un oiseau fidèle et merveilleux. Il est le seul être vivant qui voie la nuit où le ciel s'ouvre et il entend aussi les cloches dans les cieux. Quand il chante trois fois, pendant la nuit, il chasse les mauvais esprits, les zmeï, les revenants ; quand il chante au petit jour, il fait peur aux démons et aux démones, qui périsse*nt » (Radulescu-Codin, 310). D'ailleurs, « *la souillure n'approche pas une maison où il y a un coq* » (Muslea-Birlea, 289).

Les Russes croient que, en l'absence d'un coq, les autres animaux domestiques ne se porteront pas bien, le lait des vaches sera mauvais et fade. On dit à une femme qui vend un tel lait : « Gardez le maître à la maison ! » (Bushkevitch, 307). Il est préférable que ce coq soit noir. Les Slaves du sud disent, à ce propos : « à coq blanc, maître noir ». Les Slaves de l'ouest considèrent cependant qu'un coq blanc porte bonheur dans la famille. Les Russes et les Ukrainiens croient, à leur tour, qu'un coq noir porte malheur ; si une famille a un coq noir, il y aura des querelles entre ses membres. Les Russes disent aussi que la mort d'un coq est le signe d'un incendie imminent. On prétend aussi que, si le coq chante devant une fenêtre ou qu'il la touche de son aile, c'est un présage d'incendie.

Il existe de nombreuses représentations du caractère démoniaque du coq. Les Ukrainiens prétendent qu'il existe un coq, appelé *tsarik*, qui se met à chanter dès l'œuf. Quand il sera grand, il sera le plus fort et le plus courageux du pays. Il est le premier à chanter à minuit, et même les diables le craignent. Les Serbes appellent un tel coq un *zmeou*. À l'approche d'un nuage orageux, il se cache sous le pas de la porte ; il y laisse son corps, et son âme monte au ciel, pour se battre avec les *hale*, personnifications de l'orage.

Chez beaucoup de peuples, la plupart des esprits domestiques naissent d'œufs couvés par leur futur maître, qui les garde sous l'aisselle pendant plusieurs jours. L'être qui sort de l'œuf après la couvaison à la forme :

a) d'un poussin (tschech *plevník*, hongr. *liderc* – Ionescu, 81; Meletinski, 3); ce lutin amène de l'argent, des céréales, mais se rend maître de l'esprit de son possesseur. Celui-ci ne peut s'en débarrasser qu'en lui faisant accomplir des tâches impossibles : apporter de l'eau dans un crible, de la lumière dans un sac, etc.

Les Slaves croient qu'un vieux coq peut se transformer en un être démoniaque.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

À l'âge de 3, 5, 7 ou 9 ans, le coq pondra un petit œuf. Une créature démoniaque en sortira (*chovanek, ognennyj zmej*), sous la forme d'une traînée de feu, d'étoiles, d'un chat, d'un homuncule, d'un poussin (Bushkevitch, 308).

b) D'une traînée de feu qui vole dans la nuit ; il apporte de l'argent et des richesses dans la maison où il s'est fixé. On l'obtient par le même procédé. Il se retrouve chez les Polonais (*skrzat*), les Tchèques (*skritek*), les Slovaques (*skriatok*), les Slovènes (*skratec*) (Ionescu, 143-144). Chez les Lituaniens, *l'aitvaras* se présente sous la forme d'une flamme, à différents reflets, selon ce qu'elle transporte (des céréales, de l'argent, du lait, etc.). Dans la maison, il apparaît d'habitude sous les traits d'un coq, mais aussi d'un serpent de feu, d'un corbeau ou d'un chat noir. Pour qu'il serve son maître, il faut le nourrir d'omelette. Sinon, il punira son propriétaire en mettant le feu à sa maison. Il est difficile de se débarrasser de lui (tué, il provoque des incendies). Il remplit aussi d'autres fonctions, spécifiques de tous les personnages mythologiques agissant à l'intérieur de l'habitation : il tresse les crinières des chevaux, provoque des cauchemars, etc. (Meletinski, 55). Assez voisins de *l'aitvaras* sont l'estonien *puuk* (*tont, kratt* cf. Funk & Wagnalls), le letton *puke* (Meletinski, 445). Il apparaît sous la forme d'un rapace (le plus souvent, d'un faucon) ou d'un serpent de feu chez les Tchèques, les Slovaques (*rarasek*), les Ukrainiens (*rarig*). Les Biélorusses prétendent, en plus, que c'est en de pareils serpents de feu — esprits domestiques — que se transforment les hommes morts sans avoir reçu l'extremeunction. Les Russes le connaissent aussi (Tcherepanova, 48; Shein, 301-303).

c) Né de la même manière — par couvaison, pendant neuf jours, d'un œuf (pondu, le plus souvent, par une poule noire) acheté au marché ou reçu de la part du diable, ce personnage apparaît dans le folklore roumain sous les traits d'un diablotin ou d'un lutin. Son origine diabolique est soulignée encore une fois par l'idée que l'oiseau a pondu cet œuf à la suite d'une liaison avec le diable (Pamfile, 81; Orlov, 500). Chez les Roumains, il peut aussi apparaître sous la forme d'un coq (Muslea-Birlea, 290). On peut l'enfermer dans des récipients, dans des bouteilles, et l'en libérer seulement quand on a besoin de lui. Sa nature diabolique se reflète également dans ses actions : il sert son maître, mais reçoit en échange l'âme de quelqu'un ; parfois, « *si son possesseur est une femme, elle doit coucher avec lui et lui satisfaire d'autres plaisirs* » (*idem*), sinon il lui arrivera des malheurs.

Voici une description qui s'applique très bien au *kobold* des croyances allemandes : « *Celui qui a le diable chez lui, le garde au grenier ou dans une pièce à part ; il le nourrit de mamaliga et d'autres plats, mais c'est le lait qu'il aime le plus. Pourvu qu'il ne soit pas salé... Si on oublie de lui donner à manger, il ne fait rien de mal, sauf qu'il renverse toutes les casseroles et les écuelles sur l'étagère et ils les amasse au milieu de la maison, sans toutefois les casser* » (Niculita-Voronca, 466). Il apparaît avec les mêmes attributs et les mêmes origines chez les Russes et les Ukrainiens (Orlov, 500). Tout comme chez les Roumains, l'œuf devra être couvé avant Pâques ; à Pâques, ceux qui voulait l'obtenir, l'emmenaient à l'église. Au moment où le prêtre disait « Le Christ a

ressuscité ! », le « père adoptif » devait prononcer trois fois, à voix basse : « Le mien a ressuscité aussi ! ». Peu après, le lutin sortait de son œuf (Yavorsky, 105).

Cette étude est loin d'être exhaustive. Nous avons juste essayé de montrer certains aspects liés aux modalités de se représenter quelques types de personnages mythologiques maléfiques dans une catégorie de la prose populaire non spécifique de ceuxci (le conte), tout en mettant en évidence, dans la mesure du possible, les transformations produites avec cette mutation.

L'énumération des sujets cidessus laisserait croire que ces types de personnages sont bien représentés dans les contes ; par rapport au volume des contes fantastiques, cette représentation est infime, mais le phénomène, dans son ensemble, ne saurait être ignoré. Nous avons envisagé seulement l'existence et le nom du personnage, de même que ses fonctions principales, spécifiques, sans insister sur d'autres aspects qui, sans nul doute, sont extrêmement importants pour la construction du personnage, du cadre de l'action et d'autres éléments spécifiques qui, tous, définissent l'appartenance à une certaine catégorie folklorique du personnage en question, avec sa spécificité déterminée par l'orientation vers le vraisemblable.

NOTES ET BIBLIOGRAPHIE

- Afanasiev, A. N., *Poeticeskie vozzrenija slavjan na prirodu*, vol. III, Moscou, 1869
 Afanasiev, A. N., *Russkie narodnye skazki*, vol. I-III, Moscou, 1957
 Barag, L. G., Berezovski, I. P., Kabashnikov, K. P., Novikov, N. V., *Sravnitel'nyj ukazatel' sjuzhetov. Vostocnoslavjanskaja skazka*, Leningrad, 1979
 Brill, Tony, *Legendele românilor. III. Legendele faunei*, Bucarest, 1994
 Bushkevitch, S. P., Petuch, // *Slavjanskaja mifologija*, Moscou, 1995
 Tcherepanova, O. A., *Mifologiceskaja leksika russkogo Severa*, Leningrad, 1983
 Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, *Dictionar de simboluri*, vol. III, Bucarest, 1995
Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, New York, 1949.
 Grushko, Elena, Medvedev, Iuri, *Slovar' russkich sueverij, zaklinanij, primet i poverij*, Nizhni Novgorod, 1995
 Gura, A. V., *Laska v slavjanskich narodnych predstavlenijach* (2), // *Slavjanskij i balkanskij fol'klor*, Moscou, 1984
 Gura, A. V., *Lastotchka*, // *Slavjanskaja mifologija*, Moscou, 1995
 Iashtchurzhinsky, H. P., *O prevrashchenijach v malorusskikh skazkach*, // *Ukrainci: narodni viruvannja, povir'ja, demonologija*, Kiev, 1991, "Zhivaja starina", 1/1897
 Ionescu, Anca Irina, *Lingvistică și mitologie. Contribuții la studierea terminologiei credințelor populare ale slavilor*, Bucarest, 1978
 Kerbelite, Bronislava, *Istoritcheskoe razvitiye struktur i semantiki skazok*, Vilnius, 1991
 Markevitch, N. A., *Obytchaj, pover'ja, kuchnja i napitki malorossijan*, // *Ukrainci: narodni viruvannja, povir'ja, demonologija*, Kiev, 1991
 Meletinski, E. M. (red.), *Mifologitcheskij slovar'*, Moscou, 1990
 Muslea, I., Birlea, Ov., *Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu*, București, 1970
 Niculiță-Voronca, Elena, *Datinile și creditele poporului roman*

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

- adunate și aşezate în ordine mitologică*, I, Cernăuți, 1903
- Orlov, M. N., *Istoriya snoshenija tcheloveka s d'javolom*, // *D'javol*, /Moscou/, 1992
- Pamfile, Tudor, *Mitologie română. I. Prietenii și dușmani ai omului*, Bucarest, 1916
- Propp, V. I., *Morfologia basmului*, Bucarest, 1973
- Pomerantseva, E. V., *Mifologitcheskie personazhi v russkom fol'klore*, Moscou, 1975
- Pomerantseva, E. V., *Russkaja ustnaja proza*, Moscou, 1985
- Rădulescu-Codin, C., *Îngerul românului (povești și legende din folclor)*, Bucarest, 1913
- Redford, A., Minionok, E., *Enciklopedija sueverij*, Moscou, 1995
- Semionov, O. P., *Smert' i dusha v pover'jach i rasskazach krest'jan i meshtchan Riazanskogo, Ranenburgskogo i Dankovskogo uezdov Riazanskoy gubernii*, “Zhivaja starina”, 2/1898
- Şăimeanu, Lazăr, *Basmele române*, Bucarest, 1978
- Shein, P. V., *Materialy dlja izuchenija byta i jazyka russkogo naselenija Severo-Zapadnogo kraja*, vol. III, Sank-Petersburg, 1902
- Thompson, Stith, *The Folktale*, New York, 1959
- Veselovski, A. N., *Istoritcheskaja poetika*, Leningrad, 1940

Воздействие русской прозы на румынскую литературу XX века

Думитру Балан

В XIX веке большое влияние на румынскую литературу оказала французская проза, а в XX веке румынские писатели проявили глубокий интерес к русской прозе, и в особенности к русским романам XIX века, первое появление которых в Европе, английский литературовед Джилберт Феллпс сравнивал с эффектом бомбы замедленного действия¹.

Это не означает, что прервался процесс восприятия французской прозы в Румынии: такие писатели, как например, Камил Петреску, Антон Холбан, Хортенсия Пападат-Бенджеску не прошли мимо творческого опыта Марселя Пруста, а Джордже Кэлинеску и, в определенной мере Чезар Петреску – опыта О. Бальзака. В значительно меньшей мере, воздействовали на румынскую литературу английская, американская и немецкая литературы. В последнюю треть прошедшего века заметный отпечаток на румынскую литературную жизнь оставила латино-американская проза. Как правило, чем шире была гамма истоков вдохновения у румынских писателей (восточное влияние не исключало западного, и наоборот, а также творческое «присвоение» опыта одного любимого писателя не исключало обращения и к другому – по манере порою – противоположному писателю), тем плодовитее оказывались результаты этого благотворного соприкосновения.

Почетное место во вкусах румынских писателей занимают видные классики русской литературы XIX века и в первую очередь Гоголь, Достоевский, Лев Толстой и Тургенев за высокое художественное мастерство и глубокую философско-этическую направленность их творчества. Не только они занимали думы многих румынских художников слова, но и Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький, Иван Бунин, Михаил Шолохов, Аркадий Аверченко, Михаил Арцыбашев, Дмитрий Мережковский (последние три имени были запрещены долгие годы после второй мировой войны, они, между прочим, не включены и в солидный библиографический указатель русской и советской литературы на румынском языке², а М. Арцыбашев, кстати, вошёл снова в читательский оборот только после 1989 года).

В своей monumental'noi *Истории румынской литературы ...* (1940) Джордже Кэлинеску отмечает сходные или отличительные черты между романом Гоголя *Тарас Бульба* и драмой *Закат солнца* Барбу Шт. Делавранча, романом *Нямул Шоймэрештилор* М. Садовяну, выделяет у Н. Гане описание дома Толпана в гоголевском духе, хвалит писателя Думитру К. Морузи за умелое использование гоголевского юмора и, наоборот, порицает М. Влэдеску, у которого в романе *Минута* нет ни устной тонкости Караджале, ни «преображающего юмора Гоголя», и, сравнивая романы Дуилиу Замфиреску *На войне и Ана* с романами Льва Толстого *Война и мир*

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

и *Анна Каренина*, приходит к выводу, что румынский прозаик (автор обстоятельной статьи о Толстом) не поднимается до уровня мастерства русского классика; роман Демостене Ботеза *Глиняные люди*, в котором служанка бросается под поезд, является дешевым подражательством произведению Толстого. В тематическом плане сближены Ал. Брэtesку-Войнешти и Тургенев, но чаще всего румынский критик и историк литературы обращается к Достоевскому, ссылаясь на стремления Ал. Влахуцэ, К. Стере, Dana Петрашинку и Чезара Петреску (в трилогии посвященной Эминеску), М. Садовяну (в *Воде мертвых*) усвоить художественные приёмы великого русского прозаика.

Выбор героев из крестьянской среды сближает Иона Виссариона с М. Горьким, а Карол Арделяну безуспешно пытался усвоить стилистическую манеру знаменитого русского пролетарского писателя, но его персонажи проявляют жесты благородства, напоминающие героев Горького; в романе *Хотел Майдан Стойки Г. Тудора* встречаем попытку автора описать, как и М. Горький, гнездо бродяг в городе Констанце.

Кроме Дж. Кэлинеску – в период между двумя мировыми войнами – разные интересные высказывания о том, как румынские писатели обращались к наследию русских классиков, принадлежат литературным критикам Помпилиу Константинеску, Перпессичиусу, Еуджену Ловинеску, Виктору Стрейну и др. В этот же период стали преподавать русскую литературу в престижных румынских университетах. Так например, Илие Бэрбулеску начал читать курс лекций по русской литературе в сравнительном плане с румынской литературой в Яссском университете ещё в 1918 году, а в Бухарестском университете другой видный профессор-славист, Петре Канчел руководил творческим семинаром по Л. Толстому и Достоевскому в 1934-1937 годах, а в 1944- 1945 годах читал общий курс лекций по истории русской литературы.

Самые глубокие разработки о восприятии русской литературы и о творчестве отдельных русских писателей в Румынии появились, естественно, в период после второй мировой войны и в особенности в 60-80 годы; многие вышедшие книги за это время были составлены их авторами-руссистами на основе защищенных докторских диссертаций; здесь стоит напомнить следующие тома: *Творчество Гоголя в Румынии* (1959) и *Толстой и румынская литература* (1963) Татьяны Николеску, *Михаил Шолохов в румынском литературном мире* (1975, 2-ое пересм. и донм. изд. - 1976) Георге Барбэ, *Маяковский в Румынии* (1975) Думитру Балана, коллективный сборник *Пушкин в румынском культурном контексте* (1984), *Лермонтов в Румынии* (1987) Елены Червински и т.д.

Обособленно стоит вопрос о восприятии творчества Достоевского, писателя почти полностью запрещенного в период 1948-1955 годов (как, между прочим, и у себя на родине); лишь в 1956 году, по поводу 75-летия со дня смерти автора *Братьев Карамазовых* и в условиях начатого Н. Хрущёвым процесса «оттепели», Достоевский становится снова центром внимания литературной общественности, как в Советском Союзе, так и в Румынии. Правда, одно из первых выступлений о нем этого 1956 года, принадлежащее маститому критику и историку литературы, поэту и

прозаику Джордже Кэлинеску, напечатанное лишь в «Ученых записках» Академии Народной Республики Румынии (т. VI, 1956, с. 233-239) содержит ряд неточных и неверных формулировок, что свидетельствует, как напишет Александру Палеологу в своей книге *Дух и буква*, что Кэлинеску «не понял Достоевского». Понятно, здесь речь идёт не только о недопонимании Достоевского, но и об «обязательном принятии» и «воспроизведении» официальной точки зрения советской литературной критики такой же подход к творчеству Достоевского встречаем, например, и в книге *Ф.М. Достоевский* В. Ермилова, вышедшей и на румынском языке годом позже. (Ни Кэлинеску, ни составители разных изданий и собрания сочинений к этому тексту больше не возвращались).

О том как румынские прозаики относились к Достоевскому, о влиянии русского писателя на их творчество, находим важные данные в обзорных статьях *Ф.М. Достоевский в Румынии*³ Валериу Чобану, *Достоевский и румынская литература между двумя мировыми войнами*⁴ Татьяны Николеску и в книге Дину Пиллата *Достоевский в румынском литературном сознании* (1976), содержащей и обстоятельное послесловие литературного критика и эссеиста Александру Палеологу, который, между прочим, оспаривает взгляды разных румынских критиков (Раду Драгнеа, Н. Балотэ), считающих, что роман Ливиу Ребряну *Лес повешенных* написан в духе Достоевского, а также и роман Матея Караджала *Краи де ла Куртеа-Веке* (Раду Драгнеа, Владимир Стрейну). Что касается утверждения Палеологу, что Лев Шестов опорочил больше всех понимание Достоевского, я уверен, что это мнение сможет быть изменено после прочтения переведенных на румынский язык книг (за последние годы) русского философа, в том числе и *Философии трагедии*.

Заслуга исследователя Дину Пиллата – он же и прозаик, автор романов *Дневник одного подростка*, опубликованный посмертно в 1984 году, *Странная молодость* (1943) и *Обычная смерть* (1946), которые носят несомненный отпечаток влияния прозы Достоевского – заключается в том, что он впервые в послевоенное время говорит о вкладе поэта и мыслителя Никифора Крайника (15 лет был заключен в румынских тюрмах; кстати, и сам Пиллат познал ужас румынского ГУЛАГа) в деле изучения творчества русского писателя. Пиллат уделяет забытому и запрещенному ещё Крайнику ряд страниц, где раскрывает суть курса лекций по теме *Достоевский и русское христианство*, прочитанных на Кишиневском теологическом факультете в 1926 году, а впоследствии на Бухарестском теологическом факультете в 1932 – 1933 годах (здесь курс лекций, на основе стенографических записей, был умножен на ротапринте, но лишь в конце 90-х годов был издан в Клуже; по глубине и широкому охвату исследованных проблем, эта работа достойна сравнению с *Миросязерицанием Достоевского* Николая Бердяева).

Тоже впервые после долгих лет молчания упомянуто и имя русско-румынского прозаика, драматурга, переводчика и эссеиста Леонида Добронравова – Леона Донича, эмигранта, сбежавшего из Советской России в Румынию в 1918 году и написавшего здесь статью *Пророк* (1922), ставившую вопрос об отношении Достоевского к Богу. Произведения же

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

этого своеобразного двуязычного писателя стали переиздаваться лишь после 1989 года; было бы интересным сделать сравнительный анализ новеллы Донича *Великий Архимед* и романа Евгения Замятиня *Мы* (оба антиутопические произведения были написаны почти в одно и то же время).

Восхищен творчеством Достоевского и Лучиан Блага, который высоко оценивает и эссе Дмитрия Мережковского о Л. Толстом и Достоевском.

Очарован личностью Достоевского был и румынский писатель Дан Петрашинку (настоящее имя – Анджело Моретта, в 1950 году эмигрировал в Италию), посвятивший русскому прозаику в 1935-1948 годах целый ряд статей (он не довёл до конца задуманную идею написать монографию о Достоевском). Эуджен Ловинеску, один из первых румынских литературных критиков, отметил влияние русской литературы и в первую очередь Достоевского на Петрашинку; и, действительно, романы *Кровь* (1935), *Чудовище* (1937), и *Кора и любовь* (1943) новеллы *Человек и зверь* (1941), и *Джунгли* (1940) доказывают, что Петрашинку является прилежным учеником Достоевского в изображении сложного процесса раздвоения личности, в убедительном показе внутренней двойственности персонажей, которые нередко действуют как под влиянием логических построений ума, так и под влиянием страстных подсознательных импульсов. После войны Петрашинку переходит от психологического к социальному роману; в *Завершенных временах* (1947) писатель – приверженец больше творческой манеры М. Горького; на определенном автобиографичном материале он описывает события, произошедшие в России, где на фоне гражданской войны между белыми и красными действуют разные персонажи из мира промышленников и итальянских, французских, турецких и румынских рабочих.

Михаил Себастьян находит сходные черты, общие точки соприкосновения в романах Достоевского *Бесы* и Мирчи Элиаде *Хулиганы*: «определенная проблематика, недавно проявленная с насилием, определенное политическое мессианство»⁵. Статьи Элиаде о Достоевском также красноречиво свидетельствуют об огромной любви румынского писателя к русскому писателю.

Достоевский воздействовал решительным образом и на творчество Джиба Михэеску, романы последнего *Донна Алба* и *Россиянка*, как уже указали такие критики, как Шербан Чокулеску, Владимир Стрейну, Владимир Догару, Ливиу Петреску, Ал. Андриеску, выделяют румынского писателя как единственного выразителя у нас психологического романа «школы» Достоевского⁶. Но явно, что при более внимательном изучении прозы Михэеску, и в частности его романа *Россиянка*, обнаружим и влияние прозы Михаила Арцыбашева, чьи «скандальные» романы *Санин* и *У последней черты* были переведены и изданы в Румынии. Как и Арцыбашев, остро раскритикованный после выхода в свет романа *Санин* (1907) за «чрезмерный эротизм» (произведение было запрещено потом в Советском Союзе до конца 80-х годов), правда и по идеологическим соображениям официальной пропаганды), так и роман *Россиянка* (1933) Джиба Михэеску был взят в штыки за такой же «грех» отдельными блестителями нравственного порядка; так например, Константин Кирицеску, многие годы

работающий генеральным директором в Министерстве образования (он же является и автором объёмистой и документированной монографии об участии Румнии в первую мировую войну), напишет – после присуждения Обществом Румынских Писателей премии имени Короля Карла II *Россиянке*, – гневный реферат, в котором, между прочим, утверждает, что этот роман является эротическим произведением, написанным по несчастной концепции и манере, которое стало деградировать современную румынскую литературу⁷.

В период 1933-1934 годов роман *Россиянка* переиздан пять или шесть раз, но потом на протяжении полвека произведение было запрещено цензурой; не смог добиться напечатания книги один из преподавателей Бухарестского университета, занимающего довольно высокий пост заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК партии, несмотря на то, что за это время он написал и издал монографию о писателе Михэеску. Причина запрета состояла не только в определенном вызывающем эроитизме, в смелом показе раскрепощенной любви, но и в том, что автор выбрал для места действия границу Бессарабии с Советской Россией и в данном контексте описывает и бегство отдельных лиц из страны большевиков.

Как бы не показалось парадоксальным, но Джиб Михэеску в *Россиянке*, да и в романе *Донна Алба* (здесь чувствуется и общая атмосфера, присутствующая в *Мелком бесе* Ф. Сологуба), также как и другой крупнейший русский писатель, Леонид Андреев, склонен прибегать к прозе «исповедального» жанрового типа, где отдается предпочтение идеологическому содержанию повествования, а символика действия играет как бы дублирующую роль. В этом отношении самыми важными являются идеологические функции литературных героев, а их сюжетные функции в амплуа знаменоносцев художественной семантики, переходят на второй план.

Леонид Андреев, бесспорный любимец румынских читателей и зрителей (его пьесы часто ставились на сценах многих городов Румынии) переводился и печатался в нашей стране с начала XX века, т.е. ещё при жизни самого автора, и продолжает и сегодня, в начале нового тысячелетия, быть в центре внимания румынской читательской публики (правда, в послевоенное время был определенный «пролеткультовский» период, когда в Румынии, как между прочим, и на его родине, писатель был изъят из общественного обихода). Большой подарок румынскому читателю предподнесло бухарестское издательство «Универс» в 1970 году, издав комплект из 4-х объёмистых томов, содержащих основные произведения прозы и драматургии Л. Андреева.

Среди переводчиков Андреева числится и Тудор Аргези, который в первом десятилетии XX века переложил на румынский язык новеллу *Бездна* и напечатал её в 1911 году со своим же предисловием, где отмечал у русского писателя значимость детали, тягу к непредвиденному, мотивы раздвоения личности и страха, оригинальность стиля; несколько лет спустя Аргези снова будет обращаться к творчеству Андреева; для маститого румынского писателя, который впоследствии станет одним из

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

непревзойдённых переводчиков басен И. Крылова, Достоевский являлся великим мастером психологической интроспекции человеческой души. В 1921 году Аргези напечатал в массовой серии «Прекрасная библиотека» свой перевод *Записок из мертвого дома* Достоевского, к которому он написал и вступительное слово (здесь сведения о русском классике взяты в основном из книги Е. Богюэ *Русский роман*, вышедшей в Париже в 1886 году).

Масштабность данной темы не даёт возможности автору заниматься здесь сопоставительным анализом, так что в дальнейшем будут только обозначены отдельные направления, высказаны определенные тезисы, которые смогут быть расширены и углублены. Помимо уже названных работ монографического типа о восприятии разных русских писателей в Румынии, существуют статьи, где трактуются в большей или меньшей степени вопросы «родства» между персонажами разных произведений, проблемы творческого влияния русских классиков на румынскую литературу или, в отдельных случаях, необработанного полностью вопроса об усвоении румынскими писателями мотивов, идей, художественной манеры у русских писателей.

Стоит здесь особо назвать коллективный труд, вышедший в 1964 году в Москве под названием *Румынско - русские литературные связи второй половины XIX – начала XX века* и включающий такие разработки как *Творчество Тургенева в Румынии* Валериу Чобану, *Чехов и румынские писатели Садовяну и Ребряну* и *Творчество Тургенева в Румынии* Тамары Гане (сборник содержит также и статью о восприятии М. Горького в Румынии). Из цикла других послевоенных статей выделяются *Садовяну и тургеневские «Записки охотника»*⁸ и *Тургенев и румынская литература*⁹ Михая Новикова, *Толстой и Садовяну* Зое Думитреску Бушуленга¹⁰, *Ф.М. Достоевский в восприятии Марина Преды*¹¹, *Марин Преда и русские писатели*¹², *Творчество и личность Льва Толстого в восприятии Марина Преды*¹³, и *Лев Толстой в оценке Марина Преды*¹⁴ Георге Барбэ, *Румынская литература в контексте румыно-русских отношений XX века*¹⁵, и *Михаил Булгаков в Румынии*¹⁶ Думитру Балана и др.

Главным ориентиром в нравственном отношении и заветной моделью письма, творческого мастерства для всех видных румынских писателей, даже для тех, кто находился под заворожительным и тоже плодотворным влиянием западной литературы (Камил Петреску и Дж. Кэлинеску, например) были всё-таки ведущие представители русской литературы; можно с обоснованием и уверенностью утверждать, что нет ни одного сколько-нибудь значительного румынского писателя, который не высказывался бы положительно о русской литературе, о русских прозаиках, драматургах или поэтах.

Легко составить ряд антологий с выдержками высокой похвалы (взятых из статей, эссе, предисловий и послесловий, рецензий, интервью и т.д.) румынских писателей в адрес русской классической литературы, в адрес русских мастеров слова. Более того, многие румынские писатели плодотворно переводили отдельные произведения русских писателей, правда, в первую половину XX века немало художественных эквивалентов

осуществлялось посредством «посредника», т.е. с текстов на французском или немецком языках; так как уже было отмечено выше Аргези переводил из творчества Л. Андреева и Достоевского, М. Садовяну – из Тургенева, Ливиу Ребряну – из Чехова и Л. Толстого, Гала Галактион – из Л. Толстого и т.д. Но даже в этот период было достаточно книг, переведённых непосредственно с подлинника, с русского языка (часть произведений названных выше писателей, романы И. Ильфа и Е. Петрова *Двенадцать стульев* и *Золотой тёлёнок*, роман *Мать*, автобиографическая трилогия и большинство рассказов и новелл М. Гольского, новеллы И. Бунина и др.)

После второй мировой войны, как правило, тексты переводились только с русского языка; были изданы многотомные собрания сочинений М. Горького (30 томов), Л. Толстого (14 т.), А. Чехова (12 т.), Достоевского (11 т.), Тургенева (11 т.) и т.д.

Вышли монографии румынских русистов и литературных критиков, посвященные русским писателям: Татьяна Николеску написала книги о Бунине и А. Белом; Галина Маевски о Горьком, Моника Сэвулеску о Чехове, Йон Яноши о Л. Тостом и Достоевском, Ана-Мария Брезуляну, Нина Виколов и Татьяна Николеску о Л. Андрееве, Изольда Вырста о М. Булгакове; в особом ряду стоит монументальная работа энциклопедико-исследовательского типа Валериу Кристя *Словарь персонажей Достоевского* (тт. I и II).

Большую помощь исследователям оказывают высказывания самих же румынских писателей о воздействии русской литературы на их творчество, личные дневники и заметки на полях внимательно прочитанных книг русских писателей, что дало, например, повод одному румынскому критику утверждать, что в составлении композиционного плана романа Ион Ливиу Ребряну руководствовался *Братьями Карамазовыми* Достоевского. Ценные данные об особом внимании, уделенном румынскими прозаиками русской литературе и даже отдельные виртуозные сопоставительные анализы произведений русских и румынских писателей находятся и в монографиях, посвященных, например, Ливиу Ребряну (из почти двух десятков книг стоит назвать работы Станку Илина – 1985 и 1988, Н. Герана – 1986 и 1988, он же является и составителем собрания сочинений Ребряну в 20 томах, С. Миока – 1988, И. Симуца – 1997), Чезару Петреску (М. Гафица – 1963), Михаилу Садовяну (С. Брату – 1963, К. Чопрага – 1966, И. Опришан – 1986), Джибу Михэеску (М. Диаконеску – 1973 и Фл. Гицэ – 1984) и др.

На румынскую прозу воздействовали не только русские классики XIX века (этот аспект изучен, хотя и не полностью, но довольно обширно и глубоко), но и русские писатели XX века.

Герои М. Горького, в частности бедняки, бродяги, «босяки», но и «бунтовщики» возымели немаловажное влияние на румынскую прозу, описывающую мир « униженных » и « обездоленных »; в разряд писателей, шагавших во многих произведениях по следам русского пролетарского писателя, обоснованно можно включить таких румынских прозаиков, как Ион Висарион, Панайот Истрати, прозванный ещё при жизни «балканским Горьким», Захария Станку, Карол Арделяну со своими романами

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Дипломат, дубильщик и актриса (1926), *Черви земли* (1933) и *Дом с девччатами* (1931), правда, в последнем названном произведении чётко прослеживаются и отголоски романа *Яма* (1909 - 1916) Александра Куприна.

В романах Феликса Адерки *Петр Великий, первый революционер, строитель России* (1940) и *Всадник, затерянный в степи. При Петре Великом* (1961) и романе Алексея Толстого *Петр Первый* (кн. 1-2, 1930 и 1934; кн. 3, 1945) встречаются много сходных моментов динамики развития сюжета, но самое главное то, что оба писателя представили русского царя как многосложную и целостную фигуру в высшей степени характерную и показательную для эпохи преобразования русского общества.

Вовсе не изучено до сих пор место творчества Дмитрия Мережковского в румынской литературе, прозаика, чьи романы часто переводились у нас до второй мировой войны (испытал влияние творчества Мережковского и один из переводчиков его романов, прозаик В. Деметриус), чья исследовательская книга *Русские писатели*, вышедшая в Яссах в 1925 году, была восторженно принята румынской критикой; ещё в начале 20-х годов о Мережковском писал Лучиан Блага, а в 30-е годы его имя встречается в статьях Мирчи Элиаде, Дана Петрашинку, Изабелы Садовяну и др.

Только наметившаяся у Владимира Стреину идея о родстве героев Андрея и Антона Барбу романа *Ничья смерть* (1939) Петру Манолиу с миром «деклассированных» людей пьесы *На дне Горького*, а также с персонажами Л. Толстого, Достоевского и Гончарова не была продолжена и развита при народной и социалистической власти, так как романы Манолиу не были допущены к переизданию (самому писателю разрешили заниматься только переводами), а Стреину одно время был узником румынских тюрем (статью о Манолиу он напечатал в 1939 году)¹⁷.

Нет ещё исследования о восприятии сатирических произведений Аркадия Аверченко в Румынии, несмотря на то, что в 20-30 годы его книги часто переводились, рассказы его часто печатались в румынской периодике и даже одна из его новелл о взяточничестве была успешно адаптирована Константином Терзи на фактах из румынской жизни¹⁸. В последние годы жизни Аверченко, который жил в эмиграции в Праге, нередко приезжал в Румынию.

Отдельные румынские прозаики были вдохновлены не только творчеством, но и личным примером русских писателей, так например, Марин Янку Николае, потерпевший в детстве небольшую травму глаз и уже в зрелом возрасте полностью ослепший, стал писателем (был принят и в Союз румынских писателей), последовав личному примеру Николая Островского; по количеству написанных книг, он даже превзошёл автора романов *Как закалялась сталь* и *Рожденные бурей*, но самым интересным произведением можно считать лишь автобиографический роман *После бездны – солнце*. Это другой вопрос, что произведения обоих писателей не достигли особых художественных вершин, что в написании первого романа Н. Островского участвовали другие советские писатели (об этом читатели узнали из русской печати только в последнее время) и что в «составлении» дебютных книг М.Я. Николае участвовали молодые ассистенты, мои

коллеги по кафедре. Здесь важны не столько произведения самы по себе, которые – если судить по большому гамбурскому счету – являются посредственными в эстетическом отношении, сколько именно личный пример отважного мужества писателей. Как, между прочим, для многих румынских читателей вдохновляющим является пример военного летчика Маресьева, героя популярного в советские годы романа Бориса Полевого *Повесть о настоящем человеке*.

По идейному содержанию, по глубинному нравственному смыслу романы *Остинато*, *Дверь*, *Герла* Пауля Гомы, «румынского Солженицына»¹⁹ близки произведениям А. Солженицына *Один день Ивана Денисовича*, *Архипелаг ГУЛАГ*, *В круге первом* и другим; оба писателя показали в своих сочинениях, что человек может сохранить своё достоинство, свою первозданную совестливость, своё чувство справедливости даже в ужасных условиях, функционирования – на полных оборотах – государственной машины тоталитарной системы советского образца. И Петре Сэлкудяну со своим романом *Александрийская библиотека* (1980) многим обязан Солженицыну и, безусловно, можно уловить разные параллели между этим произведением румынского писателя, хорошо знающего русский язык и литературу и книгами Солженицына, в том числе и романом *Раковый корпус*. Образ партсекретаря Морэску, бывшего агента Мосиы во время второй мировой войны, безграмотного активиста, ненавидящего интеллигенцию, напоминает своими поступками советских «старших собратьев», мастерски описанных в книгах Солженицына и Варлаама Шаламова.

Другим последователем Солженицына оказался и Ион Иоанид (хотя он и не считает себя писателем), который в своей многотомной мемуарной книге *Тюрма наша наущная*, изобразил с большой проницательностью и искренностью зековский мир, быт румынских политических тюрем.

Гома и Иоанид, как и Солженицын познали на собственном опыте, изнутри, – сами будучи узниками ГУЛАГа, – тяжкую и невыносимую жизнь заключенных, и также как русский писатель оказались в эмиграции, где остались и поныне в отличие от Солженицына, вернувшегося на родину в 1994 году.

Николае Стейнхардт в своём *Дневнике счастья*, опубликованном лишь посмертно в начале 90-х годов (речь идёт о втором варианте текста, так как первый был конфискован органами секуризрате в начале 70-х годов), отмечает, что выход из любого концентрационного мира возможен лишь путём веры и при этом ссылается на три разных типа решения духовного освобождения, предложенного А. Солженицыным, Александром Зиновьевым и, соответственно, У. Черчиллем и Владимиром Буковским; автор *Дневника счастья* доказывает, что он хорошо знаком с книгами *В круге первом* и *Архипелаг ГУЛАГ* Солженицына и с исследованием *Зияющие высоты* поэта и политолога А. Зиновьева.

Читая сочинения мемуарного типа Раду Чучану, Константина Чесяну, Иона Пантази, Марчела Петришора, Флорина Константиновича, Никифора Крайника и других бывших румынских политзаключенных, можно легко заметить, что пример Солженицына, а для некоторых и В. Шалашова со

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

своими *Колымскими рассказами* (они были сначала напечатаны на Западе и лишь потом и в бывшем Советском Союзе) был своеобразной путеводной звездой.

В какой-то степени и личные биографии П. Гомы и Солженицына похожи: первый отказался вернуться на родину и сотрудничать с новой властью, а второй, хотя и вернулся в Россию, был скоро удален с национального телевидения (у него вначале там была своя передача) за личные взгляды, далеко не совпадающие с официальной точкой зрения (с самого начала писатель отказался присоединиться к какому-либо политическому направлению). М. Горький как-то высказывался, что русский писатель никогда не должен жить в дружбе с русским правительством, но то же самое можно утверждать и про отношение Гомы к румынскому руководству страны.

Румынские писатели Раду Джир (первоначально был осужден к смертной казни), Василе Войкулеску, Ал. О. Теодоряну (Пэсторел), отправленные в тюрьму в послевоенное время, за произведения, рассмотренные властями как враждебные, антикоммунистические, в отличие от таких русских писателей как И. Бабель, П. Васильев, О. Мандельштам, Б. Пильняк, сгинувших в сталинских лагерях, остались, к счастью, в живых, и в период относительной «оттепели» в Румынии были выпущены на свободу. Сажали в румынские тюрьмы и румынских писателей, осмелившихся напечатать свои произведения на Западе; например за такой поступок Виктор Валериу Мартинеску получил второй срок заключения (1958-1964), первый же (1947-1952) он получил попытку нелегально покинуть страну. В брежневское время вызвало большую волну внутреннего и мирового протesta за осуждение писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского на 5 и соответственно 7 лет лагерей строгого режима за выход в свет на Западе прозы, которая сегодня входит в программу изучения русской литературы XX века.

Писатель Эмиль Ману (он же – известный румынский литературный критик) вспоминает, как следователь набросился на него на допросе за то, что в своем *Дневнике* он написал, что «Борис Пастернак – самый великий сегодняшний писатель в Советском Союзе и что его роман *Доктор Живаго* является шедевром мирового значения»²⁰.

Многим писателям удалось разными путями эмигрировать на Запад; все они хорошо знали русскую литературу, а в новой обстановке свободы смогли быть ещё лучше в курсе дел с литературой, запрещенной в Советском Союзе, а некоторые из них встречались с русскими эмигрантами, с диссидентами, с писателями, находящимися в опале у себя на родине (про весьма интересную встречу с Эудженом Ионеско рассказывала мне, например, поэтесса Белла Ахмадулина).

При прочтении изданных сегодня в Румынии книг таких видных писателей как Хория Винтилэ, Мирча Элиаде, Петру Думитру можно обнаружить немало точек соприкосновения их мастерства с идейным и художественным миром русских писателей и, в первую очередь, с творениями классиков XIX века. В почтительном отношении к русской литературе признавались неоднократно и сами румынские писатели; так

например, Эмиль Чоран, высоко ценил творчество Гоголя (о нем он написал и отдельное эссе), Л. Толстого (особое внимание он уделил анализу повестей *Смерть Ивана Ильича* и *Отец Сергий*), Достоевского и Тургенева. В последние годы о румынских «возвращенных» писателях стали писать и русские исследователи. Так например, в одной статье о Чоране утверждается: „Достоевский занимает в чорановском мире место, сравнимое разве что с Шекспиром или Бахом. В беседе 1979 г. Чоран отметил: «Из всех персонажей Достоевского меня больше всего восхищает и больше других понятен мне, кажется, Ставрогин»²¹.

Можно смело сказать, что так или иначе румынские писатели XX века от Михаила Садовяну, Ливиу Ребряну, Джиба Михэеску, Иона Агырбичану, Чезара Петреску, Галы Галактиона (явно влияние Горького на *Мельницу Кэлифара*), Константин Стере (в особенности в многотомном романе *Накануне революции*), Иона Лэнкрэнжана (роман *Кордоване* о колхозизации в деревне испытал прямое влияние *Поднятой целины* М. Шолохова; оба произведения сегодня уязвимы в инейно-тематическом плане) до продолжающих ныне творить Николае Бребана, П. Сэлкудяну, П. Гомы, Августина Бузуры и других любовно и творчески использовали богатый опыт русских прозаиков XIX века, а некоторые и опыт писателей XX века Л. Андреева, М. Горького, М. Арцыбашева, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, Л. Леонова, Е. Замятине, М. Шолохова, М. Булгакова и А. Солженицына.

Ждут ещё своего освящения проблемы восприятия русской прозы и вообще русской литературы румынскими писателями, чье творчество было до недавнего времени под полным или частичным запретом. Прав прозаик Думитру Маталэ, написавший, что сегодня есть книги, которых «раньше негде было найти. Книги про которые нельзя было произносить ни одного слова, тем паче читать их: *Россиянку*, например, или *Лолиту*, или *Остинато*, Солженицына, Оруэлла, или даже Петру Думитриу»²².

Сейчас, когда, например, за последнее десятилетие в Румынии уже переведены и изданы пять книг В. Набокова и три румынских монографии о нём, мало ли кто знает, даже среди филологов, что роман русско-американского писателя *Камера обскура* был прекрасно переведён с русского языка Ростиславом Доничем (братья Л. Добронравова - Донича) и напечатан в 1940 году. Нет этого сведения даже в обширной подборке высказываний о Владимире Набокове, ни в статье Раду Лупана о нем, сопровождающей отрывок из *Лолиты* (все эти тексты были опубликованы в журнале «Secolul XX» за 1980 год; в Советском Союзе же писателя стали печатать лишь с 1986 года).

Создание синтетической истории румыно-русских литературных и культурных связей должно начаться с более глубокого изучения восприятия русской прозы румынской литературой, румынскими писателями. Этот аспект затрагивает, несомненно, проблематику переводческую, издательскую, литературно-критическую и контактную.

Примечания

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

- 1 «Иностранная литература», 1957, № 6, с.276.
- 2 См. Filip Roman, Literatura rusă și sovietică în limba română, București, 1959.
- 3 “Studii și cercetări de istorie literară și folclor”, XII, 1963, nr.1-2.
- 4 “Viața românească”, 1971, nr. 11, p. 96-104.
- 5 Note la „Posedații” // „Revista Fundațiilor Regale”, V, 1936, sept., p. 679-683.
- 6 Vladimir Streinu, Gib Mihăescu: „Donna Alba” // Pagini de critică literară, București, 1938.
- 7 Цит. по ст. Pavel Țugui, Pagini din istoria cenzurii // „Adevărul literar și artistic”, XII, nr.664, 2003, 6 mai, p.10.
- 8 Сравнительное изучение литературы. Сб., Ленинград, «Наука», 1976, с. 164-168
- 9 „Romanoslavica”, XXI, 1983, p.205-224.
- 10 Zoe Dumitrescu Bușulenga, Valori și echivalențe umanistice, București, editura Eminescu, 1973.
- 11 Limbă și literatură, vol. III, 1983, p. 363-371.
- 12 „Romanoslavica”, XXII, 1984, p.61-85.
- 13 «Вестник Московского университета, серия Филология», 1989, № 2, с. 63-68.
«Очеловеченная» фигура И. Антонеску в романе *Бред*, показывает, что М. Преда творчески усвоил опыт *Войны и мира* Л. Толстого; нападки представителей Союза писателей СССР на книгу румынского писателя были явно предвзятыми и необоснованными. (См. и Н. Zalis, *Descătușare de tensiuni* // „Dosarele istoriei”, VI, 2001, nr. 10 (62), p. 56-61.
- 14 Prelegeri de limbă și literatură rusă, vol. II, București, 1985, p. 340-359.
- 15 „Romanoslavica”, XXX, 1992, p.107-136.
- 16 „Romanoslavica”, XXXI, 1994, p.51-67.
- 17 Vladimir Streinu, Petru Manoliu: „Moartea nimănui”// Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, V, ediție alcătuită de George Munteanu, București 1979, p.248.
- 18 C-tin Terzi, Sperțarul sau Ancheta Specială (Satiră umoristică), realizată de ... după Arcadie Avercenko, ediția I-a, Cahul, 1935.
- 19 Впервые данное прозвище употребил Мирон Раду Параскивеску, потом эту лексему переняла парижская газета «Ле Монд», а вслед за нею радиостанция «Свободная Европа» и литературные критики и политологи. (См. и статью Ion Simuț *Câți Soljenițin avem?* // „Observator cultural”, III, 2002, nr. 113, 23-29 aprilie, p. 6).
- 20 Emil Manu, Ancheta (1959) // „Luceafărul”, nr. 11, serie nouă, 2003, 26 martie, p. 15.
- 21 Борис Дубин, Бесконечность как невозможность: фрагментарность или повторение в письме Эмиля Чорана // «Новое литературное обозрение» (Москва), 2002, № 2 (54), с.260.
- 22 Dumitru Matașă, Pâinea noastră cea de toate zilele // „Luceafărul”, nr. 11, (595), serie nouă, 2003, 26 martie p. 24.

Oblici fantastike u istorijskom romanu
Miloša Crnjanskog

Octavia Nedelcu

Fantastika, kao znak dubine i snage duhovne kulture svakog naroda javlja se u književnosti, obogaćujući prirodne osobine književnog teksta kao alternativa na drugi i drugačiji svet čoveka. U središtu ovog drugog sveta jeste želja čovekovog duha da predje preko svih metafizičkih granica i uspostavi model drugačijeg života. Nestvarna stvarnost tога drugog sveta koja živi isključivo od mašte, pokušava da se odupre sivoj svakidašnjici, neprivlačnoj istini, jer samo fantastika ima moć da pretvara maštarije u estetsku istinu, da od izmišljenog pravi stvarno, a od nepostojećeg živo.

Fantastika je prirodno čedo umetnosti, jer računa na sva pet čula, a u književnosti podstiče i šesto čulo. Ona izlazi iz logične okvire sistema i oblikuje realnost sopstvenom snagom dočaranja, otvarajući dijalog izmedju «ja – i – to je drugi» (Rimbaud).

Koreni srpske fantastike sežu u staru slovensku mitologiju, u duhovno folklorno praiskonsko balkansko nasledje. U srednjovekovnoj srpskoj književnosti pojam fantastike je zavisio kao i u celom hrišćanskom svetu, od biblijskih motiva i crkvenih verovanja, ali u kojem čudesno nije bilo samo po sebi cilj (starozavetne apokrifne priče i parabole o čudima, o iznošenju na nebesa, o polasku u pakao, o strašnom суду, o apokalipsi i dr.)

Promena modela kulture izvršena je kod Srba posle Velike seobe u XVIII-om veku kada prodire gradjanska prosvećenost, kartezijansko poverenje u racionalni poredak i načela blagodeti svetlosti uma. Fantastika gubi svoje mistične karakteristike u prilogu novih fantastičnih žanrova: gotske i grobljanske priče o avetima i zlim duhovima, demonima, vešticama, vampirima i dr.

Gavril Stefanović Venclović (1680-1749) je bio prvi spski pisac **barokne fantastike**, te čudne epohe koja se u Srba i vremenski i stilski prožimala sa klasicističkom kulturom. U njegovim eklektičkim spisima Venclović je otvorio put srpskoj književnoj fantastici novijega tipa od **psihološke fantastike**, preko **satirične fantastike**, fantazmagorije, utopije i antiutopije pa sve do **naučne fantastike**, svakojakih trilera i čak do trezvene realističke proze, tamo gde je niko ne bi očekivao, jer u krajnjoj liniji, nema nijednog pripovednog dela koje nije plod fantazije i mašte.

Od trenutka kada se pojavio u srpskoj književnosti, Miloš Crnjanski (1893-1977) je mnogo uticao na najvažnije promene u modernoj srpskoj literaturi kako svojim književnim delima, tako i svojim pesničkim stavovima i protivurečnom ličnošću. Bio je u samom središtu književnih procesa, ostavši daleko od književne matice, prisutan i odsutan istovremeno.

Sto deset godina rodjena jesu dobra prilika da se baci novo svetlo u proučavanju prožimanja fantastike u istorijskom romanu *Seobe i Druga knjiga Seoba*. Iako sam autor ne svrstava svoj roman u dela istorijske proze: «Oba romana najmanje su istorijska, mada su zasnovana na memoarima tog vremena i arhivskim podacima...»¹, budući da je ovde istorija ipak najvažnija osovina kazivanja, književna kritika² svrstava ove romane u kategoriju istorijskih romana.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Narodna predanja, verovanja, praznoverja, magijski obredi, čaranja, mitovi, legende, bajke i bajanja ostaju i dalje glavni izvor fantastike u književnosti, duhovni kontinuitet celokupne srpske usmene i pisane književnosti bez obzira na epohu nastanka : «U bajkama je prava istorija čovečanstva, iz njih se da naslutiti, ako ne i potpuno otkriti, njen smisao», smatrao je Andrić.³

Fantastički elementi zauzimaju u *Seobama* mali prostor po broju stranica (svega desetak stranica, 185-193) i nalaze se isključivo u okviru devetog poglavlja ove knjige⁴. Ovi elementi fantastike, folklorног tipa nisu nagovešteni u prethodnim poglavljima, niti utiču na kasnija zbivanja ovog dela, nego predstavljaju jednu zasebnu episodu romana.

Inventar «čudnovatih dogadjaja» vezan je za ličnost gospože Dafine u odnosu na Vuka Isakovića. Seljani iz sela i bliže okoline slušali su u svemu svog starešinu, učestvujući u njegovom životu i deleći svoje sudbine sa njim, spremni da se jednog dana presele zajedno u rajsку Rusiju. Neposredno i bezuslovno vezujući svoje živote za Vuka, obožavajući ga, meštani nisu delili, medjutim ista osećanja za njegovom suprugom, gospožom Dafinom. Stranog porekla, iz Mletaka, iz kuće porodice Hristodula, Dafina je, od kada je dovedena u porodičnu kuću Isakovića, vladala i gospodarila ovim Ijudima neobjasnjivim strahom. «Bojali su se njenog osmeha», iako ih nikada nije kažnjavala. Ostala je do kraja svog kratkog života nepristupačna i nedokučna prema seoskom svetu i u radosti, rođenjem dveju devojčica, i u žalosti, bolešću i Vukovim odlaskom na vojnu. Zagonetnost misli i osećanja, tajanstvenost osmeha, odsutnost reči i gesta, retka prisustva gospože Dafine u odnosu na Vuka koji im se obraćao razumljivim rečima i batinao neposlušne i uporne, zagrejava maštu seoskog sveta dovedeći je u direktnu vezu posle njene smrti sa svim nedaćama koje su zadesile seosku zajednicu odlaskom Vuka na vojnu i selidbom njegove žene u neverovu kuću.

Elementi fantastike su prisutni pre i posle njene smrti. Po Ananijevoj priči svi «čudnovati dogadjaji» koji su prethodili smrti gospože Dafine poprimaju objašnjenja posle njene smrti. Ova se tri neobična dogadjaja nižu gradaciono po rangu važnosti koju gradi sluga u svom pričanju. Prvi se dogadjaj desio kada su Arandjela Isakovića konji hteli da udave u Dunavu nakon prevrtanja njegove ladje po vetrovitom i mraznom danu. Konji su se tiskali oko njega i punili mu «usta svojim grivama dok se davio» u mulju. Kao da su hteli da ga spasu preljube, ali se desilo suprotno, jer ne možeš izbeći sudbinu. Iznemoglog i polumrtvog doneli su Arandjela u sobu gospože Dafine u kojoj se iste noći dogodilo rodoskrvnenje. Drugi se dogadjaj tiče sluškinje koja je češljala svoju gospodaricu. Prema Ananijevoj priči, devojčinu ruku kojom je češljala Dafininu kosu pojele su bube i mravi. Treći se dogadjaj ticao postelje gospože Dafine. Ananije je pričao po selu kako se po celoj kući namnožile zmije, a da su se «naročito rado kotile pod njenom posteljom». Ananije, sluga Arandjela Isakovića pronalazi krvica za sve nesreće u selu u liku gospože Dafine. Sva tri dogadjaja imaju isti imenitelj-kosa. U starim praviskonskim verovanja smatralo se da se kosa veštica pretvara u zmije.⁵ U kosi leži moć, lepota i privlačnost jedne žene. *Sanjaše je, u mukama, skoro svaku noć. Vide je u svakom mraku, ma gde bio. Činilo mu se da ga obavlja njena kosa, sa teškim mirisom oraha, laka kao svila. Dodirnula ga je kosom, više puta, kada mu je prilazila ruci. I on je katkada dodirnuo njenu kosu.*(42)

Ananije doživljava dolazak Dafine u Arandjelovu kuću kao težak udar. Sve njegove nade u svoju najmladju kćer koja se vrzla, uostalom, i sama pred očima Arandjelovim, žućkastim i mutnim, uvek razrogačenim, dotičući mu se ruke (185) postaju uzaludne kada uvidi da za njegovog gospodara žene više nisu postojale, a

njegov pogled, pre svetao i žut, kao u mačke, beše postao mutan i podignut, nekud, iznad Ananijeve glave (185) i da ovaj neće više biti onaj koji je bio. U ovom delu ključ dešifrovanja iracionalnog jeste u sferi realnog i objašnjivog i zbog toga možemo smatrati da je više reč o **pseudofantastici**. Za Ananija je smrt gospože Dafine *bila prijatan dogadjaj, koji mu je opet razbudio nade* (185). Iako je Vuk bio daleko i nije bilo izvesno da će se živ vratiti, Ananije je osudjivao njihovu preljubu, (ne iz verskih i moralnih ubedjenja već iz potrebe da okalja omraženi lik) i pričao da je gospoža Dafina pred smrt, za kaznu zbog rodoskrvnjenja vidjala u mraku, na vodi svoga muža u obliku žabe iz koje je curila krv, zatim u poastelji, napola rasečenog, a kasnije *celog, celcatog, u beloj peći, sa iscurelim očima* (184).

Svima kome je pričao i koji su ga slušali ježila im se koža. Strah od gospože Dafine nije minuo kod seljana i kod Ananije ni nakon nijene smrti, jer je on bio uveren da će ona izlaziti iz groba i hodati po selu. Kada se u selu počela kvariti voda zbog preteranih prolećnih kiša, optužena je Dafina. Kada je stoka nestajala, kada su dotad nepoznate bolesti počele harati selom, o Dafini se šaputalo sve češće sa sve većim strahom. Kada su meštani našli udavljenou dete za koje se nije doznao čije je, počelo se pričati da ima očevidaca koji su videli gospožu Dafinu kako jaše na motkama, na jarmovima, kako čući na djermu. Dafina je počela da *ih davi i morila noću, sedajući im na debele seljačke stomake, klečeći im pod grlom, ostavljajući za sobom srdobolju, boginje i drhtavicu. Jedne hladnije noći, kad poče provejavati prvi sneg, vide je jedna bremenita žena, pred štalom svojom, u obliku bele krave, i pade mrtva* (186-187). Tako je Dafina postala, Ananijenom voljom, mora, strašilo, vampir. *Pojava vampira, koga su skoro svi već bili sreli, samo je dopunila nesreću koja naselje beše snašla, otkako je Vuk Isaković bio, sa najboljim ljudima, otiašao na vojnu* (186). Grobljanske priče o vampirima i vukodlacima pripadaju tipičnim fantastičnim žanrovima. Sliku vampira je nametnula zapadna književnost iako je istočnog porekla. To je mrtvac koji po starom verovanju noću napušta grob, davi ljude i sisa krv. Vampir je opasan za bremenite žene kojima im može oteti nerodjenu decu, otima decu, mleko stoka i seje nepoznate bolesti. Spas od ove napasti jeste samo jedan: zabijanje glogovog kolca u grob gospože Dafine. Za ovaj posao odabran je sluga Ananije i isčekivana je samo jedna tiha i vidna noć u kojoj će se seljaci oslobođiti vampira. *Sa sekirom i kocem, Ananije provuće se kroz plot, čim se mesečina javi...Zakačiv gunjem o ogrodu, on se umalo ne vrati, toliko se prepae od neobičnog izgleda poljane, žume i brega, što se digoše pred njim...Oko ponoći Ananije počne da zabija...ispravi se zato i, u punoj noći, pali po kocu, koliko je god mogao. Kolac mu se izvrte i on se stušti nad njim, ispravivši se ponovo, udarajući kao lud po njemu. Činilo mu se da čuje, kako probija sloj zemlje, pokrov i mrtvaca... Na to se Ananije prepade, udariv glavom o krov i, omašivši kolac, koji je već bio duboko zabijen u zemlju, razbi sekirom nogu. Pavši preko groba, imao je, ipak, toliko snage da urlajući potrči za ženama i da se odbatrga do plota svoje kuće, rasplastiši pse i ovce. Tu, provlačeći se kroz plot, čekao ga je medjutim opet vrag, zakačivši ga gunjem za plot, baš za šiju, tako da je visio kao zadavljen, stenujući, iskolačenim očima, strahovito osedeo, sve dok ga psi, pred zorou, ne nadjoše i ne otcepiše od trnja i balvana, zavijajući strahovito...Dan, dva, zatim udari sneg i mećava* (190-191).

Interesantna jeste i sekvensijalna priča o prividjenjima Stane, Arkadijeva žena koja se preselila sa detetom u onu kolibu u kojoj je gospoža Dafina provela svoju poslednju noć sa mužem. Živeći mesecima sama, plačući za mužem Stana je jedne noći primila jednog pastira i zadivila ga je svojim čarima. Od tada su njeni

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

ljubavnici išli k njoj kao na litiju. Jedne je zore videla na svom pragu vampira, a od tada je *svu noć mislila samo na vukodlake i vampire* (190). Odlučila je da podje zajedno sa Ananijevom ženom i kćerkom na groblje da vidi kako ovaj zabija glogov kolac i ubija vampira. Na tom put pada *u veliku jamu, punu blata i pleve za zidanje do grudi*, zatim upada *u baru, iz koje više, ni desno, ni levo, nije nalazila izlaza mada je padala u nesvest, čuvši žabe oko sebe...* U samrtnom strahu... noj se učini da vidi Arkadija, *u vodi, pred sobom, kako leži raskrečen, raširenih ruku, mrtav, pod biljem i muljem* (193). U tim užasnim trenucima ona se seti svog razvrata i svojih ljubavnika kao i pričanja o gospoži Dafini koja je pred smrt videla muža.

Iako neupadljivim po kvantitetu, ova celovita episoda sekvensijalnih fabula ima moralističku i didaktičku funkciju, kolebajući se izmedju carstva nebeskog i carstva zemaljskoga.

Posle nekoliko dana kad se sve stišalo, jedino čudo je ostala činjenica što je Ananije počeо seljanima da vraća ukradene ovce i konje, nadajući se da će na ovaj način iskupiti učinjeni greh i izlečiti osakaćenu nogu. Taj usmereni strah od iskušenja, kazne, nečistih sila, pakla i večitog ispaštanja meša se u narodnoj maštiji s paganskim duhovnim nasledjem. Priče o vampirima i vukodklacima zamenjenje su brigom oko isušivanja močvara i dizanja crkve u selu. Strah od mrtve Dafine zamenjen je strahom od prirode, jer preživljavanje jednog straha od ljudi, živih i neživih moguće je na ovom svetom nastankom drugog, jačeg straha od prirodnih nepogoda i njenih čудi.

Grobljanski motiv mrtve drage i avetijske žene, obsesivna prividjenja i oniričke priče obnavljaju se i variraju u lirskim bojama u *Drugoј knjizi Seoba* (1962) Miloša Crnjanskog*6* u četvrtom poglavljju⁷ (str. 173-178). Romantičarski oblici književne fantastike upleteni su u ovoj prozi zajedno sa simbolističkom prenapregnutošću unutrašnjih značenja, s mističnom omaglicom kao i sa tipološkim odlikama psihološke fantastike koja prodire duboko, u najstarije slojeve podsvesti, kao prirodna žudnja za metafizičkim uzletom čovekove duše.

Pavle Isaković sanja svoju mrtvu ženu prvi put u zatvoru u Temišvaru. Ta mlada žena koja je umrla na porodjaju godinu pre i koju je već bio zaboravio dolazi mu u san svake noći milujući i ljubeći ga, sve lepša i sve primamljivija. On doživljava ove snove kao da se *igraju sa njim djavoli*, kao da su to *djavoljske čini ili zli dusi*. Te noći ljubavi u snu bile su toliko istinite da je, *bio užasnut tom potpunom sličnošću, istovetnošću, sna, i jave* (174) a kad bi došao k sebi ujutru, *pomisli da će s uma sići*. Slika mrtve drage bila je ista svake noći: *Dolazila mu je, izdaleka, a nečujno, u providnoj plavoj krinolini, a silazila nekim slapom, u rumeni zalazećeg Sunca. Imala je uvek svoju crnu lepezu u ruci* (174). Vrhunac tih irealnih noći bio je san leta. *Bila je došla i počela da ga grli i ljubi, pa se uz njega pribi, a on oseti, iznenadjen, da više nisu na zemlji, nego lete. ...a taj let je bio tako prijatan, nečujan, lak, kao da nisu imali krila, a nisu morali krilima ni maći. Dizali su se u visinu...Taj let, sa vrha na vrh, bio je nešto najludje i najprijetnije, što je Pavle doživeo, u životu* (175).

Medjutim, san koji ga je najviše uzbudio bio je onaj kada je sanjao ženu na samrti i iznova doživljavao sav bol i strašne muke posle gubitka voljene žene: *Taj njen šapat, isprekidan kricima, da je bilo malo, da je suviše kratko, toliko su se Pavlu, posle, u mozak zarili, da je ludeo, kad bi ostao sam, u noći* (176).

U svim njegovim snovima, jarkih boja, opojnih mirisa, nedostaju auditivni elementi, sve je *nečujno, šapuće se*, osim ovog poslednjeg: *To, da je život kratak, da su tako malo bili zajedno, ponavljao je sebi, posle, i sam, u bezbroj različitih, a istih, reči, gundajući, ali je prvi put čuo, to, kao sa drugog sveta, u snu, na prenoćištu u Duklji.* (177) Ovaj san mu je izmenio stav o životu, uvidevši koliku snagu imaju, u ljudskom životu, čubavi i smrti....da bi ljubav ljudska trebalo da ima trajanje večnosti (177)

Budjenje iz sna je teško, bolno i tajanstveno. *Svetlost zore prosijavala je, teško...sve je bilo belo injem popalo.* Ta bezmerna čistota prvog popalog snega na opadalo žuto lišće jeste kraj sna i početak novog života, raskid sa prošlošću i želja da stigne izmenjen u Rosiju kuda je pošao. *Samo ta žalost za umrlom ženom, nije se menjala u njemu* (180) niti saznanje *da je ta žena, koju je imao, i sahranio, onakva, kakvu više nikad ne može imati* (177). Duša ima pristupa u snu u božanstvenom carstvu, kao vesnik sudbine.

Iako u opusu Miloša Crnjanskog književna fantastika ne zauzima značajno mesto, vidljivo je žanrovsко проžimanje kao izraz samosvojnosi i istovremeno kao potreba za alternativom i drugim svetom. U izabranim primerima pisac nudi neočekivana rešenja od **folklorne, didaktičke, grobljanske, madjiske, demonske, psihološke, do poetske fantastike**, sve to iskombinovano i izmešano u strukturi modernističke proze.

U oba primera lik žene (Dafina i Katinka) jeste izvor provale nestvarnog u realni svet, magije čuda i čudesnog, putovanje u drugi svet sna i mešanje natprirodnog sa prirodnim.

Obe se episode sa elementima fantastike završavaju sa dolaskom snega koji zamenjuje strah od ljudi strahom od prirode i tako se okonča prstenasti kompozicioni procede, svojstven autoru.

Svi neobični dogadjaji minu u sećanju, svet se vraća u svakodnevnu muku, u sivilost realne svakodnevnice.

Srpska današnja fantastična književnost⁸ radije i lakše menja ikonografiju i dekor fabule nego njenu unutrašnju strukturu i jezgro samog žanra, to što dovodi do veoma širokih tipoloških mogućnosti: uz klasične oblike preradjenje **folkorne fantastike** (kod Milisava Savića, Vidosava Stevanovića, Borislava Pekića u obliku grobljanske priče o utvarama, vampirskog motiva), psihološke fantastike (kod Miodraga Bulatovića, Miodraga Pavlovića, Milorada Pavića, Danila Kiša, Borislava Pekića u obliku demonskog naturalizma, metafizičke skrivalice, groteske, negativne utopije) u novijoj srpskoj prozi su se razvili i neki postmodernistički oblici književne fantastike kao što su **fantastični realizam, kritička fantastika i kritička ironija** (kod Svetlane Velmar-Janković, Davida Albaharija ili Svetislava Basare). Nekada smatrana nižim oblikom površne lektire, fantastika i njeni elementi su se dokazali izdržljivijim od mnogih klasičnih žanrova.

S druge strane, pojam fantastike se menja u moderno doba, prostor fantastike se smanjuje za današnjeg čoveka XXI veka kome su mnoge tajne otkrivene, ali fantastika će uvek preći preko sve medijske granice i naći će uvek rešenja za

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

izlazak ljudskog duha iz zatvorenog prostora i vremena u stalmom kolebanju izmedju nebeskog i zemaljskog carstva.

Note

1 Miloš Crnjanski, *Zbornik radova*, Beograd, 1972, str. 226

2 Vidi Pavel Rudjakov, *Istorija kao roman*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,, Vukova zadužbina, Matica srpska, 1998

3 Ivo Andrić, *Eseji I*, Sabrana dela Ive Andrića, knj. XII, Beograd, 1976, str. 25

4 Miloš Crnjanski, *Seobe*, Nolit, Beograd, 1990

5 Antoaneta Olteanu, *Metamorfozele sacrelui, Dicționar de mitologie populară*, Paideia, București, 1998, pag. 253

6 Miloš Crnjanski, *Druga knjiga Seoba*, Nolit, Beograd, 1990

7 Odlomak ovog poglavlja pod naslovom *Prividjenja* nalazi se u antologiji *Knjiga srpske fantastike XII-XX vek, II*, u izboru Predraga Palavestre, SKŽ, Beograd, 1989, str. 52-62

8 Predrag Palavestra, *Knjiga srpske fantastike XII-XX*, u predgovoru: Kritičke odlike srpske fantastike, SKZ, Beograd, 1989, str. XXXIV

R E C E N Z I I

R E V I E W S

Pavol Winczer, *Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgardă, jej prekonávanie a dedičstvo (Čechy, Slovensko a Poľsko)* [Corelații în timp și spațiu. Avangarda poetică, depășirea și moștenirea ei. (Cehia, Slovacia, Polonia)], Bratislava, 2000, 320 pagini.

Absolvent al Facultății de Litere a Universității Caroline din Praga, mulți ani cercetător la Institutul de Literatură al Academiei Slovace de Științe, Pavol Winczer este din anul 1993 profesor la Universitatea din Viena, unde predă un curs de literaturi slave vestice.

Cartea lui Pavol Winczer este una dintre cele mai importante lucrări născute în cuibul de comparatistică de la Institutul de literatură al Academiei Slovace, cuib clădit cu migală de Dionýz D'urišín, reputatul autor al volumului *Teória literárnej komparatistiky* (Teoria comparatisticii literare).

Autorul are în urma sa o seamă de studii ce anticipatează apariția acestui volum dedicat analizei comparate a fenomenului poetic avangardist din Cehia, Slovacia și Polonia: *Problémy literárnej avantgardy* (Probleme ale avangardei literare), 1969, *Poézia Františka Halasy a príbuzné javy v poľskej lyrike* (Poezia lui František Halas și fenomene înrudite în lirica poloneză), 1972, *Poetika básnických smerov v poľskej a slovenskej poézii 20. storocia* (Poetika curentelor poetice în lirica poloneză și slovacă din secolul 20), 1974, *Horovove preklady z Julianem Przybośiem* (Traducerile lui Horov din Julian Przyboś), 1974, *Apokalypsa v poézii polských katastrofistov (1932-1944) a v bášnickej skladbe Rudolfa Fábryho Ja je niekto iný* (Apocalipsa în poezia catastrofistilor polonezi din anii 1932-1944 și în poemul lui Rudolf Fabry Eu sunt altul) și altele – toate însemnând o preocupare și o aprofundare continuă a studiului comparat al celor trei literaturi apropiate geografic și înrudite.

Pe două repere principale se sprijină argumenția lui Pavol Winczer pentru a-și justifica demersul de a studia *asemănările* și *relațiile* dintre trei literaturi slave „occidentale”: în primul rând pe realitatea că Cehia, Slovacia și Polonia au evoluat până la 1918 sub ocupație străină, realitate din care decurge, în al doilea rând, modul relativ similar în care au receptuat impulsurile moderniste. E o idee mai veche vehiculată în istoriografia literară că până în 1918 în aceste țări lipsite de libertate literatura îndeplinea și o funcție socială, scriitorul se simțea dator să fie, prin scările sale, și un luptător pentru cauza națională. Dar și în aceste condiții, subliniază autorul, preponderența funcției extraestetice (politice, naționale) diferă de la o literatură la alta, Polonia și Cehia, în comparație cu Slovacia, fiind mai devreme penetrate de idei moderniste (p. 18-19). Deși „presiunea bâtrânilor”, despre care vorbește Pavol Winczer, adică presiunea scriitorilor de orientare realistă, asupra tinerilor, nu i-a împiedicat pe mai tinerii scriitori slovaci să se îndrepte spre noi orizonturi și să dea naștere unui puternic curent simbolist și neoromantic chiar din prima decadă a secolului al XX-lea. La slovaci, după părerea noastră, schimbul natural de generații s-a produs cu o relativă întârziere.

Urmare a precedentului istoric și a inertiei, s-a menținut o anumită o anumită tensiune între funcția estetică și cea extraestetică și după dobândirea libertății naționale în 1918. Sub influența din ce în ce mai presantă a curentelor poetice de avangardă, funcția estetică prevalează. În această ordine de idei, este pe larg tratat

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

rolul avut de „modelul” poeziei lui Apollinaire în dezangajarea liricii poloneze, cehe și slovace. Referirile se fac în special la poezia lui Vítězslav Nezval, căreia autorul îi acordă o atenție deosebită. De o analiză aparte se bucură opera poetilor suprarealiști slovaci Rudolf Fabry și Vladimír Reisel, dar și opera poetilor polonezi „catastrofici” precum Józef Czechowicz, Czesław Miłosz. Poezia lui Julian Tuwim este analizată doar prin prizma raporturilor ei cu poezia pentru copii a lui Miroslav Válek și L'ubomír Feldek în ultimul capitol al cărții (*Poezia slovacă pentru copii și Julian Tuwim*).

Lucrarea lui Pavol Winczer, fundamentată pe o vastă informație, se încheie cu un amplu rezumat în limba engleză, cu lista bibliografiei selective și cu un indice de autori.

Corneliu Barborică

Dagmar Mária Anoca, Slovenská literatúra v Rumunsku (Vydavateľstvo „Ivan Krasko”, 2002, 256 pagini)

În ultimii ani, conferențiar dr. Dagmar Mária Anoca a desfășurat o intensă activitate de cercetare în domeniul literaturii, dar și al lingvisticii.

După volumele Hľadane sferického priestoru (În căutarea spațiului sferic), Literárne reflexie (Meditații literare), ambele în 1997 și Fonetika a fonológia slovenčiny, 1998 se prezintă în anul 2002 cu o amplă sinteză, o exegезă pătrunzătoare și densă privind literatura de expresie slovacă din România. Ca și în lucrările precedente și aici impresionează rigoarea științifică.

Nu-i scapă nimic, nici cel mai mic firicel de talent care s-a definit până acum ca personalitate literară. În afara marilor figuri ale spațiului literar slovac de pe teritoriul României și totodată creatori ai acestui spațiu, cum sunt Pavel Bujtár, Ondrej Štefanko, Ivan Miroslav Ambruš, Ondrej Zetocha, Pavel Husárik și alții, amintește pe scurt și creația altora care s-au afirmat ca autori de scrieri originale, apărute în special în publicații peridice, și ca traducători. (Dintre aceștia personal î-lăs remarcă pe sârguinciosul Štefan Unatinský.) Autoarea este atentă și la creația tinerelor mlădițe precum Anna Karolína Dovalová, Radovan Karkuš sau Michal Ondrej Veleg. Dintre toți scriitorii la loc de frunte așeză pe Ondrej Štefanko, a cărui activitate pe tărâmul literelor este copleșitor de multilaterală: autor de poezii și proză cu tentă inconfundabilă, editor de cărți și reviste literare, traducător din slovacă în română și invers, inițiator al cercului literar „Ivan Krasko” unde a avut și are posibilitatea să se afirme orice formă de talent, un bărbat generos și cu idei fără de care activitatea literară și publicistică a slovacilor din România nu se știe dacă ar putea exista.

Autoarea este o abilă mânuitoare a condeiului, știe să separe grâul de neghină, să nuanțeze, cu un tact demn de invidiat, și să rânduiască pe scara valorilor acolo unde îi este locul fiecare operă la care face referire. Deși în realitate și Dagmar Mária Anoca face parte din categoria „deschizătorilor de drum” sau a creatorilor de spațiu literar, cum i-am numit mai înainte, cu modestie nu-și permite să se înscrive printre aceștia, lăsându-l pe Michal Harpán, critic literar și scriitor provenit din Voivodina iugoslavă, să-i prezinte realizările într-un capitol intitulat *Schițe pentru un portret al creației Dagmar Mariei Anocová*. Michal Harpán își

începe „schițele” cu următoarea caracterizare globală: „Dagmar Mária Anocová este o personalitate multilaterală – domeniile ei de creație sunt poezia, proza, literatura pentru copii, traducerile, critica, teoria și istoria literară, lingvistica. În fiecare dintre aceste domenii a ajuns la rezultate notabile și în fiecare dintre ele se simte o voce specifică, atât în contextul literaturii slovace din România, cât și în contextul mai larg al literaturii slovace din Ținuturile de Jos”.

Autoarea procedează metodic. Într-o amplă parte introductivă precizează conceptele cu care urmează să opereze. O preocupă în special în ce raporturi de rudenie și cu cine se află literatura slovacilor din România și ajunge la concluzia că aceasta se situează în patru contexte: 1. Contextul propriu. 2. contextul literar slovac. 3. Contextul literaturii din aşa zisul spațiu al „Ținuturilor de Jos” (Kontext Dolnozemskej literatúry). 4. Contextul literar românesc. Teoria contextelor reprezintă o adaptare proprie a conceptelor instrumentate de comparatistul slovac Dionýz D'urišín și de adeptii acestuia.

Pentru cititorul român doritor să afle mai multe despre aceste concepte, ca și despre literatura slovacilor din România, volumul este prevăzut și cu un rezumat în limba română. Explicația este însă destul de sumară. Ca să se înțeleagă mai bine de pildă, ce reprezintă denumirea „ținuturile de jos”, ar fi trebuit, poate, să se spună căcăva cuvinte că este vorba despre insule de etnici slovaci emigrați, la începutul secolului al XVIII-lea, din Slovacia muntoasă spre sudul imperiului habsburgic, spre acel sud cu șesuri mănoase, dar pustiute de ocuparea turcească care a durat peste două sute de ani.

După dispariția Imperiului Austro-Ungar, nu e clar în ce măsură poate fi funcțional „contextul literaturii din Ținuturile de Jos”. (De fapt, traducerea mai corectă mi se pare Țara de Jos – în slovacă Dolná zem – „zem”, atunci când a apărut pentru prima oară această denumire, adică în secolul trecut, însemna „țară“. După părerea noastră, singurele „contexte“ demne de luat în seamă sunt literatura din patria de origine, adică literatura slovacă, și literatura română. Celelalte „insule“ literare, cea din Voivodina și Ungaria, se raportează în mod specific tot în primul rând la literatura din patrisa de baștină la literatura sârbă, în cazul slovacilor din Iugoslavia, și la literatura maghiară, în cazul celor din Ungaria. De fapt, raportarea la cultura sau literatura țării unde trăiesc astăzi trebuie foarte bine argumentată. Cred însă că un asemenea demers nu-l poate face decât o persoană bună cunoscătoare a ambelor literaturi. Dar o asemenea persoană este cam greu de găsit. Care, de exemplu, critic sau istoric literar român să încumeta să o facă fără a risca afirmații hazardate precum sunt ale lui Viktor Kochol de partea slovacă? Sau afirmații generale nesușinute cu argumente ca ale lui Peter Štilicha. Dar pentru ca să apară un critic literar român care să studieze realația literaturii slovace din România cu literatursa română, după părerea mea ar fi nevoie de două lucruri. În primul rând de o intensificare a traducerilor din această literatură și de o mai bună difuzare a acestora pe întreg teritoriul țării, cu precădere în București. În al doilea rând, ar fi necesare niște prelegeri privitoare la literatura slovacilor (și nu numai) din România la toate universitățile din țară în cadrul cursurilor de literatură română. Vasázică scriitorii minoritari fac parte din Uniunea Scriitorilor din România, sunt distinși cu premii ale acestei uniuni, dar nici un istoric literar serios nu-i bagă în seamă. Ar fi timpul ca să se proclame cu glas tare că literatura minorităților naționale este și parte a literaturii române. Si să apară ca atare în toate istoriile literaturii române și în toate manualele școlare.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Cum se poate ajunge la asta? Nu știu. Sunt convins însă că o propunere în acest sens ar fi binevenită în comisia pentru minorități – dacă există aşa ceva – a parlamentului. Dacă o asemenea măsură ar fi adoptată, s-ar putea să se ivească peste un deceniu sau chiar mai curând un istoric literar român în stare să-și asume o atare misiune.

Convingerea noastră este că literatura slovacilor din România este în primul rând trup din trupul literaturii de pe teritoriul Republicii Slovace și ar trebui socotită și ca o ramură a acesteia ca, de altfel, toată literatura produsă de diaspora slovacă din aşa numita Țară de Jos. Constat că și în Republica Slovacă istoricii literari sunt prea puțin interesati de fenomenele literare în limba slovacă ce apar dincolo de granițele acestei țări. Cine pierde dintr-o astfel de „amputare“? Cultura slovacă, bineînțeles.

În fine, se impune precizarea că lucrarea nu poate să reprezinte decât parțial și subsidiar o „istorie“. O istorie adevărată începe abia în perioada anilor 70'- 80' când s-a produs fenomenul de estetizare a cuvântului în proză și în versuri. În acești ani se naște adevărata literatură cultă. Între ce s-a scris înainte, opera unor intelectuali cu preocupări literare sau istoriografice din secolul trecut, și ce scriu literații slovaci de astăzi nu poate fi o legătură organică. Fără această organicitate nu există istorie.

Corneliu Barborică

**Michal Gáfrik, *Na pomedzí moderny* (În pragul modernismului),
Bratislava, 2001.**

Cunoscutul istoric literar, editor și publicist slovac, Michal Gáfrik (1931), s-a dedicat cercetării literaturii slovace interbelice, cu predilecție studiului operei unor scriitori printre care se numără Ludmila Podjavorinská, Janko Jesenský, Ivan Krasko, dar mai cu seamă Martin Rázus, chiar și în perioada când fusese înlăturat din ceea ce s-ar putea numi critica oficială a vremii. Rodul preocupărilor sale se regăsește în volume de istorie literară cum sunt: *Etická próza Martina Rázusa* (Proza etică a lui Martin Rázus, 1979), *Próza slovenskej moderny* (Proza modernismului slovac, 1993), *Rázusovské návraty* (Reveniri la Rázus, 1995). A îngrijit și editat operele complete ale poetului Ivan Krasko (unde sunt cuprinse și traducerile acestuia din poezia românească) precum și lucrarea lui Rázus *Argumenty. Hovory so synom a s tebou* (Argumente. Convorbiri cu fiul și cu tine, 1993).

În anul 2001 i-a apărut culegerea de studii intitulată *Na pomedzí moderny* (În pragul modernismului) care constituie o finalizare a demersului său de cercetător în domeniul modernismului literar slovac („slovenská moderna“), axându-se pe problemele privind caracterul, temele, izvoarele acestui curent literar, precum și ecourile stârnite de acesta.

Volumul cuprinde mai multe capitole, revăzute și adăugite, contribuții mai vechi, dar și texte noi, inedite, toate reunite prin tema comună, astfel ca și un cititor exigent, cu o viziune asupra literaturii interbelice de-acum formată să poată găsi un nou punct de vedere, o nouă optică. De altfel autorul menționează aceasta în ultimul capitol al cărții, arătând că primele trei texte au rezultat din prelucrări

succesive ale materialelor pregătite în vederea publicării lor într-o ediție a istoriei literaturii slovace sub egida academiei de științe - fapt care nu a avut loc nici până în prezent. În ce privește articoul referitor la biografia Ľudmilei Groeblová, rezultă că acesta este destinat să apară drept prefață la scrierile acesteia, ce urmează să fie publicate în colecția Arhiva literară a Maticei slovenská. Structura cărții vine să confirme faptul că Michal Gáfrik, este un vechi și bun cunoșător al literaturii interbelice. După ce în primele capitole, cu un caracter sintetic, tratează probleme legate de geneza acestui curent și urmărește genurile literare cultivate în acest răstimp (Modernismul slovac – geneză, definiție, caracteristici; Proza curentului modernist slovac; Dramaturgia curentului modernist slovac), atenția și-o îndreaptă asupra poetilor emblematici pentru acest curent literar, îndeosebi asupra creației lui Janko Jesenský, Ivan Krasko (Popas la Jesenský; Procesul de formare a poetului Ivan Krasko; A vorbit Ivan Krasko...), fără a-i neglija însă pe prozatorii timpului (Timrava și modernismul slovac). De asemenea, comentează năzuințele tinerilor și modul în care ei se raportează față de generația vârstnică (Atacul polemic al lui Roy împotriva lui Vajanský), precum și atitudinea personalităților consacrate față de modernismul slovac (Jozef Škultéty și curentele moderne în poezia vremii; Vajanský și modernismul slovac).

Relevante sunt, de asemenea, capitolele dedicate unor autori mai puțin cunoscuți și care nu constituie obiectul predilect al istoricilor literari, dar care au contribuit la încheierea peisajului literar slovac în răstimpul duratei curentului modernist (Poezia lui Tichomír Milkim; Opera poetică a Ľudmilei Podjavorinská; Contribuții la biografia Ľudmilei Groeblová; Necrolog tardiv pentru Ľudmila Groeblová). Aflăm, astfel, amănunte cu privire la convorbirile autorului cu Ľudmila Groeblová, precum și la pierderile inerente muncii de cercetare, determinate de diverse cauze neprevăzute, cum s-a întâmplat și în cazul acestei scriitoare, care nefiind pregătită sufletește să poarte o discuție îndelungată cu autorul, nu a mai reușit să-i ofere detalii cu o altă ocazie, întrucât convorbirea s-a dovedit a fi ultima. Prin urmare criticul literar îndeamnă la continuarea cercetărilor cu privire la creionarea biografiei și profilului acestei scriitoare foarte puțin cunoscute, deși la vremea respectivă criticul František Votruba a caracterizat-o ca fiind o personalitate agreabilă și de mare valoare, fără însă a-și dezvolta sau argumenta mai amănunțit afirmațiile. În urma corespondenței purtate cu scriitoarea Groeblová, Michal Gáfrik a reușit să cunoască unele dintre opiniiile ei despre literatură și a ținut să le împărtășească cititorului citând fragmente din scrisoarea Groeblovei datând din 1965, din care reiese că aceasta a considerat drept cele mai frumoase povestiri din lume textul *Moșierii de altădată* de Gogol și *Sfârșitul lui Paló Ročko de Božena Slančíková Timrava* (Necrolog tardiv pentru Ľudmila Groeblová).

În capitolul *Procesul de formare a poetului Ivan Krasko* istoricul literar surprinde faptul că în perioada postbelică vocea poetului a rămas fără ecou, nu a trezit nici un interes. Pe de altă parte aduce în prim plan imaginea tinereții lui Janko Botto, părările și concepturile sale despre creația literară, evoluția lor în timp, poetul fiind la un moment dat adeptul principiului "artei pentru artă." Aceasta întregește portretul personalității marelui poet slovac, iar pe de altă parte, împreună cu ideile sale referitoare la "sinceritatea creației" sau a "creației din adâncurile sufletului," laolaltă cu argumentele privind enigmaticele resorturi ale propriilor sale stări sufletești constituie motivul pentru care la un moment dat a

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

“tăcut”. La întrebarea, de ce nu mai scrie, Krasko a răspuns: “să scrii versuri e ușor. Dar să scrii poeme este o treabă foarte, foarte grea.” Poetul “dramei inimii” devine poetul “dramei intelectului.” În capitolul *A vorbit Ivan Krasko...* se reiterează afirmația devenită de notorietate că dintre poetii europeni cunoscuți de către Tânărul Janko Botto, “cel mai îndrăgit poet al lui în tinerețe a fost Eminescu.”

Motivele interesului cercetătorului pentru modernismul slovac – un curent important în istoria literaturii slovace de la începutul secolului al XX-lea, autorul le dezvăluie în ultimul capitol (Cuvânt de încheiere sau “de ce modernismul?”), ca fiind sentimentul obligației și al bucuriei demersului științific, adăugând totodată observația, atât de caracteristică exigențelor sale de perfecționist: „Mă necăjește faptul că deși m-am ocupat îndeaproape de modernismul slovac, problematica acestuia nu este, nici din punctul meu de vedere, nici pe departe încheiată.”

Volumul este prevăzut cu aparatul științific de rigoare care situează textele în aria stilului științific, dar șicusința utilizării și transmiterii informației într-un mod plăcut și captivant face din acest volum, aidoma monografiei despre Martin Rázus (Michal Gáfrík, *Martin Rázus-osobnosť a dielo*, 2000), nu numai o sursă de cunoștințe noi, ci și un prilej de bucurie a lecturii.

Ana Motyovszki

**Б.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова.
Старославянский язык. Сборник упражнений, М., 2001, 312 с.**

Время от времени появляются издания, трактующие вопросы, связанные с древними языками. Одним из этих является труд трех специалистов РФ, за подписью которых выходили и другие ценные издания (Литература, с.307), необходимые для изучения старославянского языка, дисциплины филологического цикла; в данном слу чае речь идет о Сборнике упражнений, в котором имеются не только сами упражнения, как на первый взгляд информирует заглавие. По всюду в книге (Фонетика, 19; Морфология, 84; Синтаксис, 170; Лексика, 192; Фразеология, 240; Словообразование, 249; Приложение, 273) освещаются теоретические проблемы сферы языка (некоторые разделы – лексика, фразеология, словообразование – являются новыми), что следует оценить и как вклад авторов в ответ на требования программы курса, но и как их стремление расширить кругозор филолога-руссиста, филолога-слависта вузов.

Книга отличается обилием материала по памятникам и сравнениями/сопоставлениями с материалом других славянских языков, таблицами (с. 104-155) и точным изложением по разделам курса, что читатель, студент, преподаватель по-настоящему оценят как реальную помощь в процессе понимания столь древних фактов, исчезнувшего языка.

Материал книги служит целям овладения программы курса и дополняет во многих случаях знания, по которым в курсе лекций или тающему такой курс не всегда можно распространяться, осветить во всей полноте массу

вопросов законченного древнего текста. По опыту разных лет можно сказать, что основные разделы освещаются по программе, но имеются и разделы (синтаксис, лексика, словообразование), где изложение отличается сжатостью; как правило, счи тается, что на семинарских занятиях все можно дополнить. Для студента-филолога данное издание является весьма необходимым для сравнений с материалом других славянских языков, с материала родного языка. Достаточно часто к материалу настоящего издания могут обратиться и студенты, изучающие другие языки, студенты исторического факультета или факультета журналистики, аспиранты, преподаватели, заинтересованные в выяснении широкого круга вопросов и желающие по-новому смотреть на процесс развития современных славянских языков на протяжении веков.

Книга является и уместным доказательством развития старославянского языка столь компетентно изложенного в тех заданиях, которые в изобилии имеются по самым разным разделам курса.

Среди достоинств издания, подписанного профессорами с большим стажем в вузах РФ, следует выделить внимание составителей к лексическим единицам и контексту (звуковые процессы, связанные с тенденцией к открытости слова, слова, означающие числа, морфемика, словообразование – не единственные случаи), запоминание которых стоит перед студентом в предверии семинара или сессии.

Некоторые разделы, на наш взгляд, следует расширить при переиздании (афиксальный способ образования слов и словарь – ведь «трудными» являются почти все единицы лексики для современного читателя).

Приятно признать точность текста книги, как и ее оформление. Думается, что настоящее пособие (кстати, оно не только пособие), относится к тем научным изданиям настоящего момента и заслуживает высокой оценки филологических инстанций и публики разных поколений. Издание является одним из самых полных за последние 50 лет и самым интересным по оформлению вопросов, заданий по множеству проблем старославянского языка. Авторам читатели будут признательны за труд, освещающий столь сложные и разнообразные аспекты древнего языка. Искренние поздравления заслуживают все авторы за удачное издание и В.Д. Бондалетов дополнительно за безупречное редактирование и компьютерный набор, связанный в данном случае с древностью книжного письменного материала.

Bucureşti, 9 mai 2003

Maria Dumitrescu

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ,
Москва: АСТ, 2001, 944 с.

В авторской редакции вышел новый лексикографический труд ряда специалистов (автор проекта и главный редактор, Г.Н. Скляревская; составители: Е.Ю. Ваюлина, Т.И. Гайкович, А.В. Зеленин, Т.В. Кормилицына, Т.А. Корованенко, В.Д. Луков, Г.Н. Скляревская, Н.Г. Стулова, Н.В. Трифонова, А.А. Шушков); том был утвержден к изданию ИЛИ РАН.

В Толковом словаре современного русского языка получили теоретическое освещение более 7000 единиц лексики и устойчивых словосочетаний последнего десятилетия ХХ века.

Рецензируемое издание является одним из самых новых не только по году его выхода в свет, но и по содержанию: включенные единицы в большинстве случаев являются действительно новыми, что вполне соответствует заглавию тома. Эти лексемы были отражены печатью (более 200 наименований в списке источников словаря; правда, научная сфера и сфера фармацевтики РФ могла бы быть расширена) данного периода и сопровождаются иллюстрацией.

Отдельной страницы для Содержания тома нет, но фактически в томе имеются: Предисловие (40 с., сюда вошли: Особенности слова варя; Содержание словаря; Семантическое членение слова. Только вание; Иллюстрации; Стилистическая и функциональная характеристика слова; Справочный отдел, Приложение; Как пользоваться словарем. Структура словаря; Порядок и оформление словарной статьи [по частям речи]; Основные и дополнительные словари на одной странице, где кроме Толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова и БАС, 1 и 2-ое его издания, цитируются авторитетные словари второй половины ХХ века, точнее последних трех десятилетий; Словарь [А-Я, 1-881 с.] и Приложение: A-Z, единицы с латинским алфавитом, 882-895 с.).

Словарь отражает новую концепцию составителей в отношении селекции материала, структуры статьи, в отношении дериватов, заимствованных единиц, абривиатур (раньше в некоторых случаях эти единицы не учитывались совсем), словосочетаний, фразеологизмов и пр. Статьи словаря являются доказательством кропотливой работы над лексемой: кроме грамматического статуса, единица сопровождается точным определением, указывается происхождение (много англ.: bike, beach, CD-R, dumping, modem, punk, PR, spray, hacker, shaping); раздел сочетаемости превышает все ожидания по широте информации (боевик во 2-ом значении, валюта, группа), что можно сказать и в отношении деривации, где статьи Интернет (более 20 производных, к чему можно было бы легко еще добавить), евро (14 дериватов) и др. точно информируют читателя о прогрессе техники и технологий времени.

В данном словаре встречаются классические единицы (аван гард, агитатор, библия, кадет, кабинет, народный, цена) и реально новые (большинство включенных единиц относится к этой кате гории: андерграунд, адаптер, адрес в 3-м значении, имидж, произ водные с анти-, их более 60), которые по количеству и трактовке приятно впечатляют (достаточно ли 5000 экз.?) не только в данный момент, но и долгое время, когда переиздание вероятно учит двойное количество единиц.

Словарь можно считать радостным явлением и по тому, что он содержит и необходимый корпус аббревиатур (ГМ-, ЕГЭ, НДС, РИА, РУБОП, РФ, СПИД), о которых не все знают.

Включены в словарь и весьма активные единицы, составленные из двух компонентов: акционерно-биржевый, арт-бизнес, приём никраспределитель, секретарь-референт, социал-демократ, супер маркетный, товарно-фьючерсный, топ-модель, хит-парад, факс-мо дем). Статьи в словаре своей насыщенностью (группа, государственный, деньги, курс, реформа, рынок, система,), как и иллюстрация текстом по самым разнообразным СМИ дополнительно впечатляют пользователя.

Приложение, содержащее единицы с латинским алфавитом (*cache, card, IBM, lap-top, PC, PR, VIP-номер, Web, Windows* и производные к этой единице) свидетельствуют лишний раз о концепции составителей, о новой манере и о новом отношении к ряду явлений современной лексики, фактически – доказательство про гресса на другом уровне.

На форзацах тома помещены отзывы ряда крупных специалистов в отношении качества материала словаря.

Выполнен том на современном уровне, что следует отнести к новому отношению в данной сфере. Словом – по содержанию и типу графскому выполнению том, составители и техники заслуживают высокой оценки и им читатели будут благодарны постоянно.

Мария Думитреску

Бухарест, ноябрь 2002 г.

P. Pavlov, I. Janev, D. Cain, *Istoria Bulgariei*, Editura Corint, Bucureşti, 2002, 189 p.

De câțiva ani înceoace, Editura Corint a lansat în librării o colecție de istorie universală intitulată *Microsinteze*, care a reușit să se impună într-un timp scurt și să aibă căutare în rândul cititorilor de toate vîrstele.

În această colecție, coordonată de către prof. dr. Șerban Papacostea – membru corespondent al Academiei Române, a apărut și prima sinteză monografică consacrată istoriei Bulgariei.

Până în prezent, în limba română, nu s-a publicat o lucrare de sine stătătoare

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

privind evoluția istorică a lumii bulgare. Aceasta nu înseamnă, însă, că de-a lungul timpului cercetătorii români nu au elaborat lucrări despre istoria vecinilor noștri de la sud de Dunăre. Încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea cel care a ridicat la nivel european studiile de slavistică de la noi, filologul și istoricul Ioan Bogdan, consacră o atenție deosebită descoperirii, studierii și publicării documentelor slavone referitoare la istoria românilor și a popoarelor slave din jur. Îi vor urma cu contribuții valoroase Nicolae Iorga, P. P. Panaitescu, Ilie Bărbulescu și, ceva mai aproape de noi, C. Velichi, G. Mihăilă, Elena Siupiur și alții. Studiile acestora au vizat cu precădere numai anumite aspecte ale relațiilor româno-bulgare în plan filologic, istoric, cultural.

Lucrarea de față, ce vine să umple acest gol, este rodul colaborării dintre trei cercetători din Bulgaria și România, toți relativ tineri (fapt nelipsit de importanță):

Plamen Petkov (n. 1958) este profesor a Universitățea „Sf. Kiril și Metodiu” din Veliko-Târnovo, specialist în istoria medievală a popoarelor balcanice și în istoria Bizanțului. A elaborat capitolele I-III ale lucrării de față. În prezent îndeplinește funcția de președinte al Agenției pentru bulgarii din străinătate de pe lângă Consiliul de Miniștri al Republicii Bulgaria.

Capitolele IV și V sunt alcătuite de către dr. în istorie Iordan Ianov (n. 1953), specialist în istoria modernă și contemporană a Bulgariei. Domnia sa este cercetător în cadrul Direcției generale a arhivelor Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria și în prezent îndeplinește funcția de director în cadrul Agenției pentru bulgarii din străinătate.

Din partea română participă Daniel Cain (n. 1972), doctorand al Universității din București, cu specializare în istoria modernă și contemporană a Europei de sud-est. A elaborat capitolul al VI-lea, a tradus capitolalele I-V și a realizat notele acestei lucrări.

Cartea este structurată pe șase capitole cu subcapitole, și anume, **I. Antichitate și Ev Mediu: Strămoși, Formarea Bulgariei Dunărene, Creștinarea bulgarilor, „Secolul de aur” al lui Simeon cel Mare, Samuil și „epopeea bulgară”** (971-1018), **Bulgaria sub stăpânire bizantină (1018-1186), Eliberarea și consolidarea țaratului bulgar (1186-1207), Bulgaria în secolele XIII-XIV, Bulgaria și cucerirea otomană, Bulgaria, bulgarii și lumea medievală;** **II. Stăpânirea otomană în teritoriile bulgărești (secolele XV-XVII); III. Renașterea națională bulgară (secolul al XVIII-1878): Lupta pentru o biserică autocefală, Mișcarea de eliberare națională, Epopeea din Aprilie 1876, Războiul ruso-turc de eliberare;** **IV. Cel de-al treilea țarat bulgar – Ascensiune și tragedie: Constituția, Epoca lui Ștefan Stambolov, Extaz și tristețe, Ani frământați, Decizii cruciale;** **V. Comunismul la putere – Iluzii și experimente: Democrație sau dictatură, Socialismul lui Jivkov, Cultură cu dimensiuni europene;** **VI. Bulgaria postcomunistă.**

După 1990, atât în Bulgaria, cât și în România, a demarat și este în curs de desfășurare o amplă acțiune de reanalizare și de rescriere a istoriei – mai vechi sau mai noi – prin înlăturarea a ceea ce a adus negativ regimul comunist și prin punerea în circulație a unei noi documentații, mai ales pentru perioada recentă. Cei trei autori îi propun cititorului român o vizion nouă, modernă de abordare a trecutului, perfect articulată tendințelor actuale ale istoriografiei. În cadrul lucrării sunt analizate (pe cât a permis spațiul acesteia) și aspecte ale relațiilor bilaterale,

ROMANOSLAVICA 38

ce au cunoscut lumini și umbre, precum și probleme controversate în istoriografiile nord și sud dunărene, interpretate diferit de către istoricii din cele două țări, cum ar fi etnogenezele, originea Asăneștilor, soarta ținuturilor dobrogene, românismul balcanic din diferitele zone sud dunărene, relațiile internaționale în sud-estul Europei în secolul al XX-lea. În unele capitole cititorul român va găsi afirmații și interpretări diferite de cele ale istoricilor români și acest fenomen trebuie privit ca ceva normal în efortul de apropiere de adevărul istoric, cu condiția menținerii unei priviri obiective, liberă de naționalism și șovinism.

Meritele acestei cărți nu sunt puține: o primă sinteză (chiar dacă nu de mari dimensiuni) de istorie a poporului bulgar, un demers spre înțelegerea unui alt mod de a gândi și de a scrie istoria. Nu ne putem dori decât ca lectura acestei lucrări să contribuie la o mai pronunțată apropiere dintre cele două popoare și țări pe drumul integrării europene, la o mai bună cunoaștere a vecinilor noștri din sud, a trecutului și a tradițiilor lor, cu atât mai mult cu cât destinele noastre istorice s-au împărtășit continuu (și cartea de față o demonstrează) în varii forme de-a lungul veacurilor până în zilele noastre dar și de acum încolo.

Mariana Mangiulea

PERSONALIA

PETRE P. PANAITESCU
(la 100 de ani de la naștere)

Pe 13 martie 2000, s-a împlinit un veac de când a văzut lumina zilei cel ce avea să fie unul din cei mai avizați istorici ai culturii române: Petre P. Panaitescu. Aşa cum s-a mai spus, în acest domeniu el îşi ocupă – fără tăgadă – locul său, în ilustra serie inaugurată de B. P. Haşdeu și continuată de Ioan Bogdan și Nicolae Iorga.

Nu-mi propun să trec în revistă operele sale. Le cunoaștem cu toții. Mulți dintre noi, chiar dacă nu ne-am numărat printre studenții sau colaboratorii săi apropiatați, le-am citit și le-am folosit adesea în lucrările noastre.

După ce l-am *citit* – încă de pe băncile facultății, și l-am *citat* nu o dată, până în vremea din urmă, mă încumet acum, la această dată aniversară, să *vorbesc* și să *scriu* pentru prima dată despre P. P. Panaitescu. O fac din două motive, ca slavist și ca polonist, ca unul care, deși i-am fost foarte rar aproape, am folosit pe larg în cariera didactică și științifică rezultatele esențiale ca și de amănunt ale operei sale.

Într-adevăr, în ciuda unor opreliști care i-au stat împotrivă, P. P. Panaitescu a fost, poate fără voia sa, dar în orice caz, fără voia altora (!), *un mare spirit, un creator de școală*. L-a evocat ca atare, nu de mult, profesorul C. N. Velichi (la a 25a comemorare a morții savantului, în 1993)¹, după ce, încă în viață fiind, fusese definit ca „cel mai mare istoric al culturii vechi românești în epoca sa” (Dan Zamfirescu)².

Soarta a făcut să fiu pentru prima dată aproape de P. P. Panaitescu nu în țară, ci în afara ei. Eram, în septembrie 1963, la Sofia, la Al V-lea Congres Internațional al Slaviștilor. După ce și-a citit comunicarea (*Trăsăturile specifice ale literaturii slavo-române*)³, noi, români aflați în sală, l-am înconjurat să-l felicităm și atunci, regretata mea profesoră, doamna Lucia Djamo-Diaconiță m-a prezentat lui Panaitescu, care mi-a strâns mâna, mulțumindu-mi că nu l-am uitat în studiul meu despre termenii de origine polonă în documentele slavo-moldovenești⁴. De altfel, și în comunicarea noastră colectivă la Congres, despre „trăsăturile caracteristice ale slavonei de redacție românească”, în primul paragraf de *Introducere* care mi-a revenit⁵, am pornit, în parte, și de la studiile sale anterioare. Cu același prilej, în timpul excursiei prin Bulgaria, oferită de gazde nouă, participanților la Congres, m-am nimerit – alături de alți colegi români – în același autobuz cu marele istoric. Ne-am fotografiat cu toții, pe marginea șoselei, în timpul unei pauze propuse de șoferul bulgar. Panaitescu, în centru, alături de el, iubita sa tovarășă de viață, doamna Silvia, în jurul său noi, ceilalți, dintre care – remarc acum pe distinsul filolog și lingvist, profesorul Gheorghe Ivănescu și pe doamna Tatiana Nicolescu, festa mea profesoră de literatură rusă din facultate. Păstrează și acum această frumoasă poză, ca o scumpă amintire de la începutul carierei.

Patru ani mai târziu, după o grea suferință, P. P. Panaitescu ne părăsea pentru totdeauna. Conul de umbră, gata să se aștearnă – ca în atâtea cazuri – peste amintirea unor mari dispărăți – a fost spulberat de două volumase „de familie”, îngrijite de doamna Silvia Panaitescu, *P. P. Panaitescu în lumina scrisorilor din tinerețe* (București, Minerva, 1970) și *Pagini de jurnal (1921-1927)* (Cluj,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Editura Dacia, 1974). A fost o revelație. Din ele ne-a apărut tuturor un alt Panaitescu, nu autorul consacrat al acelor opere fundamentale de istorie a culturii române vechi – de atâtea ori citite și citate, folosite curent în munca noastră cu studenții la cursurile și seminariile de slavistică de la facultățile de istorie și filologie, ca indisutabile lucrări de referință –, ci Tânărul savant în devenire, din perioada acumulărilor dar și al primelor izbânci științifice, aprofundate și solide, ca tot ceea ce va înfăptui și mai târziu. Este aici acel „Kico” (cum își semna scrisorile către viitoarea soție), Tânărul de douăzeci și ceva de ani, frâmântat de grijile pregătirii examenelor la N. Iorga (trecute, evident, cu brio!), dar și tulburat de frumusețea diafană a unei colege de studenție, conștient de superioritatea sa chiar în raport cu unii contemporani, deja celebri în studiul istoriei, dar și sensibil la opera de artă de mare valoare, de muzică (Mozart, Beethoven), de pictură (Da Vinci, Corot), de poezie (Goethe), el însuși poet și filozof, cu comentarii subtile și neașteptate, având greutatea unui aforism.

În anii când în țară apăreau aceste cărți mă aflam la Cracovia, ca lector de limbă și literatură română la Universitatea Jagiellonă, acolo unde a funcționat și Panaitescu în anii 1923-1924. Ani buni, din 1969 și până în vara anului 1976, am pașit aici pe urmele marelui istoric. În decembrie 1971, când s-au sărbătorit 50 de ani de la înființarea lectoratului de limba română de la Cracovia, în cuvântul meu l-am evocat pe P. P. Panaitescu ca al doilea dintre români (după Gr. Nandriș) în istoria predării limbii române la Cracovia. La expoziția jubiliară organizată cu același prilej în holul bibliotecii Jagiellone a putut fi văzută – printre alte numeroase exponate – copia actului cu nr. L/1347 din 30 noiembrie 1923 prin care decanul facultății de filologie, prof. J. Kalenbach, cerea Senatului Universitar confirmarea numirii lui P. P. Panaitescu în postul de lector (act pe care l-am găsit în Arhiva Universității)⁶. După trei decenii, citesc și recitesc cu emoție aceste cărți de jurnal și corespondență și, evident, sunt de reținut, paginile consacrate Cracoviei, mediului universitar, oamenilor de știință de aici, muncii sale de cercetare. De la bun început, îmi îngădui, în acest plan, o remarcă: mi se pare că Tânărul istoric s-a simțit aici în elementul său din două motive. Primul, prin *structura sa psihică* (în *Jurnal*, p. 34, 13 iulie 1921, se autodefinea astfel: „Cu sufletul meu slav, plin de contraziceri, de întunerici și de lumini înșelătoare, pot să știu ceva hotărât?”), caracterizată prin înclinație spre autoironie, spre „epicurism intelectual” (p. 37), un amestec de exactitate șimeticulozitate cu accentele de artă și poezie (dar nu la modul romantic, hasdeian, cred), ce și găsesc expresia în formulări sugestive, de veritabilă artă literară (vezi, de pildă, splandida descriere a pădurii de la Sinaia: „Când ieși dintre vilele urâte și pretențioase, o găsești îndată, solemnă, cu brații drepti și mândri ca niște sfesnice de biserică, în care se slujește o tăcută liturghie”, p. 39) sau în declarația fățușă de „a închega din ce în ce mai mult istoria cu arta literară” (p. 43). Această simbioză dintre emoție și profunzime cu fiorul emoțional a simțit-o desigur Panaitescu din primele momente ale șederii la Cracovia (11 februarie 1923, *Jurnal*, p. 95 §.a.). Pentru Tânărul istoric care știa ce a însemnat Cracovia pentru trecutul românesc (și aici trebuie semnalat al doilea motiv: Cracovia, înțeleasă ca o comoară de informații istorice pentru români), nu este de mirare fervoreala cu care s-a aruncat din prima clipă asupra arhivelor încărcate de documente referitoare la istoria noastră; în același timp, observatorul fin al realității, cu fire de artist, ne încântă prin marea artă a cuvântului în descrierea locurilor pe unde a trecut, începând cu călătoria din țară,

prin Bucovina și Lemberg, până în vechea capitală a Poloniei, cu zidurile ei vechi, cu muzeele și monumentele sale încărcate de nostalgia trecutului glorios. După numai câteva săptămâni petrecute aici, pline de contacte felurite cu oameni de știință, filologi și istorici mai ales (S. Wędkiewicz – marele romanist, filoromân, K. Piekarski – bibliograful născut la Tg. Jiu, fiul lui Witold Rola Piekarski, vechiul prieten al lui Hasdeu) și mulți alții, după ore și zile întregi petrecute la Muzeul Czartoryski copiind pe nerăsuflate sute de pagini de documente, găsește timp pentru jurnal și pentru scris, ori pentru articole despre cultura și literatura română pentru reviste poloneze, chiar și pentru un articol despre Cracovia trimis revistei „Ramuri” din Craiova (*Jurnal*, p. 109)⁷ și redactat cu aceeași sensibilitate și căldură ca și notele de jurnal.

Întreaga activitate a lui Panaitescu – la Cracovia (bogată și multilaterală într-un timp relativ scurt de mai puțin de doi ani) – cuprinzând cercetări în biblioteci și arhive și culminând cu teza sa de doctorat despre influența polonă în opera cronicarilor Grigore Ureche și Miron Costin (1925), prelegeri de limbă și literatură română la Universitate (seara, la ora 18), numeroase studii și articole (unele de popularizare) din domeniul literaturii române, publicate în Polonia (cu deosebire în revista „Przegląd Współczesny” din Cracovia), ca și monografiile finalizate ulterior, după întoarcerea în țară (asupra lui Mihai Viteazul și D.Cantemir, asupra revoluției de la 1848), edițiile din opera cronicarilor (Gr. Ureche, M. Costin), au făcut obiectul unui capitol aparte din teza de doctorat a lui V. Jeglinski despre *Relațiile culturale româno-polone în prima jumătate a secolului al XX-lea* (1976)⁸.

Mai trebuie adăugat că P. P. Panaitescu s-a bucurat totdeauna de frumoase aprecieri din partea intelectualilor poloni, cu deosebire filologii și istoricii care s-au ocupat și de problematica relațiilor culturale româno-polone, ca S. Wędkiewicz, care îl alătură pe Panaitescu lui Gr. Nandriș, printre tinerii cercetători români de cea mai bună tradiție Hasdeu-Bogdan-Iorga⁹; mărturie stau și frumoasele dedicații ale unor autori poloni pe extrasele din lucrările lor dăruite lui Panaitescu de-a lungul anilor și aflate acum – legate în bloc (sub cota comună „Varia”), în biblioteca Facultății de Istorie din București. Ne putem lesne imagina câte numeroase aspecte noi ni s-ar putea dezvăluia pe acest plan din vasta sa corespondență, încă inedită.

În ciuda faptului că a fost un autor controversat sau/și incomod (pentru unii, în anumite perioade ale vieții sale)¹⁰, rămâne un fapt de netăgăduit că în probleme majore ale istoriei culturii și civilizației românești, în ansamblu, ca și în problematica româno-polonă în particular nu se poate scrie azi un studiu serios fără a se recurge la opinile lui P. P. Panaitescu, fără a-l pomeni măcar în literatura subiectului. A scris mult și divers (vezi bibliografia operelor sale, publicată de D. Zamfirescu în „Romanoslavica”, XI, 1965)¹¹, dar, deși unele lucrări i-au fost reeditate în ultimii ani, mai rămân încă numeroase manuscrise nepublicate¹² și ne putem aștepta ca scoaterea lor la lumină să ne ofere revelații deosebite. Dar chiar cunoscând numai ce s-a publicat, când abordăm un subiect din domeniul slavisticăi, al relațiilor culturale și științifice româno-slave (mai ales româno-polone), ar fi de neierat să nu ne întrebăm măcar dacă nu cumva în domeniul respectiv și-a spus cuvântul și P. P. Panaitescu. Dintre numeroasele situații de acest gen, în care am fost pus eu însuși, amintesc una care mi se pare sugestivă.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

În decembrie 1998 mă aflam la Paris, ca invitat al Comitetului Francez de organizare a sărbătoririi bicentenarului poetului polonez Adam Mickiewicz. În marea și modernă aură de la Collège de France (instituția unde își ținuse și Mickiewicz vestitele sale prelegeri despre istoria slavilor în plan comparat) am vorbit despre Mickiewicz în contextul relațiilor culturale franco-polono-române. Puteam oare să nu-l pomenesc și pe Panaitescu ca titular al cursului de istoria Poloniei la Universitatea din București și autor al unor studii fundamentale despre emigrația polonă și revoluția română de la 1848? Iar în ultima zi a simpozionului când organizatorii mi-au făcut onoarea de a prezida ședința de încheiere, am ținut să-mi exprim profunda emoție la gândul că în clădirea Bibliotecii Poloneze, în care ne aflam, studiase Bălcescu, cu mai bine de 150 de ani în urmă, că aici, la 10 decembrie 1925 Panaitescu l-a întâlnit și a stat de vorbă cu fiul poetului, Władysław Mickiewicz, trecut de 80 de ani, care-i cunoscuse în copilărie la 1848 pe tinerii pașoptiști români din Paris, după cum a povestit pe larg în *Jurnal* (p.145-146).

* * *

Cartea bună, cartea veche, cartea rară – manuscrisă sau tipărită – au fost, prin natura lor, preocuparea de căptării a istoricului și filologului. Panaitescu amintește de câteva ori, în *Jurnal* și *Scrisori*, de orele petrecute în anticariatele cracoviene sau la licitațiile de carte veche. Uneori nu cumpără nimic, de altfel în anticariate nu intră în mod deliberat, ca într-o librărie, ca să cumperi o carte pe care o cauți, de care ai neapărată nevoie, și pentru care ai, de regulă, o sumă de bani pregătită. Într-un anticariat intră, de cele mai multe ori, ca să descoperi o tipăritură, s-o scoți din uitare, din praful rafturilor, s-o admiră datorită elementelor *unice* ale exemplarului cu pricina (note manuscrite ale autorului sau proprietarului anterior al cărții, dedicații, s.a.), care-i conferă o valoare suplimentară, fiind nu o dată un izvor de informații inedite asupra autorului, asupra circulației textului. Și asta, chiar dacă n-ai nici un ban în buzunar sau prea puțini, achiziția ca atare putând s-o faci mai târziu... Ne putem lesne închipui ce sacrificiu a făcut Panaitescu, cumpărând de la vreun anticariat din Cracovia (în perioada trăită aici, sau cu un alt prijeu, pentru că în paginile publicate din *Jurnal* sau *Scrisori* nu se spune nimic) – nici mai mult, nici mai puțin decât monumentală ediție în două volume in folio a istoriei lui Jan Długosz (Leipzig, 1711-1712)! Exemplarul care i-a aparținut se păstrează și azi cu sfîrșenie la Biblioteca Facultății de Istorie din București, cota CR IV 1981 și a fost cumpărat de Panaitescu la Cracovia în ziua de 19 XI 1923 (pe vorsatz Ir al vol.I din 1711, figurează data de "19 XI", scrisă cu creionul și credem că *anul nu putea fi* 1922 – pentru că Panaitescu nu se găsea încă la Cracovia, și *nici 1924*, pentru că atunci plecase deja!). L-am cercetat cu atenție prin 1980-81, pregătind comunicarea ținută la Asociația Slaviștilor din România despre receptarea operei lui Długosz la noi (cu priilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea istoricului polon). Semnalez încă o dată, cu acest prijeu al centenarului nașterii lui Panaitescu, un fapt deosebit: exemplarul acesta este *unic* și în comparație cu altele din București și din țară, prin aceea că el conține un index aparte redactat de Panaitescu însuși – cuprinzând *toate prezențele românești* (date, evenimente, personalități) din cronica lui Długosz, cu indicarea volumului și paginii; foile respective se găsesc la sfârșitul fiecărui dintre cele 2

volume. Panaiteescu-istoricul a făcut singur un lucru pe care nu îl-a cerut nimeni, dar de necesitatea căruia și-a dat seama: de a-și ușura sieși (se pot depista elemente de informație românească din Długosz folosite în cursul său *Izvoarele slave externe ale istoriei românilor* ținut în anul universitar 1933/34 la Facultatea de Istorie, și în alte lucrări ale sale), și deci, oricui, după el, consultarea mai rapidă a textului, având în vedere că *Index rerum* tipărit este, el însuși, destul de întins și, chiar aşa fiind, tot nu cuprinde toate acele „valachica” de interes pentru un istoric român. Un lucru rar, o faptă extraordinară!

Și atunci, după ce, umblând, ca și Panaiteescu, prin anticariatele Cracoviei, în căutarea de tipărituri ce m-ar fi interesat (cu rezultate de-a dreptul surprinzătoare, asupra căror nu insist, în acest context), nu puteam să las, uitate în vreun raft mai rar consultat din anticariat, o carte sau alta scrisă de Panaiteescu, mai ales dacă aceasta și avea dedicație autografă. Posed trei asemenea cărți, cumpărate în anticariate bucureștene:

Un exemplar din *Nicolas Spathar Milescu (1636-1708), extract des „Mélanges de l'École Roumaine en France, 1925, I-re partie”, Paris*, cu dedicație: „à Mr. Le prince Vladimir Ghica, hommage respectueux de l'auteur. P. P. Panaiteesco, Paris 4 Février 1926”. În *Jurnal* (p. 150), sub data 2 februarie 1926 (deci cu două zile mai înainte), Panaiteescu nota: „Am făcut cunoștință cu părintele prinț Vladimir Ghica, un om cu mâini extraordinar de fine, mâini de Renaștere. Mi-a vorbit de o mulțime de lucruri, pare foarte versat în istorie română și slavă, în special a bisericii, mândru de descendența sa din Movilești”; două zile mai târziu îi dăruia acestuia cartea sa.

Un exemplar din Miron Costin, *Istorie în versuri polone despre Moldova și Tara Românească (1684), ediție și traducere de P. P. Panaiteescu, extras din „Academia Română, Memoriile Secțiunii Istorice”, Seria III, Tomul X, Memorul 7, București, 1929, p.365-496*, în care din dedicație a mai rămas numai: „omagiu respectuos P. P. Panaiteescu”, pentru că numele destinatarului nu se cunoaște (partea de sus a dedicației a fost tăiată, desigur, în momentul vânzării cărții la anticariat, cum se întâmplă de multe ori!);

P. P. Panaiteescu, *La littérature slavo-roumaine (XVe-XVIIe siècles) et son importance pour l'histoire des littératures slaves (extras din Sbornik prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze, 1929, Svazek II), V.Praze, 1931, 12 p*, cu dedicație: „Dlui prof. N. Bănescu, omagiu din partea autorului P. P. Panaiteescu” (nedatată)¹³.

Este prima lucrare a lui P. P. Panaiteescu din domeniul istoriei culturii de limbă slavonă la români – urmată de multe altele, până la fundamentala *Introducere la istoria culturii românești* (apărută postum, 1969). După Ioan Bogdan, această primă sinteză – succintă, dar cuprinzând date esențiale – este, totodată, și prima contribuție științifică românească în domeniu prezentată la un congres internațional. Într-un istoric al participărilor românești la Congresele internaționale ale slaviștilor (G. Mihailă)¹⁴ această comunicare a lui P. P. Panaiteescu s-a bucurat de cea mai obiectivă și călduroasă apreciere.

Desigur, mulți dintre noi, cei care l-au cunoscut pe P. P. Panaiteescu și au beneficiat de marea sa știință, ar putea să se confeseze, arătând ce îi datorează în propriile lucrări. Îmi îngădui în încheiere să adaug că P. P. Panaiteescu – polonistul – figurează în cea mai recentă *Enciclopedie literară polonă* (1985; ed. II, 2000), alături de alții istorici și filologi români care s-a ocupat de relațiile

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

româno-polone, atât în articol aparte, cât și în cel de sinteză¹⁵. Iar când, în 1991, la conferința internațională consacrată primelor tipărituri cirilice, la Cracovia, am trecut în revistă studiile românești despre Szwajpolt Fiol – tipograful, l-am amintit și pe P. P. Panaitescu – cunosătorul avizat al manuscriselor și tipăriturilor slavone, cu studiul său la ediția *Liturghierului lui Macarie* (1961)¹⁶.

Mi se pare însă că cea mai potrivită recunoaștere a meritelor lui P. P. Panaitescu – istoricul slavist și polonist, o constituie evocarea lui la cursuri și seminarii; la cursul de *Paleografie slavă* de la Facultatea de Istorie sau la cel de masterat în filologie slavă de la Facultatea de Limbi și Literaturi străine precum și la cursul de *Introducere în filologie polonă*, numele lui P. P. Panaitescu este rostit nu o dată, cu respectul și venerația ce se cuvin Omului și Savantului pentru care nimic ce e românesc nu i-a fost străin, atât acasă, în țara sa, cât și pe alte meleaguri.

Mihai Mitu

HOTE

- 1 Теётул н „Романославица”, ЁИИ, 1994, п. 25-34
- 2 În prefața la P. P. Panaitescu, *Contribuții la istoria culturii românești*, București, Editura Minerva, 1971, p. XIII (reprodusă în D. Zamfirescu, *Contribuții la istoria literaturii române vechi*, București, 1981, p.230)
- 3 Теётул н „Романославица”, ИЁ, 1963, п.267-290
- 4 Теётул н „Романославица”, ВИИИ, 1962, п.155-224
- 5 Теётул н „Романославица”, ИЁ, 1963, п.109-113
- 6 Despre activitatea lectoratului român la Cracovia și, implicit, despre P. P. Panaitescu – ca lector aici vezi S. Zukasik, Пологне ет Роуманис. Ауё ционфинс дес деуё пеуплес ет дес деуё лангуес, Парис-Црацовиа, 1938, п.137-178; M. Миту, 50 de ani de filologie română la Universitatea din Срацовиа, н „Limba și literatură”, 1972; S. Widlak, *Studii de limba română la Universitatea Jagiellonă*, н вол. *Relații culturale româno-polone*, București, 1982, p.16-22
- 7 Теётул н „Рамури”, Цраиова, ЁИИ, 1923, нр. 6, 15 martie, п. 102-104 (*Note de călătorie*)
- 8 Capitol reluat și într-un studiu aparte, *P. P. Panaitescu în contextul relațiilor româno-polone* н вол. целецтив Студии литераре ром но-славе, București, 1978
- 9 н студиул З Дзией ю Полонистъки Ю Румунии Богдан Петрицеицу Хасдеу, н „Праце Филологицнє”, Юарсзаюа, ЁИИ, 1927, п.474-488
- 10 Вези пентру ацеаста Postfața semnată de Ștefan Panaitescu, *Interpretări românești. Studii de istorie economică și socială*, Ediția a II-a, București, Editura Enciclopedică, 1997, p. 241-257.
- 11 Republicată de D. Zamfirescu în *Contribuții la istoria literaturii române vechi*, București, 1981, p.230-240
- 12 Vezi o listă parțială a acestora în postfața la *Interpretări românești*, ed. ИИ, п. 256, nota 56.
- 13 Este bizantinologul Nicolae Bănescu (1878-1971) la acea dată profesor la Universitatea din Cluj, mai târziu opozant al lui Panaitescu (cf. discuțiile la Academie, la 3 martie 1944, pe marginea studiului lui Panaitescu „*Perioada slavonă* a români și ruperea de cultura Apusului”, reprodusă în hottele editorului la *Interpretări românești*, ed. II, București, 1944, p.225-228).

- 14 Р н „Романославица” ЁЁВ, 1988,
п.221-257
- 15 Литература полска. Прзеюодник енцъклопедыцнъ, II, Warszawa, 1985, p.139 și
320-321; Литература плюска ЁЁ-го юиеку. Прзеюодник енцъклопедыцнъ, II,
Warszawa, 2000, p.5 și 531-533.
- 16 М. Миту, *Ze Studiów rumuńskich nad Szwajpoltem Fiolem*, вол. *Rękopis a druk. Najstarsze druki cerkiewno – słowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej* (*Materiały Z Sesji Kraków 7-10 XI, 1991*), Kraków, 1993, p.69-77.

Mihai Mitu la 65-a aniversare

Profesorul Mihai Mitu a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București în anul 1959 (specialitatea limbă și literatură polonă) și în octombrie același an a fost angajat ca preparator la Catedra de limbi slave sudice. Îndelungata sa carieră didactică și pedagogică a urmat un curs ascendent, pe deplin meritat, prin avansarea la gradul de asistent în anul 1961, de lector în 1970, de conferențiar în 1991 și de profesor universitar în anul 1999. Titlul de doctor în filologie îl obține în anul 1971 cu o teză despre *Opera lui Ioan Budai-Deleanu în contextul relațiilor culturale și științifice româno-slave*.

Pedagog înnăscut, permanent preocupat de a transmite informația teoretică într-o manieră atractivă, profesorul Mihai Mitu predă de peste 35 de ani, cu aceeași pasiune, cursuri fundamentale de slavistică: slavă veche și slavonă românească, gramatică comparată, paleografie slavo-română, istoria slavilor, precum și cursul de limbă polonă contemporană.

Numeiroase generații de studenți de la secțiile de limbi slave ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine, de la Facultatea de Litere și de la Facultatea de Istorie, din cadrul masteratului de filologie slavă au beneficiat și beneficiază în continuare de talentul său pedagogic, de vasta sa pregătire profesională. Nu puțini sunt tinerii care au găsit în domnia sa imbold, sprijin generos, îndrumare exigentă și plină de înțelegere.

În afara activității didactice din domeniul slavisticii, între anii 1969-1972 și 1973-1976, când a funcționat ca lector de limba și literatura română la Institutul de filologie romanică al Universității Jagiellone din Cracovia, profesorul Mihai Mitu a ținut în cadrul lectoratului cursuri practice de limba română, cursuri de istoria culturii și civilizației românești, de folclor, de literatură română veche. Merită să amintim faptul că unii dintre foștii săi studenți de la Cracovia își continuă activitatea ca specialiști în filologie română în calitate de cadre universitare sau dețin posturi în diplomație.

Împlinirea sa ca profesor s-a concretizat și în elaborarea unor lucrări cu caracter didactic, de certă valoare științifică, cum ar fi capitolul *Lexicul* din binecunoscutul manual universitar de *Slavă veche și slavonă românească* (coord. prof. Pandele Olteanu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975) și *Slavona românească. Studii și texte*, Editura Universității București, 2002.

Interesul constant pentru o prestație de calitate la catedră a fost și este în mod fericit acompaniat de o permanentă și riguroasă muncă de cercetare, de o prezență

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

activă la numeroase manifestări științifice în țară și străinătate.

De la bun început se cuvine să evidențiem diversitatea preocupărilor științifice ale profesorului Mihai Mitu, concretizate în domenii ca slava veche și slavona românească, limba și literatura polonă, relații culturale și științifice româno-slave (cu deosebire româno-polone), interferențe lingvistice româno-slave (mai ales româno-polone), istoria cărții, bibliologie (cf. lista de lucrări).

Unul din meritele profesorului Mitu este de a fi adunat un bogat și variat material științific din biblioteci, arhive, atât din România, cât și cu prilejul călătoriilor sale de documentare în Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Iugoslavia, Rusia, și de a le fi valorificat și prezentat cu rigurozitate științifică. După 1990, în edituri consacrate, i-au apărut trei cărți interesante – rod al acestor cercetări îndelungate și minuțioase (vezi lista de lucrări).

De-a lungul anilor sunt numeroase participările domniei sale cu comunicări, cele mai multe publicate, la sesiuni științifice din București (Universitate, Asociația Slaviștilor, Societatea de Științe Filologice, Academia Română), din Cluj, Drobeta-Turnu Severin și.a. De asemenea, profesorul Mihai Mitu a luat parte, până în prezent, la 5 congrese internaționale de slavistică, precum și la manifestări științifice de prestigiu din Polonia, Cehia, Franța.

Contribuțiile sale l-au făcut cunoscut în lumea științifică a slavisticii românești și străine. Din 1992 colaborează la alcătuirea *Bibliografie internațională de lingvistică slavă* (din care au apărut 5 volume) și din 1995 la *Enciclopedia istoriografiei literare polone*. Este membru al colectivului de redacție al *Dicționarului etimologic al limbii române* (în pregătire la Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române), iar pentru colaborarea la ediția jubiliară a *Bibliei de la București (1688)* i s-a decernat premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1998.

În gama variată de preocupări profesionale ale profesorului Mihai Mitu un loc aparte îl ocupă traducerile în limba română din proza și poezia polonă. Traducător înzestrat, are în palmares opt volume, însoțite de prefete sau studii introductory, printre care le amintim pe cele mai recente: Jan Potocki, *Manuscrisul găsit la Saragossa*, Editura 800 p. și Ryszard Kapuściński, *Abanos*, Editura Paralela 45, 2002, 352 p.

Nu putem încheia acest profil al profesorului Mihai Mitu fără a evidenția contribuția sa semnificativă la buna organizare a activității Asociației Slaviștilor din România ca secretar al Asociației din 1976 până în 1990, când a fost ales membru în Comitetul de conducere. Pe parcursul aceleiași perioade, 1976-1990, a îndeplinit cu seriozitate, pasiune și competență funcția de secretar de redacție al culegerii de studii „Romanoslavica”, ce apare sub egida Asociației Slaviștilor din România în colaborare cu Catedra de limbi și literaturi slave și Catedra de filologie rusă ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București. În momentul de față, domnia sa este este unul dintre vicepreședinții Asociației Slaviștilor din România și responsabil adjunct de redacție al publicației „Romanoslavica”.

În aceste rânduri am încercat să creionăm profilul unui om cu vocația dăruirii în tot ce a realizat, care și-a slujit cu exemplaritate profesiunea, căreia î se dedică și astăzi cu aceeași energie. Colegii, colaboratorii, foștii și actualii studenți îi doresc deplină sănătate, putere de muncă și noi succese.

Mariana Mangulea

**Lista lucrărilor profesorului Mihai Mitu
Bibliografie selectivă**

Tratate, manuale, monografii publicate în edituri consacrate

1. *Slavă veche și slavonă românească*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975, p. 227-238, 314-316 și 354-358;
2. *B. P. Hasdeu și contemporanii săi români și străini (corespondență emisă și primită)*, vol. III, București, Editura Minerva, 1984, p. 188-190, 209-210, 212-218, 243-248, 253-261, 266-271, 275-279;
3. *Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură (Biblia de la București, 1688)*, ediție jubiliară, București, Editura Institutului Biblic, 1988, p. 429-446, 446-452, 614-621, 632-639;
4. *Cercetări lingvistice și literare româno-slave*, București, Editura Universității, 1996, 312 p. și 38 p. ilustrații;
5. *Oameni și fapte din secolul al XVIII-lea românesc*, București, Editura Atos, 1998, 272 p.;
6. *Studii de etimologie româno-slavă*, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001, 240 p.;
7. *Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1996, z uzupełnieniami za lata 1992-1995*, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa, 2001;
8. *Slavona românească. Studii și texte*, București, Editura Universității, 2002, 84 p. și 68 texte.

Studii și articole

1. *Termini de origine polonă în documentele slavo-moldovenești (1388-1517)*, în “Romanoslavica”, VIII, 1963, p. 155-224;
2. *Etimologii românești în “Dicționarul limbii polone”*, în “Romanoslavica”, XII, 1965, p. 67-92;
3. *Ioan Budai-Deleanu et les problèmes de l'étymologie slavo-roumaine*, în “Revue roumaine de linguistique”, XIV, 1969, p. 143-154;
4. *Concepții și metode moderne în opera lingvistică și filologică a lui Ioan Budai-Deleanu*, în “Limbă și literatură”, 27, București, 1971, p. 159-175;

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

5. *Scrisori ale lui Jan Baudouin de Courtenay către B. P. Hasdeu*, în “*Romanoslavica*”, XVIII, 1972, p. 347-362. (Retipărit în vol. colectiv *B. P. Hasdeu și contemporanii săi români și străini*, vol. I, București, Ed. Minerva, 1972, p. 59-70);
6. “*Pentru începutul limbei românești...*” (*Ioan Budai-Deleanu – scrisoare către Petru Maior*), în “*Manuscriptum*”, III, 1972, nr. 1 (6), p. 53-69 (în colaborare);
7. *Ioan Budai-Deleanu – o licitație la Lvov*, în “*Manuscriptum*”, IV, 1973, nr. 3 (12), p. 145-161 (“*Scriitori români în arhive străine*”);
8. *Note lexicale și etimologice*, în “*Limba română*”, XXIII, 1974, nr. 2, p. 123-133 (atestări, sensuri și etimologii la 44 de cuvinte, completări pe marginea DLR, literele M și O);
9. *Note lexicale și etimologice*, în “*Limba română*”, XXV, 1976, nr. 1, p. 73-81 (atestări, sensuri și etimologii la 40 de cuvinte, completări pe marginea DLR, literele N și P);
10. *Contribuții la istoria relațiilor culturale italo-polono-române în sec. al XVII-lea și al XVIII-lea*, în “*Revista de istorie și teorie literară*”, 25, 1976, nr. 1, p. 137-142;
11. *Note lexicale și etimologice*, în “*Limba română*”, XXVII, 1978, nr. 6, p. 589-595 (atestări, sensuri și etimologii la 44 de cuvinte, coplețări la DLR, literele M și N);
12. *Voltarianism și rousseauism în opera poetică a lui Ioan Budai-Deleanu*, în “*Analele Universității din București*”, seria Limbi și literaturi străine, XXVII, 1978, fasc. II, p. 53-58;
13. *Note lexicale și etimologice*, în “*Limba română*”, XXVIII, 1979, nr. 1, p. 15-24 (atestări, sensuri și etimologii la 66 de cuvinte, completări la DLR, literele O, P și R);
14. *O pagină necunoscută din istoria slavistica românești: cercetările de etimologie slavo-română ale lui Iosif Naniescu*, în “*Romanoslavica*”, XIX, 1979, p. 83-94;
15. *Ioan Budai-Deleanu și cultura europeană*, în “*Revista de istorie și teorie literară*”, XXVIII, 1979, nr. 3, p. 351-363;
16. *Note de lexicologie românească – “marmaziu”*, în “*Studii și cercetări lingvistice*”, XXX, 1979, nr. 4, p. 371-375;
17. *Un poem epic polonez despre daci: Teofil Lenartowicz “Dacia”*, în “*Manuscriptum*”, XI, 1980, nr. 2 (39), p. 66-72 (Studiu și traducerea integrală în versuri);

18. *Ştiri despre limba română într-o revistă pragheză din 1813*, în vol. *Din istoricul slavisticii româneşti*, coord. Elena Lință, Bucureşti, Tip. Univ. 1982, p. 243-255;
19. *Cracovia și relațiile culturale româno-polone*, în vol. *Relații culturale româno-polone*, coord. Ion Petrică, Tip. Univ. 1982, p. 9-15;
20. *Ecouri goliarde în "Tiganiada" lui Ioan Budai-Deleanu*, în "Revista de istorie și teorie literară", XXXI, 1982, nr. 3, p. 249-280;
21. *O pagină din istoria relațiilor culturale româno-iugoslave în Epoca Luminilor (Ioan Budai-deleanu și Martin Kuralt)*, în vol. *Relații culturale, literare și lingvistice româno-iugoslave*. Actele Simpozionului VI (Bucureşti, 21-25 octombrie, 1982), Bucureşti, Tip. Univ., 1982, p. 261-271;
22. *Cu privire la evoluția semantică a românismelor în limbile slave*, în "Cercetări lingvistice", Cluj-Napoca, XXVIII, 1982, nr. 1, p. 55-61;
23. *Conceptul de "împrumuturi în serie" (cu referire la polonismele limbii române)*, în "Studii și cercetări lingvistice", XXXIV, 1983, nr. 1, p. 12-18;
24. *Biblioteca lui Ioan Budai-Deleanu (I și II)*, în "Limbă și literatură", 1983, nr. 2, p. 200-209 și nr. 3, p. 343-353;
25. *Între bibliologie și lingvistică (însemnările pe cărți – izvor pentru cercetarea etimologică)*, în "Studii și cercetări lingvistice", XXXVII, 1986, nr. 3, p. 198-203 (19 etimologii pentru cuvinte culese din însemnările manuscrise; unele absente în DLR);
26. *Gheorghe Asachi și cultura polonă (noi contribuții)*, în "Analele Universității din București", Seria Limbi și literaturi străine, XXXV, 1986, p. 25-30 (Reprodus și în "Limbă și literatură", 1987, nr. 4, p. 463-470);
27. *Ignaz von Born – un transilvănean, geniu european*, în "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens", Bucureşti, VII, 1998, nr. 1-2 (13-14), p. 133-140;
28. *Interferențe lexicale germano-polono-ucrainene în graiurile românești din Bucovina*, în vol. *Prima conferință națională de bilingvism (București, iunie 1997)*, Bucureşti, 1998, p. 160-169;
29. *Relațiile româno-polone oglindite în lexicul limbii române*, în vol. *Relații polono-române de-a lungul timpului*. Materialele simpozionului, Uniunea Polonezilor din România, Suceava, 2001, p. 159-165;
30. *Prima disertație românească despre lipoveni (1803)*, în vol. *Cultura rușilor credincioși de rit vechi în context național și internațional*, vol. 3. Culegere de comunicări prezentate la Seminarul științific internațional desfășurat la București,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

18-19 noiembrie 2000, București, Editura Kriterion, 2001, p. 268-280;

31. *Integrala Miron Costin în limba polonă*, în “România literară”, XXXIV, 2001, nr. 12, 28III – 3IV, p. 20-21.
32. *Note etimologice*, în “Studii și cercetări lingvistice”, LI, 2001, nr.1, [Profesorului G. Mihailă la a 70-a aniversare];
33. *Petre P. Panaitescu (la 100 de ani de la naștere)*, în “Romanoslavica”, XXXVII, 2001;
34. *Gheorghe Asachi și literatura polonă*, în vol. *Comunicările „Hyperion”*, Filologie, 11, București, Editura Victor, 2002, p.55-69;
35. *L'œuvre d'Adam Mickiewicz dans le contexte roumain*, în vol. *Le Verbe et l'Histoire. Mickiewicz, la France et l'Europe*. Sous la direction de François Xavier Coquin et Michel Maslowski, Paris, Institut d'Etudes Slaves, 2002, p. 123-132;
36. *Dimitrie Cantemir în context cultural româno-polon (date și interpretări noi)*, în vol. *Profesorul Virgil Cândea la a 70-a aniversare*, București, Editura Roza Vânturilor, 2002;
37. *Noi date privind legăturile lui B. P. Hasdeu cu filologi polonezi*, în vol. *Pro fide et patria. Contribuții la studierea vieții și activității membrilor familiei Hărdău-Hasdeu*, fasc. 1, Chișinău, Editura Epigraf, 2002, p. 60-68;
38. *Cracovia și relațiile culturale româno-polone*, în vol. *Cracovia – Pagini de cultură europeană*, coord. C. Geambașu, București, Editura Paideia, 2002, p. 241-246.
39. *Orientalizmy leksykalne w języku polskim i rumunskim (Próba porównania)* în *Dzieje Słowian w świetle leksyki, pamięci Profesora Franciszka Stawskiego*, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, p. 301-306.

Traduceri

1. *Nuvela polonă contemporană*, București, Editura pentru literatură universală, 1965, 270 p. (traduceri din J. Andrzejewski, K. Brandys, Maria Dąbrowska, J. Hen, J. Iwaszkiewicz, S. Mrożek, J. B. Ożóg, J. Parandowski, J. Putrament, A. Rudnicki, S. Wygodzki, precedate de note bio-bibliografice);
2. Zofia Posmysz, *Pasagera* (roman), București, Editura pentru literatură universală, 1967, 214 p.;
3. W. St. Reymont, *Tăranii*, vol. I-II, București, Editura pentru literatură universală, 1967, 800 p.; ediția a II-a, București, Editura Minerva, colecția „Biblioteca pentru toți”, 4 vol., 1986;
4. Janusz Korczak, *Regele Maciuś Întâiul*, București, Editura Tineretului, 1969, 260 p.;
5. Juliusz Słowacki, *Beniowski* (fragment din poem), în Antologie de literatură universală, II, București, Editura didactică și pedagogică, 1971;
6. Stanisław Lem, *Ciberiada*, București, Editura Albatros, 1976, 304 p.;

7. Kazimierz Brandys, *Cărticica* (roman), Bucureşti, Editura Univers, 1976, 144 p.;
8. Jan Potocki, *Manuscrisul găsit la Saragossa* (roman), 3 vol., Bucureşti, Editura Minerva, 1989, 844 p.;
9. Ryszard Kapuściński, *Împăratul*, Bucureşti, Editura Globus, 1991, 192 p.;
10. Ryszard Kapuściński, *Abanos*, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2002, 352 p.

Conf. dr. Dumitru Zavera la 70 de ani

În anul 2002 colectivul Catedrei de limbi și literaturi slave a sărbătorit cu deosebită plăcere a 70-a aniversare a distinsului filolog și școlastic pedagog, conf. dr. Dumitru Zavera, șeful colectivului Secției de filologie bulgară.

Născut pe 18 martie 1932 în satul Lahovari județul Teleorman, Dumitru Zavera urmează între anii 1953-1958 cursurile Facultății de filologie bulgară din cadrul Universității "Kliment Ohridski" din Sofia, Bulgaria. În timpul celor patru ani de studiu are privilegiul de a audia, printre alte cursuri interesante, și prelegerile reputaților profesori bulgari Petăr Dinekov și Liubomir Andreicin. Întors în țară, Dumitru Zavera își începe activitatea didactică imediat după absolvirea facultății. În anul 1958 este numit preparator la Catedra de limbi și literaturi slave a Facultății de Limbi Străine de la Universitatea București, iar în anul 1962 devine asistent. Roadele muncii sale nu vor întârzia să apară, Dumitru Zavera urcând, binemeritat, treptele carierei didactice. Între anii 1972 și 1994 este lector la Secția de filologie bulgară, iar din anul 1994 devine conferențiar, construindu-și astfel cu seriozitate și dăruire o frumoasă carieră universitară până în anul 2002 - anul pensionării sale.

În anul 1974 își concretizează preocupările din timpul studenției și ale activității de cadru didactic susținându-și doctoratul în filologie cu teza *Eposul haiducesc bulgar*. Îndrumătorul său este ilustrul savant și reputat cercetător, profesorul Ion Chitimia, iar lucrarea, publicată în anul 1979 la Editura Universității din București, se va bucura de un real succes.

În anul 1974 Dumitru Zavera pleacă la Sofia ca lector de limba și literatura română la Catedra de Romanistică din cadrul Universității "Kliment Ohridski". Acolo, cu deosebită abnegație și seriozitate predă cursuri practice de limba română, implicându-se în procesul învățării acestei limbi de către studenții bulgari. Domnia-Sa a contribuit la cunoașterea și răspândirea culturii și literaturii române în țara vecină prin cursurile de limbă română contemporană și de literatura română pe care le-a ținut în acești patru ani, formând astfel specialiști bulgari în domeniul românisticii. Profesor exigent și foarte bun dascăl, Dumitru Zavera lasă o amintire frumoasă celor care au audiat cursurile sale, iar colegii bulgari îi poartă în continuare o adâncă recunoștință pentru munca depusă la lectorat și pentru materialele didactice lăsate în urma sa.

Întors în România în 1978, având experiența anilor petrecuți în Bulgaria,

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Dumitru Zavera își va continua și perfeționa neobosit cariera didactică. Personalitatea, talentul și generozitatea de dascăl își vor pune amprenta asupra lecțiilor de Istoria civilizației și literaturii bulgare, Metodica predării limbii și literaturii bulgare, Folclor comparat româno-bulgar. Cursuri audiate cu consecvență de studenți datorită înaltei științifice pe care distinsul profesor le-a imprimat-o.

Dovada vie a recunoașterii meritelor Domniei Sale o reprezintă al doilea mandat ca lector la Catedra de Romanistică a Facultății de Filologie din cadrul Universității "Kliment Ohridski". Într-adevăr, în prezent, conf. dr. Dumitru Zavera face dovada, pentru a doua oară, a talentului său de dascăl și de mesager al culturii și civilizației române. Studenții săi de la Sofia urmăresc cu interes cursurile practice de limba română, cursul de Stilistica limbii române și de Literatură română pe care îndrăgitul dascal le predă.

Dar activitatea didactică nu se rezumă la predare. Îndelungata sa experiență de dascăl într-o instituție de un asemenea prestigiu s-a concretizat în elaborarea de manuale și cursuri universitare. Amintim aici *Manualul de limba bulgară (curs practic). Partea a II-a*, conceput în colaborare cu lect. dr. Maria Zavera, excelent îndrumător în primii pași ai studierii limbii bulgare, rămas până în prezent singura lucrare de acest gen. Apar ulterior cursurile teoretice *Prelegeri de literatură bulgară (Renașterea)*, Ed. Universității, București, 1978, 167 p., *Prelegeri de folclor comparat româno-bulgar (Cântece haiducești)*, Ed. Universității, București, 1979, 120 p. și manualul pentru cei mici *Bălgarski ezik - Čitanka i gramatica za II klas*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1969, 138 p. În prezent, neobositul și veșnic Tânăr spiritualicește conf. dr. Dumitru Zavera pregătește un nou curs de literatură, în colaborare cu lect. dr. Roman Hagikosev, intitulat *Scurtă istorie a literaturii bulgare*.

La meritele didactice ale domnului Dumitru Zavera se adaugă cele științifice. De-a lungul timpului preocupările cercetătorului Dumitru Zavera s-au concretizat în studii inovatoare și solid argumentate apărute fie în volume, fie în prestigioase reviste din România și Bulgaria, precum "Литературна Мисъл", "Фолклор", "Romanoslavica".

Preocupările sale științifice cuprind diverse aspecte ale spațiului filologic bulgar. Specialist în literatura bulgară, cu o solidă bază științifică, fiind în permanență la curent cu mișcările literare și cu fenomenul socio-cultural bulgar, Dumitru Zavera este interesat de studiul comparativ al celor două literaturi. Această afinitate se va fructifica în studii precum *Априлското възтание отразено в румънския печат и в румънската литература* (în "Литературна Мисъл" Nr. 3, 1976, 12 p), *Антон Пан и Петко Славейков* (în vol. *Българо-румънски литературни взаимоотношения през XIX век*, 1980, 27 p.) sau *Йордан Йовков в Румъния*, (în "Литературна история", Nr. 8, 1981, 4 p).

Relațiile literare româno-bulgare și interferența lor în contextul politico-social al vremii nu-l împiedică pe distinsul cercetător să-și îndrepte atenția, și către sfera lingvisticii bulgare. Studiul său *L'influence roumaine sur le lexique des langues slaves* (în "Romanoslavica", XVI, 1968, 62 p.) constituie și astăzi un model pentru studenții și lingviștii interesați de studiul limbilor slave.

Dar preocuparea esențială a cercetătorului Dumitru Zavera rămâne folclorul. În studiile sale de folcloristică folosește, în demonstrație și argumentare, bogatele cunoștințe din domeniul culturii populare bulgare și române. Studiile *Фолклорни*

румъно-български паралели - Песен за Корбета и Стоян Воевода и Будимакия кадия (în rev. "Фолклор", nr. 3, 1976, 12 p.), *Elemente mioritice în folclorul pastoral bulgar* (în vol. *Studii literare româno-slave*, 1978, 12 p.) reliefeză, pe un larg fond comparat, multitudinea de motive, teme și personaje populare specifice spațiului balcanic și dezvoltă ideea unei mentalități spirituale și culturale înrudite.

Indiferent de domeniul de care s-a preocupat - literatură, folclor, lingvistică, conf. dr. Dumitru Zavera a adus contribuții personale, făcând precizări, propunând soluții noi și originale.

Participant de marca la viața științifică, atât în cadrul Asociației Slaviștilor cât și al altor instituții și foruri culturale din țară, Domnia-Sa este cunoscut și în lumea științifică de peste hotare, fiind prezent cu comunicări și referate la sesiuni științifice, congrese internaționale de slavistică și balcanistică.

Mereu activ în viața culturală, conf. dr. Dumitru Zavera a îmbinat strălucit cercetarea cu activitatea didactică curentă în mijlocul tinerilor, pe care i-a încurajat și sprijinit întotdeauna cu multă dragoste.

Amintim aici generațiile de studenți, unii dintre ei actuali colegi, pe care i-a condus la cursurile de vară din Bulgaria, a căror practică pedagogică a supravegheat-o la Dudeștii-Vechi și la Liceul Pedagogic din București. Ca profesor de limba și literatura bulgară a coordonat cu competență și dăruire lucrări de diplomă și a format numeroase serii de specialiști în domeniul literaturii și folclorului bulgar.

La a 70-a aniversare, colectivul Catedrei de limbi și literaturi slave, colaboratorii revistei "Romanoslavica", foști și actuali studenți îi urează profesorului Dumitru Zavera ani mulți fericiți, sănătate și putere de muncă pentru a putea contribui, ca și până acum, la dezvoltarea relațiilor româno-bulgare în domeniile învățământului, științei și culturii.

Cătălina Puiu

LISTĂ DE LUCRĂRI

I. Studii și articole

Разпространение на новата българска литература в Румъния до 1944 година, "Romanoslavica", IX, 1963

L'influence Roumanie sur le lexique des langues slaves, "Romanoslavica", XVI, 1968 (în colaborare)

Априлско въстание отразено в румънския печат и в румънската литература (în "Литературна Мисъл" nr. 3, 1976)

Фолклорни румъно-български паралели - Песен за Корбета и Стоян Воевода и Будимакия кадия, "Фолклор", nr. 3, 1976

Elemente mioritice în folclorul pastoral bulgar, în vol. "Studii literare româno-slave", Sofia, 1978

Антон Пан и Петко Славейков, în vol. "Българо-румънски литературни взаимоотношения през XIX век", Sofia, 1980 (în colaborare)

Социални елементи в българските и румънските хайдушки песни, în

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

"Analele Universității București", anul XXVIII, nr. 2, 1979

Йордан Йовков в Румъния, în "Литературна История", nr. 8, 1981

II. Manuale și cursuri universitare

Manual de limba bulgară - curs practic - partea a II-a, Ed. Universității, București, 1973 - în colaborare, 300 p

Prelegeri de literatura bulgară (Renașterea), Ed. Universității, București, 1978, 167 p.

Prelegeri de folclor comparat român-bulgar (Cântece haiducești), Ed. Universității, București, 1979, 120 p.

Prelegeri de literatura bulgară veche (xeroxat), 1991, 40 p.

Български език - Читанка и граматика за II клас, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1969, ed. I, 1991 ed. II, 138 p

LAURA BAZ FOTIADE (1930 – 2002)

La 18 august 2002 s-a stins din viață lector universitar doctor Laura Baz Fotiade, apreciată specialistă în domeniul literaturii bulgare și al relațiilor literare româno-bulgare, talentată traducătoare din proza bulgară clasică și contemporană, profesoră îndrăgită de numeroase generații de studenți. Această veste neașteptată ne-a copleșit cu durere pe toți cei care am cunoscut-o și respectat-o. Ne obișnuisem cu Domnia-sa printre noi, o aveam adesea aproape la toate întunirile și nu gândeam, nici măcar pentru o clipă, că ar putea veni aşa de repede momentul despărțirii.

Născută la 25 martie 1930 în satul botoșanean Maghera într-o familie de învățători, Laura Baz Fotiade a urmat între anii 1951-1956 cursurile Facultății de Filologie "Kliment Ohridski" din Sofia, Bulgaria. Cu data de 1 septembrie 1956 este numită asistent la Catedra de limbi și literaturi slave a Facultății de Limbi Străine de la Universitatea din București, iar din anul 1969 devine lector, construindu-și astfel cu seriozitate și dăruire o frumoasă carieră universitară până în 1985 – anul pensionării sale.

În anul 1974 își susține doctoratul în filologie, cu teza *Contribuții la studiul relațiilor literare româno-bulgare în perioada 1850-1877. Activitatea publicistică și literară a lui G. S. Rakovski în România*, publicată la Sofia în 1980.

De-a lungul timpului, preocupările științifice ale lect. dr. Laura Baz Fotiade s-au concretizat în interesante și documentate studii și articole (peste 30 la număr), apărute fie în volume, fie în prestigioase reviste din România și Bulgaria, precum "Език и литература", "Литературна Мисъл", "Пламък", "Etudes balcaniques", "Romanoslavica", "Revista de istorie și teorie literară" sau "Revue des études

ROMANOSLAVICA 38

sud-est européennes” ş.a. De asemenea, a participat cu peste 20 de referate şi comunicări la diferite conferinţe şi simpozioane din ţară şi străinătate, la sesiuni ştiinţifice organizate de Asociaţia Slaviştilor din România, la congresele internaţionale de slavistică. Menţionăm prezenţa lect. dr. Laura Baz Fotiade la trei Congrese internaţionale ale slaviştilor (Sofia, 1963; Praga, 1968; Varşovia 1973), precum şi la Simpozionul Hristo Botev (1976), la Simpozionul închinat Războiului de independenţă a României (1977), la Simpozioanele româno-bulgare din 1978 şi 1982.

Mereu activă în viaţa ştiinţifică românească, Laura Baz Fotiade s-a remarcat totodată şi ca o îscusită traducătoare, având merite deosebite în încercarea de a face cunoscute cititorilor români valoroase creaţii ale unor prozatori bulgari contemporani ca Blaga Dimitrova, Nikolai Haitov, Bogomil Rainov, Milcior Radev. Invitată anual la simpozioanele organizate de Uniunea traducătorilor din Bulgaria (din 1969 până în 1977), activitatea de traducător a dnei Laura Baz Fotiade a fost extrem de bine apreciată de colegii bulgari.

La meritele ştiinţifice ale lect. univ. dr. Laura Baz Fotiade se adaugă personalitatea, talentul şi generozitatea sa de dascăl. În cei treizeci de ani de carieră didactică, domnia-sa a îndrumat cu dragoste şi pricepere generaţii de studenţi, pe care i-a învăţat limba bulgară şi i-a făcut să înțeleagă şi să îndrăgească literatura scrisă în această limbă. Profesoară exigentă şi plină de solicitudine faţă de tinerii studioşi a lăsat nu numai o amintire frumoasă celor care au audiat-o de la catedră, dar şi materiale de lucru extrem de utile în învăţarea limbii bulgare, chiar şi acelor generaţii de studenţi care n-au avut privilegiul de a o cunoaşte personal. *Cursul practic de limba bulgară. Partea I*, elaborat împreună cu lect. univ. dr. Zlatka Iuffu, ediţia a III-a revăzută şi completată în 1987, este folosit şi astăzi, precum şi *Antologia de texte din literatura bulgară*, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962, 860 p. sau cursul teoretic *Prelegeri de literatură bulgară*, T.U.B., 1979, 223 p.

Prin toată activitatea, Domnia-sa a contribuit la răspândirea culturii bulgare prin procesul de predare, prin traduceri, rămânând fidelă studiului comparat al literaturilor bulgară şi română. Şi aprecierea din partea statului bulgar nu a întârziat să apară, lect. univ. dr. Laura Baz Fotiade fiind distinsă în anul 1977 cu Ordinul Kiril şi Metodiu, cls. a II-a, iar în 1982 cu Ordinul 1300 de ani de la înfiinţarea statului bulgar.

Pentru profesoara Laura Baz Fotiade pensionarea sa în anul 1985 nu a însemnat îndepărtarea de viaţa universitară. După 1990, Catedra de limbi şi literaturi slave a avut în continuare nevoie de calificarea profesională şi experienţa sa didactică. Fiind solicitată să ţină unele cursuri şi seminarii de specialitate, lect. univ. dr. Laura Baz Fotiade a răspuns cu promptitudine şi energie. În aceşti ultimi ani, Domnia sa nu a început să fie alături de colegii de la Catedra de limbi slave, alături de noi - membri colectivului de limbă bulgară. Venea la şedinţele de comunicări ale Asociaţiei Slaviştilor, la sărbătorile anuale din 24 mai, organizate cu ocazia Zilei culturii bulgare, se interesa de munca şi viaţa fiecărui dintre noi, se bucura sincer de succesele noastre, ne îndemna să perseverăm cu deosebire pe noi, cei tineri, aflaţi la început de carieră.

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

Marea sa dragoste pentru literatură, devotamentul cu care a slujit întreaga viață la catedră, respectul profund față de înaintași, grijă pentru cuvântul scris, sentimentul datoriei, politețea, colegialitatea, tactul pedagogic, optimismul sunt numai câteva dintre trăsăturile portretului celei care a fost Laura Baz Fotiade. Profesori și studenți îi omagiază și cinstesc memoria, cu respect și recunoștință pentru tot ceea ce a făcut și a sădit în sufletele noastre.

Mariana Mangiulea

S U M A R

S U M M A R Y

I. LINGVISTICĂ / LINGUISTICS

Г. Михаила , Исследования по славяно-румынской филологии писателя Александра Одобеску (Alexandru Odobescu)	9
Mihai Mitu , Du “sacré” au “profane” dans l’évolution sémantique (sur les slavonismes roumains)	25
Виктор Васченко , О типологической классификации народных говоров (русского и иного ареала)	37
Жива Милин, Михај Н. Радан , О заједничком пореклу архаичних српских говора са подручја румунског баната ("банатско-црногорски", карашевски и свинички говори)	41
Мария Думитреску , Банк данных на основе <i>Русско-румынского словаря инноваций (1994 – 2003гг.)</i>	69
Рихард Сырбу , Актуальные тенденции в исторорумынском диалекте (влияние хорватского языка)	77
Юстина Бурч , Молдавская антропонимия славянского происхождения (конец XVIII – начало XIX вв.)	87
Sorin Paliga , N. D. Andreev’s Proto-Boreal Theory and Its Implications in Understanding the Central-East and Southeast European Ethnogenesis: Slavic, Baltic and Thracian	93
Мария Кирай, Валерия Нистор , Некоторые социо- и психолингвистические аспекты билингвизма	105

II. LITERATURĂ / LITERATURE

Вирджил Шоптереану , Философско–естетические структуры А. Шопенгауэра в творчестве М. Эминеску и русских неоромантиков	115
Адриана Улиу , Русская драматургия на сцене Крайовского Национального Театра	129
Constantin Geambașu , Przegląd badań porównawczych nad literaturami słowiańskimi w Rumunii	141
Antoaneta Olteanu , Personnages démoniaques dans les contes populaires roumains et russes	147
Думитру Балан , Воздействие русской прозы на румынскую литературу XX века	157
Октавија Неделку , Oblici fantastike u istorijskom romanu Miloša Crnjanskog	169

Al 13-lea Congres Internațional al Slaviștilor

R E C E N Z I I / R E V I E W S

Pavol Winczer, <i>Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgarda, jej prekonávanie a dedičstvo (Corneliu Barborică)</i>	177
Dagmar Mária Anoca, Slovenská literatúra v Rumunsku (Corneliu Barborică)	178
Michal Gáfrík, <i>Na pomedzí moderny (Ana Motyovszki)</i>	180
Б.Д. Бондалетов, Н.Г. Самсонов, Л.Н. Самсонова, <i>Старославянский язык. Сборник упражнений (Maria Dumitrescu)</i>	182
Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия (Maria Dumitrescu)	184
P. Pavlov, I. Ianev, D. Cain, Istoria Bulgariei (Mariana Mangiulea)	185

P E R S O N A L I A

Petre P. Panaitescu - la 100 de ani de la naștere (Mihai Mitu)	191
Mihai Mitu la a 65-a aniversare (Mariana Mangiulea)	197
Conf. dr. Dumitru Zavera la 70 de ani (Cătălina Puiu)	203
Laura Baz Fotiade (1930 – 2002) (Mariana Mangiulea)	206